АСТЕР БЕРКХОФ

ДОМ МАМЫ ПОНДО



Дом мамы Пондо

Астер Беркхоф

Аннотация
Дом мамы Пондо
АСТЕР БЕРКХОФ И ЕГО РОМАН
ДОМ МАМЫ ПОНДО
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
ГЛАВА I
ГЛАВА II
ГЛАВА III
ГЛАВА IV
ГЛАВА V
ГЛАВА VI
ГЛАВА VII
ГЛАВА VIII
ГЛАВА IX
ГЛАВА X
ГЛАВА XI
ГЛАВА XII
ГЛАВА XIII
ГЛАВА XIV
ГЛАВА XV
ГЛАВА XVI
ГЛАВА XVII

ГЛАВА XVIII
ГЛАВА XIX
ГЛАВА XX
ГЛАВА XXI
ГЛАВА XXII
ГЛАВА XXIII
ГЛАВА XXIV

Аннотация

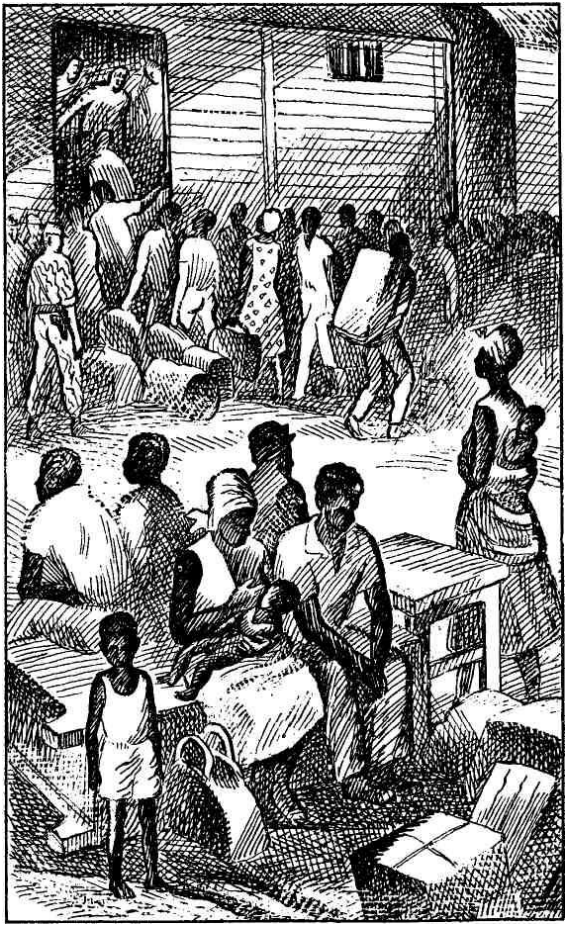
Астер Беркхоф — современный бельгийский писатель. Его роман «Дом мамы Пондо» — яркое антирасистское произведение, основанное на реальных фактах и документальных материалах, разоблачающих ложь буржуазной пропаганды о равноправии цветных и белых в ЮАР.

В центре романа — трагическая судьба большой семьи Пондо, все члены которой так или иначе становятся жертвами апартеида — «раздельного существования рас», — провозглашенного государственной политикой ЮАР.

На русском языке публикуется впервые.

Дом мамы Пондо


Зарубежный
роман
XX
ВЕКА



АСТЕР БЕРКХОФ

ДОМ МАМЫ ПОНДО

Перевод с голландского
В. ФЕДОРОВСКОГО



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

АСТЕР БЕРКХОФ И ЕГО РОМАН

Нередко случается, что тот или иной факт из биографии писателя, раньше по каким-либо причинам оставшийся без внимания, помогает литературоведам глубже понять и правильнее истолковать только что появившееся на свет произведение. Критики, уже знакомые с манерой писателя, кругом его творческих интересов, причисляют роман или повесть к неожиданным, выпадающим из общей, казалось бы, установившейся линии. В действительности же такое «отклонение» в сторону свидетельствует о давних тенденциях, проявлявшихся и прежде, но лишь теперь заявивших о себе в полной мере.

Нечто подобное произошло и с бельгийским писателем Астером Беркхофом. Автор многих детских книг, приключенческих повестей и детективных романов, сборников рассказов о крестьянской жизни, репортажей из Индии, Мексики и других стран мира, он «вдруг» выступил с крупным романом «Дом мамы Пондо», который посвящен положению южноафриканского населения, оказавшегося под гнетом расизма.

Однако именно в биографии писателя находятся истоки, приведшие его из Бельгии к мысу Доброй Надежды.

Астер Беркхоф (его настоящее имя — Луис ван ден Берх) родился в 1920 году в той части Бельгии, которая хорошо известна в мировой истории под названием Фландрии. Фламандцы, населяющие эту провинцию, прославились своими вольнолюбивыми устремлениями, что нашло такое яркое отражение в знаменитом романе Шарля Анри де Костера «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке». Это произведение — настоящая библия фламандцев — положило начало новой бельгийской литературе. Популярность его ни с чем не сравнима: «Легенда» имеется буквально в каждой семье, а в ином доме сразу по нескольку изданий.

Родители Астера были учителями. Под их диктовку ученики прилежно выводили слова: «Во Фландрии, в Дамме, когда май уже распускал лепестки на кустах боярышника, у Клааса родился сын Уленшпигель». А в праздничные дни школьники вместе со взрослыми устраивали веселые, красочные карнавальные шествия, на которых были представлены герои романа де Костера. Шли фламандские гёзы-ремесленники,

поднявшие восстание против тирании иноземцев за человеческие права, за вольность. «Дикие гёзы», как их окрестили оккупанты по повелению Филиппа II[1], во времена жестокого правления герцога Альбы[2], подобно южноафриканским партизанам из романа Беркхофа, скрывались в лесах, создавали отряды и нападали на гарнизоны испанских войск. Они захватывали деревни и расправлялись с доносчиками, прислужниками иноземных поработителей. Фландрия, испытавшая французское, австрийское, голландское, немецкое и испанское нашествие в разные периоды своей многострадальной истории, в конце концов обрела свободу.

Как мы убеждаемся, журналист Пьер ван Берген, один из героев романа «Дом мамы Пондо», отнюдь не случайно оказался выходцем из Фландрии. Конечно, есть основания говорить об автобиографичности образа Пьера, но в данном случае главное в другом: прибывший в ЮАР европеец осмысливает происходящие здесь события,

---

[1] Примечания: 1

Филипп II — король Испании (1556—1598 гг.), при котором особенно усилился испанский гнет в Нидерландах.

[2] Примечания: 2

Герцог Альба (Фердинанд Альварес де Толедо; 1507—1582) — один из военачальников и советников Филиппа II, кровавый наместник Нидерландов (1567—1573 гг.).

опираясь на опыт своей собственной страны, прошедшей через горнило испытаний, и ему легче понять расстановку классовых сил, вникнуть в причины жестокости властей, с одной стороны, понять неизбежность нарастающего отпора карателям — с другой. И у южноафриканцев, как и у фламандских гёзов, пепел бьется о сердце…

Однако продолжим нашу мысль о жизненном багаже писателя. Характерный штрих: в годы второй мировой войны Астер Беркхоф был солдатом в составе английских войск. Его родина — уже в который по счету раз! — находилась под пятой иноземцев. После войны — университет. Журналистская работа. Потом, следуя семейным традициям, Беркхоф становится преподавателем и не прерывает этого занятия до сих пор.

Но, кроме биографии отдельно взятого человека, существует и властно действует еще «биография» страны. Про Бельгию можно смело сказать, что она попала из огня да в полымя. Вскоре после войны ей пришлось решать нелегкие проблемы, связанные с предоставлением независимости Бельгийскому Конго, а также Руанде и Бурунди. Сравнительно небольшая Бельгия лишалась Конго (нынешний Заир), своей колонии, превышающей по размерам метрополию в

восемьдесят с лишним раз, долго, мучительно, драматически. Брюссель не мог — ни в политическом, ни в военном плане — сдержать порыв национально-освободительного движения конголезцев. На помощь ринулись Соединенные Штаты, Англия и другие западные страны. Трагедия Конго ошеломила многих и заставила призадуматься над судьбами народов не только Африки, но и Европы, ибо представители Старого Света принимали самое активное участие в кровавых событиях, охвативших Конго-Заир. Ведь в конголезском костре погиб и Патрис Лумумба, и Даг Хаммаршельд, занимавший в те годы пост Генерального секретаря ООН. Продажные писаки Запада на все лады превозносили европейскую цивилизацию и не жалели красок, живописуя африканскую отсталость. Между тем эта европейская «цивилизация» вторгалась в Африку бандами наемников. Отбросы общества в Европе, а в Африке — самозваные полковники душили освободительное движение плохо вооруженных повстанцев...

Не удалось: не задушили. Заплатив по воле судьбы чрезвычайно высокую цену за независимость, конголезский народ в итоге вышел на самостоятельный путь развития. Опыт борьбы

в Конго-Заире, как, впрочем, и в других африканских государствах, был взят на вооружение, естественно, не только политическими деятелями современности: мимо и конголезской, и многих других трагедий на Африканском континенте не мог пройти художник слова. Опыт — это, помимо всего прочего, и выстраданность. Сказанное имеет прямое отношение к роману Астера Беркхофа, его симпатиям и антипатиям, его общему взгляду на сложнейшую политическую ситуацию в ЮАР.

В романе «Дом мамы Пондо» сразу же чувствуется двузначность отношения жителей этой страны к одному и тому же явлению: европейские поселенцы отмечают День ван Рибека, первого губернатора голландской колонии на мысе Доброй Надежды, африканцы в тот же день устраивают митинги, развертывая кампанию неповиновения. Потомки буров, ставшие именовать себя впоследствии африканерами, благодарят всевышнего за то, что он их поселил на этой обетованной земле, где солнечных дней в году больше, чем где бы то ни было на нашей планете. Они до сих пор считают «божьим благословением» пребывание выходцев из европейских стран на территории Южной Африки.

Ведь это, по их мнению, не какие-то конкистадоры, вроде Кортеса, Бальбоа, которые огнем и мечом завоевывали страны Латинской Америки, а совершенно безобидные торговые люди, мореплаватели, крестьяне, пахавшие землю в Европе, у них еще не успели сойти мозоли с рук. Какие же они европейцы?

Идет четвертое столетие с того памятного момента, когда голландское судно «Гарлем» потерпело кораблекрушение, а чудом спасшийся экипаж провел на берегу Южной Африки несколько месяцев и положил начало переселению европейцев в «страну золота и алмазов». За три века поселенцы приобрели свою национальность (африканеры), свой язык (африкаанс), на котором нигде больше в современном мире не говорят. У них свой особый расизм, против которого и выступают на митингах в День ван Рибека коренные жители страны.

О стране, где развертывается действие романа «Дом мамы Пондо», следует сообщить читателю кое-какие сведения.

На территории ЮАР проживает почти двадцать пять миллионов человек, из которых около восемнадцати миллионов африканцев, два с половиной миллиона метисов, около восьми-

сот тысяч индийцев и немногим более четырех миллионов переселенцев из европейских стран, главным образом из Англии.

Четырехмиллионное население европейских переселенцев ЮАР узурпировало власть и установило режим тирании над двадцатью с лишним миллионами коренного и цветного населения. ЮАР — это действительно последний и крупнейший оплот колониализма и расизма на нашей планете. Вот почему освободительное движение в ЮАР привлекает к себе внимание всего человечества, особенно же новую Африку с ее пятьюдесятью независимыми государствами, население которых перевалило за четыреста миллионов человек. Юг Африки (собственно ЮАР и незаконно оккупированная ею Намибия) — эти слова прочно вошли в политический обиход и звучат буквально на всех языках современного мира как сигнал бедствия, как тревожный призыв к спасению.

Расизм в ЮАР складывался на протяжении длительного периода — свыше трехсот лет! Выходцы из европейских стран не просто заселяли африканские просторы, а утверждали себя господами положения, истребляя коренное население или оттесняя его в малоприспособленные для нор-

мальной жизни районы пустыни Калахари. Они пришли править и повелевать. Этому наглому, бесцеремонному вторжению способствовало и то, что бушмены, зулусы, басуто, коса, готтентоты и другие народы находились на низкой ступени развития, были разобщены, а зачастую и враждовали между собой.

В таких условиях «белый» человек неизбежно становился и власть имущим, и состоятельным. Богатейшие природные ресурсы юга континента, их открытие и разработки (особенно золота и алмазов) привлекали промышленных магнатов и заправил финансового мира всех без исключения капиталистических стран. Бурное развитие индустрии сыграло на руку европейским поселенцам и еще более осложнило и без того тяжелое положение местного населения.

Выражение «социальное неравенство» не подходит для характеристики положения белых и африканцев; оно не передает глубины пропасти, разделяющей эти две основные группы населения в ЮАР. Скорее можно говорить о жизни на двух различных экономических и социальных полюсах. Из восемнадцати миллионов африканцев десять миллионов не имеют работы. Африканцы, занятые на рудниках, на фабриках, заводах, на

многочисленных сельскохозяйственных фермах, принадлежащих, конечно же, европейцам, совершенно оторваны от своих семей: они сосредоточены в бантустанах — специальных резервациях со специальным режимом.

В ЮАР все жители размещены по «расовым полочкам» — все учтены, переписаны: «люди европейского происхождения», африканцы, выходцы из Азии и «цветные», то есть метисы. И это разделение людей закреплено конституционно! Действуют десятки драконовых законов, регулирующих поведение в обществе каждой названной категории. Существуют закон о саботаже, закон о праве на выселение африканцев из предместий городов, о порядках в туземных куриях и бантустанах, где влачит жалкое существование африканская беднота. Особый надзор учинен за браками: в ЮАР европеец не может жениться на африканке.

Закон о цветном барьере, о землях туземцев (это официальная терминология!), закон о расселении по группам, закон о властях банту, закон о подавлении (!) коммунизма и т. д.

Вне закона объявлены восемнадцать общественных организаций ЮАР, в том числе Союз журналистов-африканцев, Организация студен-

тов, Христианский институт, Федерация женщин, Ассоциация по развитию просвещения и культуры и др.

Жестокость обнаженная, вызывающая, оскорбляющая человеческое достоинство! Притеснение идет по всей линии — от политических прав до личной, семейной жизни. Гнет духовный подкреплен гнетом экономическим. Расовая политика бьет по индийцам, гоанцам, пакистанцам и евреям. Южноафриканское общество является одним из самых нездоровых и уродливых, когда-либо существовавших на земле. Его справедливо сравнивают с фашистским: ведь многие и бывшие, и нынешние деятели Претории совершали паломничество к идеологам расистской, националистической и шовинистической Германии.

Теперь нет и дня, прожитого спокойно: сообщения с Юга Африки действительно напоминают сводки боевых действий. Фигурирует число убитых, раненых, арестованных, взятых в плен, отданных под суд. Демонстрации африканцев, расстрелы… Кулак карателей сжимается. Но одновременно возрастает и активность коренного населения самой южной части Африканского континента. Об этом убедительно свидетельствуют потрясения в Соуэто, африканском пригороде

Йоханнесбурга, многих других городах страны.

Соуэто (подобно Софиатауну в романе Астера Беркхофа) стало символом страдающих африканцев: борьба там не затухает, она перебрасывается в другие районы страны, городские и сельские, вовлекая интеллигенцию, рабочих и мелких фермеров в общенациональное движение. Соуэто вписало яркую страницу в историю освободительного движения в ЮАР, направленного против расизма.

Апартеид. В переводе с африкаанс — раздельное проживание и развитие. Пройти мимо этого чудовищного явления, рассказывая о жизни современной Южно-Африканской Республики, невозможно. Поэтому неудивительно, что в центре романа Астера Беркхофа оказалась пресловутая проблема раздельного существования. Кажется, что автор не гонится за широтой охвата событий: его внимание поглощено, по существу, одной семьей, а выходы за ее пределы совершаются только потому, что члены этой милой и многочисленной семьи порой отправляются в вынужденные путешествия. Например, в тюрьму, в резервацию Пондоленд, куда были насильно выселены жители Софиатауна, одного из пригородов Йоханнесбурга, или даже в пусты-

ню Калахари — место изгнания пастора Давида, единственного члена этой семьи, оставшегося в живых.

Роман довольно плотно заселен персонажами. В нем фигурируют реальные исторические личности: президент Африканского национального конгресса Альберт Лутули, видные деятели этой широкой общественной организации африканского населения ЮАР — Нельсон Мандела, Оливер Тамбо и Уолтер Сисулу. Перед читателем буквально вереницей пройдут полицейские молодчики из Особого отдела, провокаторы, сыщики, журналисты, деревенские старосты, охранники, судьи, служители культа, коренные африканцы и европейцы, попавшие в ЮАР на какое-то время и проживающие здесь постоянно. Но в центре романа, несомненно, семья Джона Тугелы и его супруги — мамы Пондо. Все авторское внимание сосредоточено на ней. А в самой семье наиболее колоритной фигурой является Сара, которую все величают мама Пондо, ибо она вышла из племени под таким названием. Один из ее предков был даже верховным вождем этого племени. И хотя мама Пондо живет с семьей в пригороде Йоханнесбурга, она не теряет связи с родными и время от времени наведывается в го-

сти к своему родственнику — верховному вождю Абелю Тсомо.

В самом начале романа читатель знакомится с семьей Джона Тугелы, вполне благополучной семьей преуспевающего ремесленника-гончара. В собственном уютном доме обосновались Джон и Сара Тугела с детьми. Во дворе — готовые изделия. Тут же расположены мастерские со станками. Нищеты не замечаешь. Наоборот, есть все основания полагать, что Джон Тугела с такими работящими детьми пробьется в так называемое среднее африканское сословие. Во многом эта семья — типичная для Африки вообще. У гончара Джона и домохозяйки Сары семеро детей, и все уже взрослые. У дочери Розы — свои дети. Все живут в мире и согласии. Такую семью можно с полным основанием назвать счастливой. Вместе и невзгоды переживаются легче. Когда Сандру и Пьера, полюбивших друг друга, арестовали и бросили в тюрьму («белому» запрещено любить «черную»!), то все члены семьи сочувствовали и поддерживали молодую пару, веря, что все в конце концов уладится, если крепка любовь. По выходе из заключения Сандра и Пьер тайно обвенчались и уехали в соседнюю Родезию (ныне — Зимбабве). Не потому, что там расисты

были «лучше» юаровских, а для того, чтобы выиграть время: оторваться от шпиков из полиции, замести следы, а потом из Солсбери перебраться в Европу.

Но дом мамы Пондо уже «засекли», и полицейские стали частыми его посетителями. «Белые на улицах города в ЮАР не грубы и не вежливы с африканцами: они их просто не замечают», — пишет автор, что верно, но это наблюдение относится лишь к обычным, рядовым горожанам. Что же касается представителей властей, то они весьма далеки от такого созерцательно-нейтрального отношения к коренному населению. Тут вполне подходит другая авторская ремарка, характеризующая обстановку в ЮАР: «Жизнь в норе, окруженной хищниками».

Скончался в тюрьме старший сын — Том, лучший помощник отца в гончарном деле, сильный, волевой человек, сражавшийся в составе союзнических войск на территории Италии. Погиб Майкл — необыкновенно способный юноша, гордость семьи, член коммунистической партии. Его, тяжело раненного, полицейские затравили собаками. За что? Он вступился за старика африканца, которого безжалостно избили полицейские. Розу разлучили с мужем, который

оказался «нечистым» в расовом отношении. Вместе с детьми его увезли неведомо куда, а Роза, покинув дом, пошла их разыскивать…

Во время судебного разбирательства умирает Джон Тугела, а возле него скончалась забитая охранниками мама Пондо. Напрасно жители Софиатауна скандировали: «Мы не уйдем!» — всех их выселили, в том числе и семью мамы Пондо. В сельской глуши — те же расистские законы и те же полицейские. Джимми заступается за отца и, обезоружив полицейского, убивает его. Он скрывается в горах. Но его ищут с вертолетами и в конце концов расстреливают, а потом, уже мертвого, вешают. Поймали Джессе: он находился в партизанском отряде, а теперь его место — тюрьма на острове Роббен. Пьер сообщает в письме, что Сандра, обесчещенная белыми охранниками, покончила с собой. Потом стало известно, что погиб и сам Пьер, помогавший партизанам…

Дом мамы Пондо не просто опустел — он разрушен, почти все его члены истреблены физически. Весь трагизм в том и заключается, что изображенное не есть искусственное «нагромождение ужасов», а является вполне естественным в условиях Южной Африки исходом событий. Жестокая расправа с семьей мамы Пондо предстает перед

нами как логическое следствие применения в повседневной жизни расистских законов. Апартеид в качестве официальной политики практикуется в ЮАР с 1948 года.

К концу романа в живых остался один Давид, которому не разрешили даже предать земле тела родителей. Кто он? Преподаватель и пастор колледжа, а теперь — изгнанник в пустыне Калахари. От его имени и ведется повествование. Он свидетельствует, как пытали его мать: били молотком по пальцам рук, по лицу хлестали колючей проволокой. Рассказывает, как с вертолетов расстреливали мирных, верящих в добрые намерения властей петиционеров: «Потом мы нашли в лесу семнадцать тел, изрешеченных пулями. На ветках одного из деревьев висел белый флаг, а под деревом лежал мертвый Джеймс Нлоло, зажав в руке петицию».

Персонажи романа по-разному ведут себя, каждый по-своему оценивает происшедшее. Несколько завуалированно, но на протяжении всего повествования по существу не перестает дебатироваться один и тот же вопрос: каким образом должны африканцы добиваться справедливости и равенства? Вот каково мнение на этот счет одного из деятелей Африканского национального

конгресса, образованного и уважаемого человека — доктора Иллово: не следует отвечать на силу силой, надо практиковать исключительно мирные методы сопротивления, при этом чем больше африканцев угодит за решетку, тем… лучше! Лучше потому, что об этом узнает весь мир, который содрогнется, осудит карателей и уже одним моральным сочувствием поможет южноафриканцам добиться своих прав. «Хорошие белые и хорошие черные, — формулирует он свой вывод, — вместе против плохих белых и плохих черных». Доктора Иллово поддерживает видный журналист Ян ван Баарле, он верит, что борьбу можно выиграть добром.

Как мы видим, теория «непротивления злу» до сих пор имеет своих приверженцев, хотя новейшая история той же Африки не раз опровергала ее. Без борьбы колонизаторы никому и нигде не преподносили независимость, если она действительно чего-то стоила. Есть примеры, когда сочетались мирные и военные приемы в ходе национально-освободительного движения (Зимбабве), но суверенитет и свобода всегда завоевывались, а не «выпрашивались». Все это так, но тем не менее африканцы с мировоззрением доктора Иллово существуют и, как убеждаемся,

действуют, оказывают влияние на общественность. Они служат как бы противовесом тем, кто настроен непримиримо по отношению к расистским властям и требует революционных действий.

Такие люди тоже выведены в романе. На террор следует отвечать террором — точка зрения Джессе, и он ее претворяет в жизнь, уходя в отряд сражающихся повстанцев. Поэт Джером библейскую заповедь «око за око» излагает по-своему: «Кусаться… Кусать надо!» Согласно роману, среди руководителей Африканского национального конгресса (АНК) нет полного единства во взглядах на средства и методы дальнейшей борьбы. Некоторым из них стало ясно, что кампании непротивления ничего не дают, они не приближают к победе. Из массы непротивленцев образовалась и радикальная организация «Копье нации», само название которой убеждает в том, что ее участники идут на врага не с одними молитвами.

Одно из важных достоинств романа «Дом мамы Пондо» состоит в том, что это произведение не имеет ничего общего с распространенным на Западе «чтивом» на африканские сюжеты. В пухлых томах подобной низкопробной литературы

расписываются одни и те же красоты природы или же раскрываются тайны «секретных обрядов черных», хотя ничего «секретного», тайного нет в обыденной жизни африканца. Определенная специфика, которая имеется у каждого народа, отнюдь не служит препятствием для установления широкого взаимопонимания между южноафриканцами и народами Европы, Азии, Латинской Америки.

Автор — достаточно опытный писатель, и он не хвалит африканцев только за то, что они африканцы, как и не хулит всех белых, что было бы отступлением от жизненной правды. В романе мы встречаем провокаторов и коллаборационистов из числа африканцев и в то же время белых, которые борются за права черного населения ЮАР. Особенно резко такое «взаимное вклинивание» происходит среди церковников, оказывающих на массы большое влияние. Пастор Регтерс не скрывает своего пренебрежительного отношения к африканцам. Другой пастор, ван Флотен, говорит: «Вот уже многие месяцы я чувствую себя черным...» Он переехал из Йоханнесбурга в деревню, где его любят, уважают. И вдруг — налет на его дом. От потрясений скончалась жена пастора, а дочь лишилась рассудка.

Как объяснить это?

Вероятно, читателю больше и лучше известен расизм белых, но существует и расизм черных. Вековое владычество европейцев оставило глубокий след в сознании африканских масс. Классовая ненависть переходит свои разумные границы, и вступает в свои права жестокий и неумолимый «закон толпы», действия которой никто не в состоянии сдержать.

Только смелый и честный художник, руководствуясь собственными познаниями южноафриканской действительности, способен отобразить ее во всей неизмеримой сложности и противоречивости. В этом расистском аду униженным и оскорбленным предстает африканец. Симпатии автора, судя по роману, целиком на стороне коренного населения. Самые добропорядочные люди в романе — это африканцы. Ни единого представителя расистской администрации автор не наделил привлекательными чертами. Это бесчувственные роботы, исполняющие карательные функции правительства.

На Западе прочно вошло в обиход выражение «литература протеста». К этому боевому, наступательному литературному течению относятся произведения и африканских, и европейских

писателей о Юге Африки, что еще и еще раз подчеркивает всемирную заинтересованность в справедливом решении южноафриканской проблемы. Автор романа «Дом мамы Пондо», бесспорно, один из представителей этого течения, которое мужает и крепнет по мере развертывания освободительного движения в Азании, как сами южноафриканцы предпочитают называть свою родину.

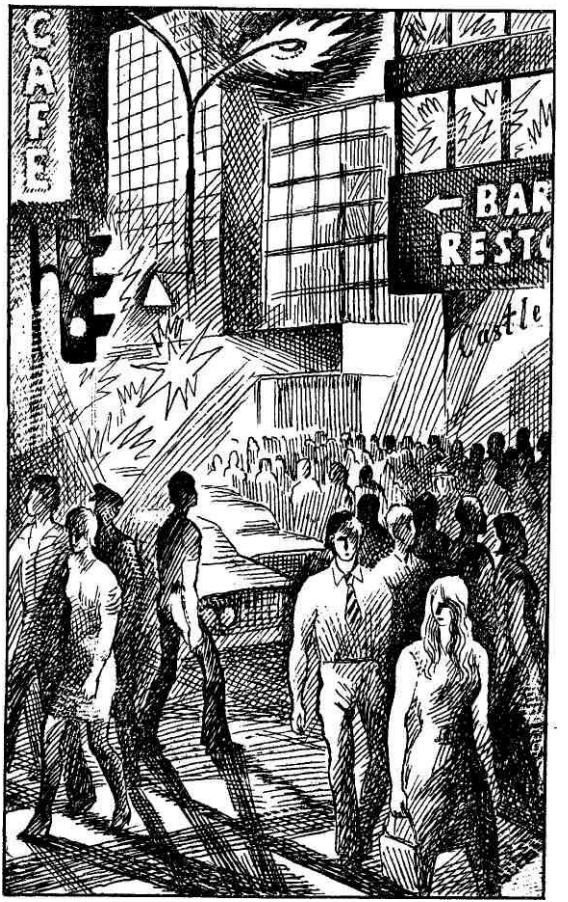
Впервые роман «Дом мамы Пондо» был опубликован в Антверпене в 1971 году. С тех пор он переиздавался пять раз, что само по себе свидетельствует о значимости произведения и его популярности. События же, описываемые в романе, относятся к пятидесятым и началу шестидесятых годов. Какое политическое послесловие можно написать к этому политическому роману? Какие изменения произошли в самой Южной Африке?

Режим апартеида неуклонно ужесточается, положение коренного населения день ото дня становится хуже. Ясно, что такое положение бесконечно долго продолжаться не может. Рано или поздно бурлящий котел взорвется: этот вывод подсказан романом Астера Беркхофа, об этом же свидетельствуют и самые последние события в

этой части Африканского континента.

Н. Хохлов

ДОМ МАМЫ ПОНДО


CAFE
← BAR
REST
Castle

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Факты, на которых основана эта книга, взяты из жизни. Описание принудительного переселения черного населения Южно-Африканской Республики в резервации, с особой силой проводившегося в пятидесятых — начале шестидесятых годов и его отчаянного сопротивления, соответствует действительности. Здесь вымышлены лишь персонажи.

Высылка черных южноафриканцев в отдаленные, труднодоступные районы была осуществлена с необыкновенной поспешностью. Иностранцам разрешен проезд по некоторым из этих районов, как, например, Транскею, но только по основным дорогам. Чтобы свернуть куда-либо, необходимо заранее получить специальное разрешение. При этом к вам приставят белого сопровождающего, который будет присутствовать при ваших разговорах с переселенцами.

ЮАР — вооруженное до зубов полицейское государство. Понять его сущность можно, лишь разобравшись в его законодательстве. Апартеид представляет собой комплекс законов, смысл большинства которых замаскирован. Знакомясь

с ними, не каждый обнаружит, что за обучение детей черный отец должен платить, а белый — нет; что за пределами резервации черный может рассчитывать на получение только неквалифицированной работ; что черный не имеет права вступить в члены признанного правительством профсоюза, а с непризнанными никто не считается; что со времени введения апартеида в действие интеллектуальный уровень черных южноафриканцев резко снизился и что именно эту цель апартеид и преследует.

С болью в сердце я ездил по ЮАР и тщательно изучил ее законы. Мне даже удалось присутствовать на заседании белого парламента. Увиденное и услышанное заставило меня содрогнуться.

Дополнительную информацию я почерпнул из автобиографии покойного Альберта Лутули[3] и статей таких видных южноафриканских общественных деятелей, как Нельсон Мандела[4],

[3] Примечания: 3

Альберт Лутули (1898—1967) — деятель освободительного движения ЮАР, с 1952 года президент Африканского национального конгресса (АНК) — крупнейшей политической организации африканского населения ЮАР, борющейся против апартеида и других проявлений расизма.

[4] Примечания: 4

Нельсон Мандела (род. в 1918 г.) — вице-президент Африканского национального конгресса. Арестован в 1962 году, осужден на пожизненное заключение.

Гован Мбеки[5] и Уолтер Сисулу[6], которые сами принимали активное участие в освободительной борьбе, а ныне томятся в тюрьмах на острове Роббен неподалеку от Кейптауна.

Большую помощь оказали мне и исторические труды Мери Бенсон[7], Брайена Бантинга[8], Рут Фёрст[9] и Рональда Сигела[10] — очевидцев важнейших этапов борьбы за свободу черного населения ЮАР. Мною использованы также различные репортажи, появившиеся в последнее время в международной прессе, ежегодные отчеты Южноафриканского института расовых отношений, доклады Комитета ООН по изучению апартеида в ЮАР и сообщения и публикации ЮНЕСКО, как, например, книга «Апартеид и его влияние на образование, науку, культуру и ин-

---

[5] Примечания: 5

Гован Мбеки (род. в 1910 г.) — журналист, один из лидеров Африканского национального конгресса. Арестован в 1963 году, осужден на пожизненное заключение.

[6] Примечания: 6

Уолтер Сисулу (род. в 1912 г.) — один из лидеров АНК. Арестован в 1963 году, осужден на пожизненное заключение.

[7] Примечания: 7

Мери Бенсон (род. в 1905 г.) — южноафриканская журналистка и писательница, автор переведенного на русский язык романа «В точке покоя».

[8] Примечания: 8

Брайен Бантинг (род. в 1920 г.) — деятель Южно-Африканской коммунистической партии, журналист, автор переведенных на русский

язык книг «Становление южноафриканского рейха» и «Мозес Котане. Политическая биография».

[9] Примечания: 9

Рут Фёрст (род. в 1925 г.) — деятель Южно-Африканской коммунистической партии, журналистка, автор ряда книг (на русский язык переведены ее книги «117 дней» и «Юго-Западная Африка»).

[10] Примечания: 10

Рональд Сигел (род. в 1932 г.) — южноафриканский журналист.

формацию».

А. Б.

ГЛАВА I

Парк только для белых матерей с детьми.

Постановление Управления парков и учреждений отдыха

— А теперь будьте осторожны, — предупредил Джимми, — здесь направо.

— На пустырь? Там же яма на яме! — воскликнул Пьер недоуменно. — Мы что, должны его пересечь?

— Нет.

— Но туда и въезжать опасно. — Пьер явно колебался.

Заметив это, Джимми потеснил его плечом и, положив свои тяжелые руки на руль, резко повернул машину вправо. Переваливаясь со стороны на сторону и подпрыгивая на ухабах, мы въехали на узкую грязную дорогу между маленькими домишками.

— А теперь тормозите, — весело закричал Джимми, — если не хотите перевернуться.

Машина вздрогнула и остановилась. Мы оказались в Софиатауне, большом западном пригороде

Йоханнесбурга, в котором проживали только черные. Прямо перед нами простирался огромный пустырь. По одну его сторону лежал город, по другую — холмы с разбросанными по ним старинными белостенными фермами.

Пустырь был так велик, что на его территории могли играть в футбол сразу пять-шесть детских команд и уместились бы тенты цирка, заняв всего лишь какую-то небольшую часть.

В обычные дни тут, кроме детей, всегда можно было увидеть женщин, развешивающих белье. Но сегодня пустырь затопило волнующееся человеческое море. Море черных.

Пестро одетая, возбужденно гудевшая толпа стояла так плотно, что, казалось, можно было пройти по головам людей.

— Ну, что вы скажете? — спросил Джимми, посмотрев на Пьера с веселой улыбкой.

— Да их здесь не сотни, а тысячи, — пробормотал Пьер растерянно.

— А я и не говорил, что сегодня соберется всего несколько сот человек, — ответил Джимми. — Это вы так решили. Боже мой, какой у вас изумленный вид!

Джимми громко рассмеялся. Видя, что Пьер смотрит на него исподлобья, он воскликнул:

— Да не сердитесь же! Я говорил правду! Сердиться можно было бы, если бы я вас обманул.

Мы вышли из машины, и Джимми продолжал:

— Идемте, я проведу вас в местечко, откуда все будет отлично видно.

Протискиваясь сквозь толпу, мы успели заметить, что пустырь окружен полицейскими машинами. Рядом с собравшимися группами стояли полицейские в форме. Попадались и агенты в штатском. Это были сотрудники тайной полицейской службы, называемой в ЮАР «Особым отделом». В ее задачу входит обеспечение безопасности белого правительства.

Черные африканцы, заполнившие пустырь, не обращали на них никакого внимания. Оживленно разговаривая друг с другом, они отворачивались от полицейских, стараясь стоять к ним спиной. Внимание собравшихся привлекала лишь деревянная трибуна, возвышавшаяся в левой части пустыря, где несколько молодых людей устанавливали микрофоны.

Высокий дюжий белый с усами пшеничного цвета взял Пьера под руку и спросил:

— Интересуетесь фольклором, господин ван Берген?

Пьер недоуменно уставился на него.

— Меня зовут Вандермюллен, я из министерства юстиции, — представился он.

Но его имя ничего не говорило Пьеру.

— Вспомните обед в честь иностранных журналистов, — продолжал мужчина, — в Претории.

— О да… Извините меня, — ответил смущенно Пьер.

Позже он рассказал нам, что вскоре после его приезда в Йоханнесбург информационное бюро давало обед, на который его привел Билл Хорман из «Ранд дейли мейл». У Пьера осталось в памяти, что во время обеда им без конца внушали, что они как иностранные журналисты могут беспрепятственно ездить по всей стране и писать все, что хотят.

Пожав без всякого энтузиазма протянутую руку, Пьер сказал:

— Вы хорошо запомнили меня не только в лицо, но и по фамилии.

— Ну, как же, как же, ведь мой дедушка тоже из Антверпена. Разве вы не знаете семейство Вандермюлленов? Он жил на Церковной улице. Церковная улица в Антверпене, Церковная улица в Претории! Ну, вот! Теперь вы вспомнили. Как вам нравится в нашей стране?

— Я прожил здесь только месяц. Для выводов

это маловато, — ответил Пьер.

На обеде в Претории Вандермюллен уверял Пьера, что попал туда случайно. То же самое говорил и другой сосед за столом, который впоследствии оказался капитаном Особого отдела.

Вандермюллен снова спросил Пьера, не поиски ли фольклора привели его на митинг. Джимми и меня он игнорировал — ведь мы черные. К подобному обращению мы давно привыкли. Белые в ЮАР проходят мимо черных, просто не замечая их.

Показав на полицейские машины, окружавшие толпу, Пьер съязвил:

— Похоже, что у вас здесь все сходят с ума по фольклору.

Вандермюллен, проглотив издевку, ухмыльнулся и ответил:

— Ах, это… Ну, знаете, как бывает на сборищах подобного рода… Начинают с пения, а кончают ударами по головам.

— По чьим? Своим или вашим? — поинтересовался Пьер.

«Он злится, что согласился приехать, — подумал я, улыбаясь. — Ведь ехать сюда Пьер совсем не собирался. Он не верит в то, что сегодня здесь развернутся необыкновенные события. Думает,

что зря теряет время, и злится».

От меня не ускользнул колючий взгляд Вандермюллена, который он искоса бросил на Пьера. Затем он засмеялся и с притворной веселостью произнес:

— Хорошая шутка! Расскажу приятелям. Фламандцы — большие шутники, всегда славились этим.

— Перестань ухмыляться, — шепотом бросил мне Джимми. — Этот тип все замечает. Проходите, — громко обратился он к Пьеру, показывая на маленький домик.

— Зачем? — спросил Пьер, явно задетый бесцеремонным тоном моего брата.

— Вам там будет удобнее. — Джимми показал на обветшавший балкончик над дверью. — Боже, ну и ворчун же вы!

Засмеявшись, он втолкнул Пьера в дом. Мы поднялись по лестнице и очутились в маленькой комнатке, где застали нашу племянницу Луизу за штопкой постельного белья. На полу играли четверо ее малышей.

Джимми представил Пьера. Луиза приветствовала его на очень хорошем английском языке, которым всегда гордилась, да и мы вместе с нею. Она сразу же отложила работу, намереваясь уй-

ти вместе с детьми. Пьер вежливо попросил ее остаться. Но Джимми пояснил, что Луизе пора на работу, а эта комната специально приготовлена для него.

— Вы заранее договорились о комнате для меня? — спросил Пьер, когда Луиза ушла.

— Конечно! Иначе сейчас здесь уже торчало бы человек пятьдесят и, чего доброго, домишко мог развалиться.

— Неплохо придумано, — буркнул Пьер, все еще немного сердясь.

Он чувствовал себя похищенным и доставленным сюда против воли. В некотором роде это так и было.

Мы пришли к гостинице за полчаса до того, как должен был появиться Пьер. Когда он вышел, Джимми дал ему сесть в машину. А потом, просунув руку в окошко через его плечо, открыл заднюю дверь, втолкнул меня на сиденье, уселся сам и сказал:

— Мы рады, что вы решили поехать. Я покажу вам дорогу. Меня зовут Джимми Тугела, а это мой брат Давид.

Позже вечером, уже у нас в доме, Пьер рассказывал:

— Сначала я принял вас за назойливых гидов,

которые всегда болтаются около гостиниц, и хотел вышвырнуть из машины. Частенько это очень опасные ребята. Но потом сообразил, что вы не можете быть гидами. Черные и белые вместе… такого в ЮАР не увидишь. Я уже знаю, что здесь любой белый, только потому что он белый, может заставить работать на себя любого черного. Знаю, что с черными не принято говорить на улицах. Знаю, что, если пройду по улице, болтая с черным, меня непременно спросят: «Что это вы там с ним обсуждали?»

В машине он посмотрел на нас с недоверием, не стал заводить мотор и спросил:

— Куда это вы хотите показать мне дорогу?

— На митинг, — ответил Джимми.

— На какой митинг?

— О, может быть, вы туда совсем и не собирались? — спросил Джимми. — Тогда очень хорошо, что мы пришли. Вы получили наше письмо?

— Письмо?

— Да, письмо. С приглашением на митинг, который проводит Африканский национальный конгресс.

— А… Кажется, получил…

— Это будет грандиозный митинг. На нем будут приняты важнейшие решения. Вам непременно

надо поехать туда. Вы увидите такое количество африканцев, собравшихся вместе, какого еще никогда не видели. Вы узнаете, почему мы, подчинявшиеся белым сотни лет, с сегодняшнего дня перестанем быть послушными. Разве вам это не интересно? Ведь вы же журналист! Вы молоды. Вы приехали в Южную Африку, чтобы узнать, что здесь происходит. Вы обязательно должны побывать на митинге.

Джимми произнес все это с присущим ему темпераментом, что явно подействовало на Пьера.

Он повернулся к нам и спросил:

— Вы сказали, что именно сегодня будет положен конец повиновению?

— Да. Именно сегодня, шестого апреля тысяча девятьсот пятьдесят второго года.

— Как понять «конец повиновению»?

— После пятидесятилетнего беспрекословного повиновения африканцы вежливо и деликатно дали понять, что не хотят больше входить повсюду с черного хода. Они написали прошение по этому вопросу и послали делегацию к правительству. В делегацию вошли самые почтенные и выдержанные люди. Однако они ничего не добились, кроме лаконичного ответа: «Прекратить это безобразие». Делегацию даже не пустили дальше

прихожей.

Несколько месяцев назад доктор Морока[11] и Уолтер Сисулу написали письмо премьер-министру Малану[12]. Они объясняли всю серьезность положения. Писали, что терпению народа пришел конец, что законы, унижающие африканцев, должны быть отменены. Секретарь премьер-министра вернул письмо с резолюцией, рекомендовавшей обратиться в министерство по делам туземцев. Морока и Сисулу пытались разъяснить, что они граждане Южно-Африканского Союза и речь идет не об антропологических проблемах, а о гражданских правах. Они заявили, что в этом вопросе не видят разницы между белокожими и чернокожими. Секретарь ответил, что разница есть, она незыблема и возникла не по воле человека. Далее он пригрозил, что правительство использует всю свою силу и разделается с нарушителями спокойствия. На этом правительство хотело закончить дискуссию, — пояснил Джимми, — но своего не добилось. Конец пришел не

---

[11] Примечания: 11

Джеймс *Морока* (род. в 1891 г.) — генеральный президент Африканского национального конгресса в 1949—1952 годах.

[12] Примечания: 12

Даниель Франсуа *Малан* (1874—1959) — премьер-министр Южно-Африканского Союза в 1948—1954 годах.

дискуссии, а повиновению.

Доктор Морока и Уолтер Сисулу потребовали немедленно отменить законы об особых паспортах для черных, обязывающие их жить только в местах, указанных в паспортах. В противном случае в День ван Рибека[13] мы начнем массовые акции неповиновения.

Сегодня День ван Рибека. На письмо Малан не ответил, законы не отменены.

— Доктор Морока — председатель Африканского национального конгресса?

— Да. А Уолтер Сисулу — секретарь. Ну, будьте же настоящим журналистом и поедемте на митинг. Ехать надо вон по той улице, а через два квартала повернуть налево.

— В чем будут заключаться акции неповиновения?

— В невыполнении несправедливых законов и добровольной отсидке за это в тюрьме. Отряды добровольцев уже формируются по всей стране.

Вечером у нас в доме Пьер рассказывал, какое впечатление произвел на него Йоханнесбург с

---

[13] Примечания: 13

Ван Рибек (1618—1677) — первый губернатор голландской колонии на мысе Доброй Надежды, считающийся основателем нынешней Южно-Африканской Республики. День ван Рибека — государственный праздник ЮАР.

его широкими торговыми улицами, множеством мчащихся автомашин, грохотом отбойных молотков на приисках в Витватерсранде, с таящейся за всем этим чудовищной властью золотых и алмазных магнатов Лондона и Нью-Йорка.

Он рассказал, как однажды Билл Хорман, местный журналист, привел его в небоскреб «Две звезды Золотой компании» и что он увидел в огромных конторах этого могущественного горнорудного треста.

Пьер приехал в Преторию впервые. Ему сразу не понравилась неприкрытая тупая жестокость этого города. Когда он проезжал мимо памятника первым поселенцам, то просто испугался. «Это же каменное воплощение насилия!»

Билл Хорман, хорошо относящийся к нам, черным, сказал ему однажды: «В Южно-Африканской Республике всего три миллиона белых и свыше двенадцати миллионов африканцев. Но если бы африканцев было даже сто двадцать миллионов, они все равно ничего не сумели бы сделать с белыми. В руках у белых капитал, шахты, фабрики и лучшие земли. Они лишили африканцев права голоса. В парламенте, правительстве, суде — одни белые. В их руках пулеметы, пушки, танки».

— А Джимми, этот веселый и настойчивый па-

рень, сумел заинтересовать меня, — сказал Пьер.

За день до этих событий корреспондент газеты «Ди Фадерланд» Пит Бейкман рассказал Пьеру о демонстрации черных в Порт-Элизабете.

— Атмосфера накалена, — с волнением говорил он, — и взрыва можно ожидать и в Трансваале.

Нечто подобное Пьер слышал и от молодого английского радиокомментатора.

Кроме того, в нашей просьбе поехать на митинг ов увидел возможность отделаться от приглашения Южноафриканской туристической корпорации посетить объединение «Новые курорты в Ваале». Поездка туда ему была почти навязана. Приглашение застало его врасплох, и он согласился, но позднее пожалел об этом. Зная, что немецкий, французский и американский журналисты уже дали согласие принять участие в поездке, он не боялся, что она сорвется, если он откажется в последнюю минуту. Решение было принято, после чего он вернулся в отель, позвонил Сатуру, и мы двинулись в путь.

Джимми я встретил случайно, когда он собирался поехать за Пьером. В тот день после обеда уроков в колледже святого Эдварда у меня не было. Я был свободен и от службы в церкви колледжа, где исполнял обязанности помощника

пастора.

Я пришел к друзьям, чтобы вместе с ними отправиться на митинг в Софиатаун. По дороге встретил Джимми. Он рассказал, что хочет прихватить с собой одного журналиста, и попросил меня пойти вместе с ним.

Я менее самоуверен, чем Джимми, и колебался, но он потащил меня с собой.

— Если он откажется ехать, вдвоем мы увезем его силой.

По-моему, мы все полюбили Пьера ван Бергена сразу, как только увидели. Нам понравилось его красивое лицо, серьезность, делавшая его старше своих лет, и мягкая меланхолическая приветливость, создававшая впечатление, что он действительно рад встрече с нами. Мне кажется, меланхоличность сохранилась в нем еще с детства, когда его родители — отец у него был дипломатом — таскали его из страны в страну. Их дом был вечно полон чужих людей. Так он жил до тех пор, пока не отправил родителей путешествовать одних.

Нам понравилась также его тактичность. Пьер мог часами слушать рассказчика, не перебивая. Нравилось, как у него весело загорались глаза, когда он слышал остроумную шутку. А маме нра-

вились его красивые руки.

Мы стояли на балконе и смотрели на гудящую толпу. Внизу раздался голос моей сестры Сандры.

— Джимми, ты где? — позвала она.

Сандра поднялась по лестнице и появилась в дверях. Высокая, изящная и красивая, со светло-коричневой кожей, как у девушек Сенегала, со стройными ногами и продолговатым разрезом глаз, как у нашего отца. Не зря он и Сандра славились красотой на весь Софиатаун.

— Давид! — воскликнула она удивленно. — А где Джимми?

Я ответил, что Джимми ушел ненадолго. Я заметил, что Пьер не отводил от Сандры завороженного взгляда.

Позже, когда мы шутили по этому поводу, Пьер признался, что был зачарован.

Почувствовав его пристальный взгляд, Сандра смутилась и сказала:

— О, извините меня. Я шла мимо…

Я представил ей Пьера. Сандра, улыбаясь, спросила:

— Уж не тот ли вы журналист, которого Джимми обещал привезти во что бы то ни стало?

— Да, тот.

— Брат уверял, что в случае надобности он сде-

лает это насильно.

Пьер поднял брови и после небольшой паузы сказал:

— А он так и сделал.

— Наш Джимми ужасный фантазер. Однажды он заявил: «Я придумал, как привлечь к нам внимание всего мира. Я поеду и привезу сюда королеву Англии».

— А знаете, — сказал Пьер, улыбнувшись, — не исключено, что он привез бы ее.

— Джимми пошел за документами, — объяснил я Сандре. — Кажется, заявление для печати и тезисы доклада доктора Иллово уже готовы. Он пошел за ними.

— Да, готовы. Я сама их печатала, — ответила Сандра.

— Вы тоже связаны с организацией борцов за равноправие? — спросил Пьер. В его голосе слышалось волнение. Позже он пояснил: «Откуда мне было знать, что в Йоханнесбурге, на балкончике полуразвалившегося домишки на окраине Софиатауна, я встречу самую красивую девушку в мире?»

— Совсем немного, — ответила ему Сандра. — Время от времени я печатаю им различные бумаги, делаю переводы. Я перевожу с англий-

ского на голландский и наоборот. По профессии я секретарь.

Пьер поинтересовался, почему мы разговариваем дома друг с другом по-голландски. Мы объяснили ему, что так повелось с детства, прошедшего в доме нашего прадеда. Он служил смотрителем на ферме у голландца Хендрика Вассенаара и говорил только по-голландски. Прадед был сиротой и воспитывался мулаткой из провинции Кап, говорившей по-голландски. Рассказывали и о том, что наш отец был поденщиком у голландских фермеров. И теперь, хотя мы все знаем родной язык пондо, а многие и английский, дома невольно переходим на голландский. Сандра же, кроме того, училась в школе при голландской миссии. Теперь работает в больнице секретарем доктора Беркмана — голландца.

— У вас блестят глаза, когда вы рассказываете о своем прадедушке, — заметил Пьер.

Сандра рассмеялась.

— Наш прадедушка был очень веселым человеком, — пояснила она. — С ним было так интересно. Не правда ли, Давид? Он знал тысячи всяких сказок, одна интереснее другой. А как было чудесно и уютно примоститься у него на коленях. Отец в те годы работал на золотых

приисках, и дома мы видели его не часто. Потом родители открыли здесь гончарную мастерскую, и мы все переехали сюда.

— Все это очень интересно. Вы не разрешите навестить вас на днях еще раз? — спросил Пьер.

— Вы хотите прийти к нам? — радостно удивилась Сандра. — Мама и папа будут очень рады. Особенно мама. Так ведь, Давид?

— Да, конечно.

— Почему особенно мама?

— О… мама… Она у нас необыкновенная, — произнесла Сандра, смущенно улыбаясь. — Во всяком случае, так нам кажется. Наверное, дети во всем мире думают о своих матерях то же самое. Наша мама происходит из семьи вождя. Ее предок, Элиас Тсомо, был верховным вождем племени[14] пондо сто пятьдесят лет тому назад. Теперь каждый раз, когда мама ездит в земли пондо, ее там встречает Абель Тсомо. Сейчас он верховный вождь племени. Мама обычно гостит у него неделю. Здесь все знают об этом. Люди нашего племени уважают маму. К ней вечно идут за советами, помощью. Вот почему ей приходится

---

[14] Примечания: 14

Здесь и далее автор употребляет термин «племя», который теперь было бы несправедливо применять к таким крупным этническим общностям, как пондо, коса, тембу, зулу и др.

заниматься политикой. Она очень убедительно и горячо отстаивает свои взгляды. А когда с ней не соглашаются, страшно сердится и выходит из себя, можно сказать, ведет себя как черт, которого окуривают ладаном. А еще она любит быть в курсе всех наших дел… Мама знает все, что мы говорим и делаем. За это мы иногда ужасно злимся на нее, порой хочется переколотить посуду. Но мама и наша опора, — добавила Сандра мягко. — Для нас всех и для папы тоже. Не знаю, что бы мы без нее делали.

Неожиданно глаза Сандры заблестели, и она смущенно спросила:

— Я подумала, почему бы вам не зайти сегодня к нам ненадолго сразу же после митинга? Конечно, если у вас нет других планов.

— Определенных планов нет, — неуверенно ответил Пьер.

— У мамы обычай — после любых важных событий устраивать прием. Пусть вас не смущает это слово. Мы так называем всякое угощение, которым мама очень любит потчевать гостей. На самом же деле сегодня соберется вся наша родня. Придут дяди, тети, племянники и племянницы. Будут пить чай и болтать обо всем на свете. Правду говоря, мы любим такие встречи. Вам

представится удобный случай познакомиться со всей нашей семьей. В простой день такое не удастся.

— Приду с удовольствием, — воскликнул Пьер с искренней радостью.

В это время толпа оживленно загудела. Мы увидели, как на трибуну поднялись около двадцати женщин. Они опустились на колени и застыли, скрестив руки на груди.

— Что это означает? — спросил Пьер.

— Они будут молиться, — ответила Сандра и умолкла, серьезно глядя на трибуну.

Над людским морем пронеслось: «Тсс… тсс…» — и толпа замерла. Неожиданно с трибуны раздалось мелодичное пение сильных женских голосов.

Женщины пели псалмы. Их голоса, усиленные микрофонами, плавно и величественно плыли над толпой. Постепенно собравшиеся стали им подпевать.

— Так бывает всегда, — пояснил я, — не только на митингах, но и перед демонстрациями, забастовками. Женщины выходят на площади, перекрестки улиц и молятся. Это ободряет мужчин.

— О, смотрите, смотрите, мама поднимается

на трибуну, — вдруг воскликнула Сандра. — Она тоже будет петь!

Мы увидели, как мама шагала по лестнице. По походке было заметно, что она волнуется. Она подошла к микрофону и присоединилась к поющим женщинам. Она пела, скрестив руки на груди и устремив взгляд в небо. Немного спустя ее сильный, высокий голос стал выделяться из общего хора. Отчетливо слышны были слова псалма. Она пела об Африке, ее холмистых равнинах, полноводных реках, озерах, высоких горах…

— «Господи, благослови наши горы и реки, благослови наши холмы. Господи, благослови Африку, подай ей надежду», — пела мама. Затем она обратилась к собравшимся: — Мы молимся богу, не так ли?

— О да! — ответила хором толпа.

— Мы просим бога, чтобы он благословил нас?

— О да!

— Чтобы он благословил наши холмы и реки?

— О да!

— Наши горы и моря?

— О да!

Звездный купол африканской ночи, огромная толпа людей с горящими взорами, прикованными к трибуне, молящаяся о счастье, — все это

впечатляло, но не предвещало ничего драматического.

Мы были в прекрасном настроении, полны оптимизма и веры в будущее. Мы были радостны и даже веселы. Все смеялись, когда мама стала задавать шутливые вопросы, и громче прежнего пели свои ответы. Все шло спокойно и организованно.

— Будем ли мы убивать наших врагов? — пела мама.

— О нет! — гремело в ответ.

— Будем ли их ненавидеть?

— О нет!

— Смотреть на них с презрением?

— О нет!

— Хватит ли всем места на зеленых просторах Африки?

— О да, о да!

— Будет ли царить мир и любовь среди людей, живущих в Африке?

— О да, о да!

— Давайте помолимся… Давайте помолимся.

И снова полилась мелодия псалма.

— Как хорошо поет ваша матушка! — воскликнул удивленный Пьер. — Она и дома поет?

— С раннего утра до позднего вечера, — ответила, смеясь, Сандра. — Готовя завтрак, она

поет хвалу кофе, и никому не удается закрыть глаза и поспать еще немного. Убирая квартиру, она распевает о лентяях, которые целыми днями валяются в постели, заставляя ее так много работать. А когда толчет крупу, поет о вечно голодных желудках. Убирая комнаты, мама широко распахивает окна и двери. В такие минуты она счастлива. Она громко поет о солнце и цветах. И голос ее доносится до самых холмов.

Но тут группа мужчин поднялась на трибуну. Толпа оборвала пение и разразилась громкими приветствиями и бурной овацией.

Чарльз Нкана — местный представитель Африканского национального конгресса — подошел к микрофону и сказал:

— Сегодня великий день. Мы дадим клятву. И мы сдержим ее. Пришло время. Послушайте доктора Иллово, он скажет, что нам нужно делать.

Доктора Иллово знают все. Всем хорошо знаком этот худощавый, маленького роста, очень темнокожий человек с седыми курчавыми волосами и очками в металлической оправе. Он один из самых знаменитых хирургов Южной Африки. Доктор Иллово известен еще и тем, что, будучи человеком влиятельным, помогает людям, которых полиция преследует за деятельность в АНК.

Подойдя к микрофону, он оглядел пустырь, заполненный людьми до отказа.

— Я вижу здесь полицейских, — начал он. — Но правительство могло бы и не утруждать себя этой демонстрацией силы. Мы не собираемся предпринимать ничего противозаконного.

Сделав небольшую паузу, он продолжал:

— Мы ничего не предпримем сегодня.

Над пустырем воцарилась тишина.

— Дорогие друзья! Всем вам хорошо известно, что Африканский национальный конгресс ничего не имеет против белых, против того, чтобы они жили вместе с нами. Вопрос, кому должна принадлежать Южная Африка, белым или черным, по-моему, не имеет смысла, потому что я не вижу никакой разницы между белыми и черными. И те, и другие люди. Не более и не менее. Нигде не записано, ни в одной святой книге, что та или иная часть земли должна принадлежать только людям определенного цвета кожи. Никто из нас не хочет сбрасывать белых в море и, конечно же, не собирается, как это заявил на прошлой неделе в парламенте один из депутатов, перебить всех белых в их постелях. У нас нет намерений завладеть Южной Африкой. Мы не хотим господствовать над другими. Мы не при-

знаем правомерным власть одних народов над другими. Поэтому просим не помыкать нами.

Среди собравшихся раздались восторженные крики.

— Белые утверждают, что история разделила Южную Африку на две части, — продолжал доктор Иллово. — Одна из них — та, где они, белые, якобы всегда жили. А вторая — та, где всегда жили мы, черные. Они говорят, что так навеки и должно остаться: они в своей части, а мы в своей. Но эта предпосылка не верна. Неправда, что они всегда жили в одной части, а мы в другой. Повсюду, куда приезжали белые, они встречали черных. Белые вели с ними войны или заключали договоры. Но как то, так и другое подтверждает, что черные уже там жили. С духами не ведут войны и не заключают договоров.

Белые затевают спор, кто первым появился в Южной Африке, они или мы. Но этот спор бессмыслен, так как во всей Африке, как в Западной, так и в Восточной и в Центральной, белые появились позже нас. Белые пришли сюда, когда черные прожили здесь уже тысячи лет. Белые повели себя с самого начала как захватчики.

Правительство Южно-Африканской Республики поддерживает самые дружеские отношения с

колониальными странами, особенно с Португалией, которая угнетает наших братьев в Анголе и Мозамбике. Мы никогда не слышали, чтобы правительство ЮАР сказало португальцам: «Вы должны уйти из Анголы и Мозамбика, так как черные поселились там первыми».

По-детски наивно, а точнее, глупо звучит заявление белых: «Южная Африка принадлежит нам, потому что мы поселились здесь первыми». Начнем с того, что в действительности первыми поселились здесь не они. Белые приплыли сюда по морю с юга. Мы же пришли по суше с севера во время передвижения народов, которое тогда шло по всей Африке. Мы встретились и, как я уже говорил, или воевали, или заключали договоры. А потом жили здесь вместе. Черные были работниками у белых на фермах, слугами — в городах, нанимались на золотые прииски, работали и на фабриках. Черные все время жили там же, где и белые. Правда, они ютились в маленьких домишках, в самых бедных районах. Но они жили в тех же городах, что и белые, в тех же сельских местностях у шахт и рудников. Так было во все времена в этой стране, в которой черные составляют большинство. Только небольшое число черных жило обособленно в труднодоступных

районах, о которых белое правительство говорит сейчас, что это и есть наша родина. Для большинства из нас эти края совершенно чужие, мы с ними никак и ничем не связаны. Бесчеловечно издавать законы, силой обязывающие черных ехать в эти районы и жить там.

— Правильно, это так, — откликнулась толпа.

— Иногда, — продолжал доктор Иллово, — белые к этому большому апартеиду добавляют малый. Это сумма законов и предписаний, обязывающих черных входить в вокзалы через отдельную дверь, ездить в поездах в отдельном вагоне, на почте подходить к особому окошечку, а в парках, где для белых стоят скамейки, садиться на землю. Этот малый апартеид они считают такой мелочью, что на нее и внимания обращать не стоит. Но они не представляют, как он нас унижает! Как громко стали бы они кричать об оскорблении человеческого достоинств, если бы их самих заставить повсюду входить с черного входа. Нет, мне кажется, они просто, не понимают, что а нас это оскорбляет. Видно, они не осознают, как страшны слова матери, которая пытается объяснить дочери, что по законам ЮАР любовь между белым юношей и черной девушкой или черным юношей и белой девушкой

безнравственна. Каждый черный ребенок в один прекрасный день обнаруживает, что ему запрещается то, что разрешается белому малышу. И как он тогда поступает? Да так, как все дети, когда они чего-то не понимают. Малыш идет к своему отцу и очень серьезно спрашивает: «Папа, почему мне нельзя кататься в парке на прекрасных белых и красных качелях? Почему мне нельзя плавать в лодке по этому озеру? Почему мне нельзя съесть мороженое за столом вон там в кафе?» И отец должен ответить, объяснить. Он должен растолковать, почему этого нельзя делать маленьким черным ребятишкам. А как вы это ему объясните? Что скажете своему малышу, для которого вы самый большой, самый сильный человек на свете? Можно вынести такое унижение? Можно терпеть такой позор? Белые в ЮАР пытаются убедить весь мир, что мы созданы из одного теста, а они совсем из другого и поэтому жить должны отдельно друг от друга. Такая разница якобы существовала вечно и должна остаться навечно. И что по этой причине черных надо изолировать от белых. Для этого они издали различные законы: согласно одним — людей делят на группы по цвету кожи; согласно другим — каждой группе отводится для жительства изолированный район; третьи зако-

ны позволяют белым в любом месте и в любое время изгонять черных из их жилищ и переселять в места, определенные белыми.

Но есть и еще один закон. По нему любого человека, не согласного с унизительными законами, называют коммунистом и заносят в черный список. Возникает вопрос, почему белые никогда ни в чем не спрашивают нашего мнения? Почему они всегда решают за нас? По какому праву только белый дает распоряжения черному? Почему черный никогда не командует белым? Но, пожалуй, это уже второстепенный вопрос. Главный вопрос в том, что все, что говорят белые, ложь. Белые и черные равны, они ничем по существу не отличаются друг от друга. У них может быть различный внешний вид и манера поведения, но это потому, что они уже давно живут по-разному. А изменились бы условия жизни, и все было бы по-другому.

Гитлер, страдавший манией величия, из демагогических соображений льстил своему народу, называя его высшей расой. Однако наукой доказано, что нет рас благородных и неблагородных. Генетически арийцы ничем не отличаются от китайцев. А так называемые расовые признаки, о которых всегда твердили нацисты, можно обна-

ружить при самых фантастических смешениях рас, и эти признаки не поддаются никакой классификации.

Белые и черные не составляют какие-то обособленные группы со своими характерными чертами. Смешение людей с различным цветом кожи еще никогда, ни в один период истории, не приводило к вырождению, а скорее наоборот, к оздоровлению нации. Поэтому присутствие черных в ЮАР не таит опасности для этой страны. А завтра, если только нам дадут возможность, миллионы черных будут не менее достойными носителями цивилизации, чем белые. Я и сегодня знаю немало таковых среди черных. Вот почему мы считаем, что черных преступно обособлять от белых, что черные — люди с такими же духовными запросами и с такими же чувствами и что жить черным и белым нужно как братьям.

— Да! Мы этого хотим! Да, да! — кричали в толпе.

— Мы сказали об этом белому правительству нашей страны, — продолжал доктор Иллово. — Давно, очень давно мы начали убеждать их в этом. Мы объяснили, что не хотим всем завладеть, не хотим, чтобы страна была лишь для нас одних. Мы говорили только о своем месте в этой

стране, о том, что мы должны жить как равные свободные люди, получающие за свой труд справедливую плату. Мы хотим, чтобы наши дети учились в нормальных школах. Наши старики и калеки не жили бы в нищете и страхе, а мы могли бы принимать участие в решении жизненно важных вопросов. Сначала мы просили об этом. Очень дружелюбно. А затем, когда это не помогло, стали требовать и заявили, что не будем больше работать для белых, пока они не перестанут относиться к нам как к людям второго сорта. И наконец, когда и это не помогло, мы сказали: «Вы должны сделать то, что мы просим. Иначе мы перестанем вас слушаться».

Я смотрел на толпу и видел повсюду полицейских и неподвижно стоящих угрюмых сыщиков из Особого отдела, не отрывавших глаз от маленького черного человека в очках с металлической оправой.

— А они его не арестуют? — шепотом спросила Сандра.

— Может быть, и арестуют, — ответил я ей озабоченно. — Но не сейчас. Он уважаемый человек, у него много друзей, в том числе среди белых. Но в один прекрасный день они что-нибудь предпримут.

— Он очень храбрый, — тихо промолвила Сандра.

Тем временем доктор Иллово продолжал:

— Мы предупреждали власти, что, если законы апартеида не будут отменены ко Дню ван Рибека, мы от пассивного сопротивления перейдем к действиям. Сегодня День ван Рибека. Унизительные законы не отменены. Настал час действовать. Что это значит? Мы не будет бастовать или отсиживаться дома. Не будем устраивать демонстрации. Все это мы уже делали в прошлые годы. Позже мы, несомненно, прибегнем к этим акциям вновь, но не теперь. Сейчас мы предпримем кое-что другое. Мы открыто выкажем свое неповиновение, чтобы все убедились в нем воочию. Мы не станем прибегать к насилию, не испробовав все остальные средства. Мы будем мирно, но решительно и систематически нарушать законы. В этом нас, африканцев, поддержат индийцы и добрая половина мулатов. Поэтому мы начнем с нарушения закона, который тяжело гнетет все эти группы, закона, унижающего нас с раннего утра до поздней ночи. Все вы, конечно, уже поняли меня — речь идет о дощечках с надписями: «Только для белых». До сих пор мы жили, подчиняясь этим надписям. Но больше мы делать

этого не будем.

Повысив голос, он заставил собравшихся притихнуть.

— Во всех городах ЮАР сейчас проходят митинги, подобно нашему. На них разъясняют, как мы должны действовать. Прежде всего мирно и организованно. Мы не станем немедленно бросаться беспорядочной толпой в запрещенные для нас двери и садиться на запрещенные скамейки. Это чревато конфликтами и даже драками. Властями будут приняты строгие репрессивные меры. Из мухи раздуют слона, и в очень короткий срок наши усилия будут сведены на нет. Белому правительству все это было бы только на руку. Но мы не доставим ему такого удовольствия. Мы будем делать то, чего оно не желает. Наши акции будут называться «кампанией неповиновения»[15]. Мы вынудим белых помериться с нами силами в длительной борьбе, которую будем вести хладнокровно. Мы должны тщательно подготовиться. В предстоящей борьбе каждый из вас будет делать только то, что ему поручат. Кто хочет принять участие в выступлениях первых групп добровольцев?

---

[15] Примечания: 15

Такая кампания действительно проводилась Африканским национальным конгрессом в 1952 году.

Толпа всколыхнулась и с громкими ликующими криками устремилась к трибуне. Людское море вздыбилось лесом поднятых рук. Порыв был таким неудержимым, что мы испугались, как бы толпа не смела трибуну.

Полицейские, стоявшие у машины неподалеку от нашего домика, нервно переглянулись. Один из них что-то буркнул, едва разжав губы, второй хмуро кивнул головой.

— Спасибо, друзья, — произнес доктор Иллово. — Я знал, что мы можем на вас рассчитывать. Теперь внимательно выслушайте меня. За нарушение законов вас будут наказывать. Поэтому каждый должен все хорошенько взвесить. Мы станем нарушать законы многочисленными группами. Цель кампании неповиновения — начать во всех крупных городах ЮАР массовое нарушение законов людьми, согласными добровольно сесть за это в тюрьму.

Последнюю фразу он произнес медленно и приглушенно, словно ему было трудно выговорить слово «тюрьма».

— Для всех вас это слово не в новинку, — продолжал доктор Иллово. — Любой черный в ЮАР хорошо знает, что такое тюрьма. Многие сидели в ней. В ЮАР считается преступлением, если

черный забыл взять с собой паспорт. За это его сажают за решетку. Черный считается преступником, если в его паспорте отсутствует одна из многочисленных печатей, значения которых он даже не знает. Преступление, если он окажется в городе, где не прописан. Преступление, если он не работает. Преступление, если он даже и работает, но не в том месте, которое ему определили белые. Преступление, если у его жены цвет кожи не точно такой, как у него. Преступление, если он живет с детьми, которым предписано выехать в резервацию. Женщина, приехавшая в гости к мужу из резервации и задержавшаяся у него более трех дней, совершает преступление. Мужчина, заявивший, что родился в городе и поэтому не хочет выезжать на жительство в так называемые племенные, земли, тоже совершает преступление. Преступник и тот, кто ночью позднее установленного часа выходит на улицу и бежит к врачу или в больницу с просьбой оказать помощь больному родственнику.

В других странах мира никто не считает подобные поступки преступлением. А когда человек совершает мелкий проступок, его предупреждают или наказывают небольшим денежным штрафом, не более. В ЮАР это тоже так, но только

для белых. Черных же упрятывают в тюрьмы. Правда, иногда спрашивают, не согласны ли они уплатить штраф. Но так как черные с трудом зарабатывают себе на жизнь и им нечем платить штрафы, их сажают в тюрьмы. Поднимите руки, кто сидел в тюрьмах!

Поднялся лес рук. Их было так много, что казалось, в толпе нет человека, который не поднял бы руки.

— Хорошо, — сказал доктор Иллово тихо. — Постойте так немного, чтобы мы все хорошенько запомнили это зрелище и стали бесстрашными и мужественными.

На трибуне стояли девять юношей с поднятыми руками.

— Спасибо, друзья, — воскликнул доктор Иллово. — Достаточно. Страшно подумать, какие страдания терпит народ только потому, что у него более темный цвет кожи, чем у европейцев.

Потом он добавил:

— Африканский национальный конгресс вместе с Индийским конгрессом[16] и другими организациями, сотрудничающими с нами, создает

---

[16] Примечания: 16

Индийский конгресс Южной Африки — политическая организация индийского населения Южно-Африканской Республики, выступающая против расовой дискриминации.

Комитет помощи добровольцам и их семьям. Семьям пострадавших в случае необходимости комитет будет оказывать денежную помощь и поможет в устройстве на работу. Но наши средства ограничены, и я обязан с самого начала предупредить вас, что комитет не сможет помочь всем. Даже, по правде сказать, большинство не получат помощи. Ее получат только те, кто окажется в самом затруднительном положении. Мы еще раз подчеркиваем, что добровольцы во время проведения кампании неповиновения должны вести себя сдержанно, быть вежливыми. Они в некотором роде представляют всех нас. Поэтому это должны быть люди благоразумные и серьезные, способные неукоснительно выполнять инструкции. Добровольцами не могут быть скандалисты, люди вспыльчивые, а также зеленая молодежь, которая необдуманными поступками может испортить все дело. Вот что, дорогие мои друзья, я хотел вам сказать. Надеюсь, что вы все хорошо меня поняли. На следующей неделе мы свяжемся с вами через наших представителей. Давайте же все вместе снова споем наш гимн, а потом организованно разойдемся.

Сильным голосом он запел:

— «Господи, благослови Африку».

Все подхватили. Затем доктор Иллово и сопровождавшие его молодые люди покинули трибуну. Народ долго и горячо аплодировал. Толпа постепенно распалась на небольшие, оживленно беседующие группы и растаяла.

Взглянув на Пьера, я заметил, что митинг произвел на него огромное впечатление. На вопрос, что он обо всем этом думает, Пьер ответил:

— Не знаю, чего я, собственно, ожидал… Но это превзошло все мои ожидания. — Он покачал задумчиво головой и добавил: — Это совсем другое. Все было спокойней, проще и яснее. Вы не мрачны, не испуганы. Вы жизнерадостны. Полиция вовсе не нагнала на вас страха. Вы даже ни разу не оглянулись на полицейских. Ни один человек из собравшихся не выглядел грязным побирушкой. Все были одеты чисто и опрятно. Люди стояли, высоко подняв головы, с ясными взорами, полными спокойствия и уверенности в себе. Доктору Иллово ничего не стоило взвинтить вас и снискать себе популярность. Но он не сделал этого. Наоборот, в своей речи он все время успокаивал вас и с достоинством ушел, дав деловые советы.

Пьер показал на расходившихся людей и воскликнул:

— Посмотрите, они чувствуют себя веселее прежнего. Повсюду видны улыбки. Вон там, там, там… Вы странный народ.

В комнату вбежал Джимми с пачкой бумаг. Он крикнул зло:

— Своенравный, упрямый и самодовольный дурак! Ему поручили хорошенько подогреть людей. А он что сделал? Обдал их холодным душем. Принимайте участие в кампании неповиновения — и вас упрячут в каталажку, но к нам не приставайте, мы ничего не сможем для вас сделать!

— А мне понравилась речь доктора Иллово, — сказал Пьер.

— Серьезно? — спросил Джимми растерянно.

— Мне тоже речь понравилась, — подхватила Сандра.

— Джимми, — вмешался я, — господин ван Берген согласился познакомиться с нашей семьей. Он принял приглашение зайти к нам домой после митинга. Надо поторапливаться, вся родня наверняка в сборе.

— О, это здорово! — воскликнул Джимми, повернувшись к Пьеру. — Вы действительно хотите пойти с нами?

Пьер кивнул.

— Прекрасно! Тогда надо спешить. Вы проводи-

те нашего гостя, а я побегу предупрежу маму. Она очень рассердится, если мы лишим ее возможности надеть нарядное платье.

Он устремился вниз по лестнице.

— Чтобы поговорить с Джимми, — смеясь, произнесла Сандра, — его сначала надо где-то запереть, а потом через замочную скважину вести беседу, иначе ничего не получится.

Когда мы спустились вниз, то столкнулись с двумя белыми, входившими в дом. Одним из них был Вандермюллен.

— А, вот вы где, — воскликнул он, обращаясь к Пьеру. — Я видел вас на балконе. Журналисты всегда умеют выбирать самые лучшие места.

Он хлопнул Пьера по плечу и, улыбаясь, предложил:

— Земляк, как ты смотришь на то, чтобы посидеть с нами где-нибудь и пропустить по рюмочке?

— Спасибо. Сейчас не могу. Я уже дал согласие быть в другом месте, — ответил Пьер.

Вандермюллен смерил взглядом меня и Сандру, и на лице его застыло холодное безразличие.

— В самом деле не можете? — Он снова повернулся к Пьеру.

— Не могу.

— Ну хорошо, тогда в другой раз, — произнес он с показным добродушием. — Вы знаете, где меня найти. Если что потребуется, не стесняйтесь. Не забывайте, что мы земляки. Мне было бы очень приятно видеть вас в моем доме, в моей семье.

— Непременно приду, спасибо, — поблагодарил Пьер.

Когда Вандермюллен с приятелем скрылись за дверью, я спросил Пьера:

— А может, вам лучше пойти с ними? Боюсь, что вы попадете у них на заметку. Вас видели с черными. Они не любят, когда им предпочитают черных.

— У меня нет никакого желания быть у них на хорошем счету, — ответил Пьер. — Надеюсь, у вас не будет неприятностей. Я имею в виду полицию.

— Мы у полиции постоянно в немилости. Видите ли, наша семья живет не так, как, по ее мнению, должны жить черные. Пастор Тревор из пресвитерианской церкви приходит к нам в гости каждую неделю. Часто бывает и пастор Гудсон. Оба они белые. Епископ Традер, тоже белый, большой друг папы и мамы. Папа вместе с одним индийским торговцем играет в бридж со Стенхоупами. Стенхоупы — английские квакеры. Они

намеренно приглашают к себе в дом африканцев и индийцев, чтобы таким образом выразить протест против апартеида. Они очень приветливы, папа по-настоящему дружен с ними и ходит в их дом с удовольствием. У нашего старшего брата Тома тоже есть друзья среди белых. Эта дружба идет с тех пор, когда он во время войны в Европе служил в британской армии. Роза, наша старшая сестра, работает медсестрой в приюте для сирот. Приютом руководят английские дамы, они тоже бывают у нас дома. Джессе, другой наш брат, учится на адвоката, он играет в теннис с белыми девушками. Мама не устает твердить полиции, что в нашем доме черные и белые прекрасно понимают друг друга. Но правительству Южно-Африканской Республики явно не по душе такое взаимопонимание. Вы, конечно, это знаете.

— Кроме того, они постоянно твердят, что наши белые друзья — плохие люди, — перебила Сандра. — «Это коммунисты», — уверяет комиссар Дейкман. «Епископ Традер тоже?» — спрашивает мама. «Епископ Традер самый ярый из них», — кричит комиссар. Тогда мама осведомляется у него, все ли члены коммунистической партии умеют так отлично служить мессу. За этим, конечно, следует взрыв эмоций. Потом мама целый

день ходит злая, ворчит на всех. Но вас она примет очень радушно. Мама ведь твердо решила, что в нашем доме апартеида не допустит.

Сандра, улыбаясь, посмотрела на Пьера.

— А какой у вас папа? — спросил он, когда мы подошли к улицам Софиатауна.

— Я люблю его, — тихо ответила Сандра. — Он добрый и мудрый. Иногда мы говорим, что мама натворила бы много глупостей, если бы не было папы, который ее вовремя останавливает. Но, может быть, это не совсем так. Когда мама рассердится, она угрожает, что сделает то-то и то-то. Но в самый последний момент одумывается. Здравый смысл всегда берет у нее верх. Когда мы, дети, что-нибудь не очень хорошо понимаем, не знаем, как поступить, нам бывает очень полезно посоветоваться с папой. Он умеет терпеливо слушать собеседника. Часами, если надо. Он не дает советов, если его об этом не просят. Рядом с ним чувствуешь себя спокойно и уверенно, в полной безопасности. Он такой честный, что ему невозможно солгать. Это всегда помогает найти правильный путь.

— Как он стал заниматься гончарным делом?

— После дневной работы на золотых приисках он вечерами помогал одному гончару. Порой

задерживался у него до поздней ночи. Потом на заработанные гроши купил маленький гончарный круг без мотора, который приводился в движение ногой. Так папа начал в свободное время работать на себя, а не на хозяина. Он оказался талантливым гончаром, а мама отличным продавцом его изделий. Дело преуспевало, и вскоре папа ушел с прииска. Сейчас у нас механизированная мастерская, с четырьмя рабочими и двумя учениками. Том, наш старший брат, помогает папе в мастерской, а Джимми наш торговый представитель.

— Он, несомненно, прекрасно справляется со своими обязанностями.

— Да, — улыбнулась Сандра, — папа им доволен. Наши гончарные изделия охотно покупают в Йоханнесбурге, во всех районах, где живут черные. Каждый месяц ящики с товаром отправляют в другие города. В прошлом месяце отправили даже в Кейптаун.

В те дни Софиатаун напоминал огромный пчелиный улей. Это был перенаселенный шумный пригород. Главные улицы достигали в ширину всего нескольких метров, а переулки были так узки, что жители противоположных домов могли передать друг другу что угодно, не выходя на

улицу.

Изредка попадались старинные дома — добротные каменные строения, обнесенные оградой. Они высились, окруженные лачугами из досок, гофрированного железа и парусины. Позади домов в садах и огородах теснились убогие хижины. Но места не хватало, и даже палисадники перед домами уже начали застраиваться шалашами и хибарками, сливавшимися в сплошные ряды, непомерно сужавшие улицы.

— Это, конечно, делается незаконно, — объяснял я Пьеру. — Но вы, наверное, уже заметили, что мы, африканцы, очень привязаны к родственникам. У нас принято, чтобы богатые делились с бедной родней. Поэтому и возникают такие хаотические поселения. Есть, правда, люди, которые помогают только за деньги. Они сдают кусок сада или огорода родственнику или другу для постройки хижины. А те, в свою очередь, если у них есть излишки земли, сдают их другим. Через огороды прокладывают тропки, которые потом превращаются в переулки. Африканцы из провинции стремятся переехать в Софиатаун, соблазняемые работой на золотых приисках и возможностью жить в большом городе. Ходят слухи, что в Софиатауне африканец может стать владельцем земли

и дома. Это редкая привилегия в Южной Африке, где черные во все времена были только арендаторами. Эти слухи привлекли сюда состоятельных африканцев. Вот почему посреди моря хижин и бараков выросли комфортабельные каменные дома, магазины и мастерские. Можно сказать, что за последние годы появилось африканское среднее сословие.

Фантастические слухи о «райском Софиатауне» распространились повсюду, и сюда хлынули всякого рода авантюристы и мошенники. Появились бары и публичные дома. Начались драки, воровство, убийства. Вечером уже небезопасно на темных улочках.

И вместе с тем значительная часть жителей Софиатауна голодает. Многие африканцы, приехав сюда из далеких бедных резерваций, обнаружили, что здесь уже скопились тысячи лишних людей, которые не могут найти работу, а если и находят, то только очень низкооплачиваемую. Они не могут прокормить свои семьи и с горечью взирают на районы, где живут белые и царит роскошь.

Но внешне наш пригород производит благоприятное впечатление. Как видите, у нас чисто, мусора на улицах нет. Трансвааль — солнечная,

сухая провинция. Когда бы вы ни пришли в Софиатаун, здесь всегда тепло и уютно, повсюду кипит жизнь. Вместе с черными тут живут индийцы и даже кое-кто из белых. Снуют дети, дворники без устали прибирают улицы. А за городом зеленеют холмы, белеют фермы, где можно послушать легенды старых пастухов и полакомиться каштанами и яблоками.

Софиатаун — это огромная, открытая для всех деревня, или, вернее, пригородный район, стихийно выросший на краю большого города.

Мы подошли к церкви Христус-Конинг. Отсюда с небольшой площади с фонтаном и двумя деревьями виднелся наш дом. Продолговатый, белый, с красивой черепичной крышей и фасадом, заросшим плющом, он походил на ферму. Когда-то здесь действительно жил фермер, у которого наш прадедушка купил этот дом. Позднее папа с мамой пристроили слева жилой флигель, а справа мастерскую.

— На этой улице живут почти одни наши родственники; — сказала Сандра. — Слева — бакалейщик, дядя Джереми, брат мамы. За ним дядя Чарльз, брат папы, он резчик по кости. Дальше живут подряд четверо племянников. Двое работают на золотых приисках, третий — полицейский,

а четвертый — почтальон. На противоположной стороне дом молочника, женатого на маминой сестре. Ему помогает в лавке племянник папы. Гончары, работающие у нас, все наши двоюродные братья.

— А мы не очень рано пришли? — спросил Пьер.

— Рано?

— Да. Джимми ведь говорил, что вашей маме нужно переодеться.

— О, она уже давно переоделась, — со смехом ответила Сандра. — Никто не может состязаться с ней в скорости переодевания. Да посмотрите, вон и она! Стоит вместе с папой. Боже мой! Она надела черное платье с кружевами! Его она надевает только для архиепископа.

Сандра быстро наклонилась к Пьеру и шепотом попросила:

— Похвалите ее наряд. Хотя бы чуть-чуть. В таких случаях она бывает счастлива, как девочка.

— Непременно, — ответил Пьер.

В открытых воротах стояла мама в черном платье, украшенном кистями и пышным кружевным воротником. А рядом с ней — папа, стройный, такой же светлокожий, как Сандра.

— Мама сгорает от желания приветствовать

гостя первой, — тихо сказала мне Сандра. — Ей нелегко будет удержаться.

— А почему ей нельзя поздороваться с гостем первой? — спросил Пьер, слышавший слова Сандры.

— Нет, первым должен быть папа.

— Ах, как вы похожи на папу! — воскликнул Пьер.

— Я знаю, — улыбнулась она, — и он тоже знает. Мы с ним большие друзья.

Сандра посмотрела на меня блестящими глазами и добавила:

— Мама занимается сыновьями, а папа — мной.

Папа вышел к нам навстречу.

— Меня зовут Джон Тугела. Добро пожаловать в мой дом. Мы очень рады, что вы приняли приглашение посетить нас.

Я знал, что он говорит от души. Папа пожал Пьеру руку и представил маму:

— Это моя жена. Дорогая, это господин ван Берген.

— Проходите, господин ван Берген, — сказала мама. — Мое имя Сара, но все зовут меня мама Пондо. Я настолько привыкла к этому, что и вам придется так называть меня. Иначе я не пойму, к

кому вы обращаетесь. Джимми рассказал, что вы из Фландрии. Извините, пожалуйста, но, если мне не изменяет память, Фландрия когда-то была под властью французов, и теперь вы все говорите по-французски. Ваш народ завоевывала Франция?

— Да. Но мы мужественно сопротивлялись, — ответил Пьер.

— Правильно делали! И когда же это было?

— О, довольно давно. После них у нас побывали испанцы, австрийцы, голландцы и немцы. Но мы всякий раз дрались с захватчиками. Мы так отчаянно сопротивлялись, что в конце концов им пришлось убраться.

— Очень хорошо! — воскликнула мама, сияя. — Фламандцы всегда вызывали у меня симпатию. Не знаю почему. Нам тоже много приходилось бороться.

— На митинге я это почувствовал, — сказал Пьер. Указав на кружевные манжеты маминого платья, он продолжал: — Мама Пондо, у вас изумительные кружева, Позвольте заметить, что мы, фламандцы, знаем в них толк. Наши кружева издавна славятся.

— Ой, что вы говорите! — воскликнула мама с восторгом. — Джон, ты слышишь?

Я заметил, как Сандра с благодарностью по-

смотрела на Пьера.

Мы вошли во двор, крытый стеклянной крышей. Там рядами выстроились готовые гончарные изделия. В конце двора в полумраке виднелась мастерская, в ней стояли станки и электрические гончарные круги.

Слева находилась терраса, увитая цветами. На ней уже собралось человек тридцать наших родственников. За террасой раскинулся сад с лужайкой, по которой бегали дети.

— Позвольте представить вам наше семейство, — предложила мама и подошла к высокому угрюмому мужчине, который стоял в группе гостей и что-то рассказывал. — Это Том, наш старший сын. Он в составе группы британских войск сражался в Италии, но считает, что англичане слишком скупо с ним расплатились. Никогда не произносите в его присутствии имя Смэтса[17], Том может взорваться, как граната.

Том смущенно улыбался, когда Пьер пожимал ему руку, но потом снова помрачнел.

В это время из дома вышла девушка. Она катила перед собой сервировочный столик с пирожками. Хотя она казалась не такой красивой, как Сандра,

---

[17] Примечания: 17

Ян Христиан *Смэтс* (1870—1950) — премьер-министр Южно-Африканского Союза в 1919—1924 и 1939—1948 годах.

и выглядела старше, у нее было приветливое живое лицо.

— А это Роза, моя старшая дочь, — продолжала мама. — Она медсестра, и, к сожалению, хорошая. С тех пор как получила диплом, без конца делает мне замечания. Если я переставлю на столе тарелку, тарелка сразу же теряет стерильность. Но стоит Розе передвинуть ее на сантиметр вправо — и все микробы улетучиваются.

— Ну, мама, — застенчиво улыбнулась Роза.

— А это Питер, ее муж, — представила мама тучного мужчину с отвисшим животом, который сидел в камышовом кресле, расставив ноги. — Он служащий газовой компании. Великолепный работник, но все свободное время только и знает, что ест и спит. Поэтому с ним не поговоришь: он то спит, то жует.

Питер, трясясь от смеха, перебил маму:

— Всего один-единственный раз я не смог вам сразу ответить, откусив кусок яблока. И всего один раз спал, когда вы что-то спрашивали. А теперь вы всю жизнь напоминаете мне об этом. Не обращайте внимания на то, что говорит мама Пондо, господин ван Берген. Мы все так поступаем, иначе жизнь казалась бы нам тяжким бременем.

— За Розой идет Джимми, — продолжала мама. — Но с ним вы уже знакомы. А потом Майкл. Где он?

— Я здесь, мама.

Серьезного вида человек в очках, делавших его еще серьезнее, отделился от группы гостей.

— Наш Майкл коммунист, — прошептала мама.

Майкл поклонился и пожал Пьеру руку.

— Не вздумайте вступать с ним в спор, — сказала мама. — Это невозможный человек. Он никогда не теряет спокойствия, даст вам высказаться, пока вы не выдохнетесь. Затем разобьет ваши доводы за пять минут. Спорить с ним бесполезно.

Она грустно улыбнулась и покачала головой.

Мы знали, что она очень боится за Майкла. Мама постоянно опасалась, что с ним что-нибудь случится. У каждого правительства есть свои козлы отпущения. Наше всегда старалось за все свалить вину на коммунистов, а Майкл был одним из них.

— Недавно я прочел стихи Генриэтты Роланд Холст[18], — сказал Майкл. — Читал их впервые.

---

[18] Примечания: 18

Генриэтта Роланд Холст (1869—1952) — голландская поэтесса, писательница и политическая деятельница.

Они мне очень понравились. Эту женщину так трогала всякая несправедливость. У вас любят ее?

— Очень! — ответил Пьер.

— А многие ли во Фландрии и Голландии знают ее стихи?

— Думаю, что каждый.

— Я рад этому.

— Джессе! Джессе! — позвала мама. — Подойди к нам!

Высокий, элегантный и стройный, как папа и Сандра, но темнокожий, как Джимми, Роза и я, с небольшими усиками, в бордовом свитере, похожий на голливудского актера, к нам подошел Джессе.

— Это наш сын Джессе, — сказала мама. — Студент, изучающий право. Чемпион университета по теннису и разбиванию девичьих сердец. Он у нас бунтовщик. Считает митинги бессмысленными, а демонстрации ребячеством. «Действовать надо гранатами», — говорит он. Но пока что его хватает лишь на то, чтобы отбиваться от поклонниц.

— Хелло! — произнес, смеясь, Джессе. — Вы к нам надолго или тут же собираетесь обратно?

— Да нет, побуду некоторое время, — сказал

Пьер. — Вы учитесь в Йоханнесбурге?

— Да, в Витватерсранде.

— Я много хорошего слышал об этом университете.

— От официальных лиц? — недоверчиво спросил Джессе.

— Нет, официальные лица утверждают, что это гнездо евреев и коммунистов.

— Поэтому я и спросил, — уточнил Джессе.

— Я хотел бы как-нибудь побеседовать с тамошними студентами.

— А точнее, когда?

— Университет принадлежит ему, если вы этого не знали, — пошутила мама.

Но мы знали, что в душе она гордилась своим элегантным сыном и боялась за него. Вот и теперь мама посмотрела на Джессе взглядом, полным тревоги, таким же, каким смотрела на Майкла.

Никому не было известно, сколь серьезны намерения Джессе принять участие в вооруженном сопротивлении, когда дело дойдет до этого. Он говорил обо всем так легко и настолько беззаботно, что мы иногда сомневались в его словах. Но порой нас пугали его горевшие огнем глаза и хладнокровная решимость.

Насилие всегда вызывало у меня страх. Джессе

знал об этом. И мы часто беседовали, стараясь понять друг друга. Но это не удавалось. По-настоящему я так никогда и не понял его.

Мама представила Пьера дяде Джереми, дяде Чарльзу, нашим тетям и множеству племянников и племянниц. Потом мы все расселись на белых камышовых стульях, которые Сандра расставила на веранде у окон, открытых в сад.

— Что вы будете пить? Чай? — спросила Сандра у Пьера. — Или предпочитаете кофе?

— Нет, нет, пожалуйста, чай. По вечерам я пью чай.

Шумный говор, царивший на террасе до нашего прихода и стихший во время знакомства, вновь возобновился. Вскоре все начали говорить в полный голос, перебивая друг друга.

Гости разделились на группы, некоторые беседовали стоя. Обстановка была непринужденной, и болтали о чем угодно. Поговорив в одной группе, гости переходили в другую, казавшуюся им более веселой, чтобы пересказать только что услышанную забавную историю.

Стоял апрель. В Южной Африке это осень. В саду было необычайно тихо и тепло.

В наступившей паузе Пьер принялся рассматривать обстановку. Через дверь, открытую в

комнату, ему были видны книжный шкаф, пианино и ваза с цветами на столе.

Пока Сандра занималась приготовлением чая, я рассказал Пьеру, что в колледже моим учителем был Альберт Лутули, который стал другом нашей семьи. Я говорил о том, какое огромное впечатление произвел на меня этот благородный, необыкновенно добрый человек, последователь Ганди, пламенный проповедник ненасильственного сопротивления. Сейчас он председатель Натальского отделения Африканского национального конгресса.

К нам подошел Джессе и условился с Пьером позавтракать вместе в следующий понедельник в кафетерии при спортплощадке университета.

Майкл тоже подошел к нам, а за ним и Том. Разговор зашел о разнице между голландским и фламандским языками.

Джимми что-то темпераментно доказывал папе. А к маме все время подходили люди, присаживались на корточки, что-то рассказывали, советовались. Из сада со слезами на глазах прибежала маленькая девочка. Она упала и ушиблась, но на коленях у мамы быстро успокоилась.

Сандра сидела позади мамы на стуле от пианино. Она не принимала участия в беседах,

внимательно слушая, о чем братья говорили с Пьером. Время от времени Пьер посматривал в сторону Сандры. Она чувствовала его взгляды, и ее глаза блестели.

Неожиданно на террасу вбежал юноша, живший в переулке позади нашего сада. Его звали Бенго. Он тяжело дышал, обливаясь потом. Бенго упал на колени перед мамой и взмолился:

— Помогите, мама Пондо. Меня преследуют. Они уже близко.

Не раздумывая, мама вскочила с камышового кресла. Схватив Бенго за руку, она увлекла его за собой в дом.

— Пейте чай и беседуйте, как ни в чем не бывало! — крикнула она на ходу.

Мы поняли ее и продолжали оживленно болтать. На дверь, в которой исчезла мама, никто не смотрел.

Детишек с террасы моментально отправили играть в сад. Первый момент растерянности быстро прошел, все взяли себя в руки. И когда в ворота вбежали два белых полицейских с пистолетами в руках, они увидели спокойную, мило беседовавшую компанию.

— Где этот парень? — заорал высокий полицейский с красным от возбуждения лицом.

Папа встал и не торопясь подошел к нему.

— Что случилось, констебль? — спросил он спокойно.

— Где беглец? Молодой, в разодранной рубашке, на руке у него кровь. Нам показалось, что он побежал сюда.

— Боюсь, что ничем не смогу вам помочь, — ответил папа.

В это время из дому появилась мама, держа в руках вазу с конфетами и весело напевая. Подняв удивленно брови, она уставилась на полицейских и произнесла:

— Это еще что такое? Почтенной паре уже нельзя спокойно встретиться с родственниками без того, чтобы в дом не врывались полицейские.

— Сюда побежал молодой парень? — продолжал кричать полицейский. — Вы не видели его? У него порвана рубашка, на руке кровь.

— Я спрятала его у себя под кроватью, — ответила мама сердито. — Я всегда так делаю. Не могу заснуть, если у меня нет под кроватью парней в разорванных рубашках и с окровавленными руками.

Полицейский растерянно попятился.

— Вы зря возмущаетесь, — стал он оправдываться. — В дом, недалеко отсюда, забрались

воры. Мы видели, как один из них перебежал через железнодорожное полотно и свернул на эту улицу. Ну, а учитывая, что ворота открыты только у вас… — Он внимательно посмотрел на маму и спросил: — Ваша фамилия Тугела?

— Да.

— Ведь это вас вызывал на прошлой неделе комиссар за оскорбление полицейского, не так ли?

— Полицейский столкнул меня с тротуара в лужу, и я промочила ноги, — ответила мама. — Тогда я сделала то же самое. Когда со мной обращаются грубо, я плачу такой же монетой.

— Нам известно, что вы всегда напрашиваетесь на скандалы. В один прекрасный день вы за это поплатитесь. Мы должны обыскать ваш дом.

Он сделал знак второму полицейскому следовать за ним, но в это время увидел Пьера.

— А вы что здесь делаете? — спросил он удивленно.

— Пришел в гости, — ответил Пьер.

— Как это так? В какие еще гости?

— Разве запрещено заходить к знакомым на чашку чая?

— Кто вы такой?

— Пьер ван Берген.

— Чем занимаетесь?

— Журналист.

— Иностранец?

— Да.

— Паспорт у вас с собой?

Пьер протянул паспорт. Полицейский внимательно просмотрел его и, возвращая, сказал:

— Вы позволяете себе то, что у нас не принято. У вас очень странный вкус, позвольте заметить.

Резко повернувшись, полицейские скрылись в доме. Мама последовала за ними. На террасе воцарилась мертвая тишина. Детишки, спрятавшись за взрослых, стояли не шевелясь.

Вскоре полицейские вышли из дома и направились в мастерскую. Когда они выходили оттуда, мама съязвила:

— А вы заглянули в ящики с песком? Может, он там закопался с соломиной во рту и дышит через нее.

Ничего не ответив, обозленные полицейские выскочили за ворота.

— Не мешало бы посмотреть за ними, — предложил Джимми.

Мама кивнула. Джимми двинулся к воротам, а мама поманила Розу.

— Идем скорее. Его надо перевязать. У него из руки действительно идет кровь.

Они ушли в дом, а я с Пьером направился к воротам. Оттуда нам было видно, как полицейские шарят по соседним домам.

— Был момент, когда я здорово волновался, — признался Пьер.

— Не стоило, — ответил я. — У нас надежный тайник. Он не раз сослужил свою службу.

— Этот юноша ваш родственник?

— Нет, но он тоже из племени пондо. Уже несколько месяцев они пытаются увезти его в резервацию. Вся его семья уже там, а он не хочет и прячется. Мы все помогаем ему. Необходимость скрываться измучила парня и озлобила. Мы уже давно опасаемся, что в один прекрасный день он натворит глупостей.

— А он мог совершить взлом?

— Думаю, что да.

Из дверей фруктовой лавки головой вперед вылетел человек. За ним выскочил один из полицейских и ударил его ногой ниже спины. Потом он перевернул стоявшие у лавки ящики и принялся топтать их ногами.

Рукояткой пистолета полицейский выбил окна лавчонки, вернулся внутрь, и оттуда еще долго доносился треск и звон.

— Полицейские могут творить такое безнака-

занно? — спросил Пьер.

— Полиция ЮАР все может делать безнаказанно, — мрачно произнес Джимми.

Обыскав близлежащие дома, полицейские постояли в конце улицы, поговорили о чем-то и ушли.

— Завтра жди инспекции, — сказал Джимми. — Они твердо знают, что беглецу кто-то помог из живущих на нашей улице. В наказание пришлют инспекцию.

— Что это такое? — спросил Пьер.

— Будут проверять, уплачены ли налоги, хорошо ли подметен тротуар, нет ли крыс. Ведь мы обязаны уничтожать их. Если заметят в саду огрызки яблок, заявят, что мы не пользуемся мусорными ящиками, загрязняем район и так далее. Они обязательно найдут, за что оштрафовать. Завтра штраф ждет всех.

— Таких, как Бенго, много, — печально произнесла мама, подходя к Пьеру. — Нам приходится подыскивать им такую работу, где не требуется предъявление документов. И все это из-за того, что белые боятся нас. Они боятся, что мы нападем на них, и поэтому стараются от нас отделаться. Они обносят свои дома железными оградами, будто мы злые собаки. А ведь им надо всего-на-

всего прийти к нам. Тогда они поймут, что здесь ни один человек не добирается причинить им зла. Зачем нам это? Вот уже три века мы живем вместе в этой стране. Мы нужны друг другу. Почему же не быть хорошими соседями? Когда в тысяча девятьсот сорок восьмом году буры начали предвыборную кампанию, они официально включили в свою программу положение об апартеиде. Оно уже было не случайным пунктом, как прежде, а стало продуманным планом возведения стены между белыми и черными. Когда они сделали апартеид основой своей предвыборной программы, я подумала: «Ну, ребята, вы получите от избирателей такую оплеуху, которой еще не видывали». Я была твердо уверена, что среди большинства избирателей они не найдут поддержки. Ведь мир так изменился. Европа вместе с Америкой боролась против Гитлера и победила. Правда, целая куча буров во главе с Фервурдом[19] и Форстером[20] стояла на стороне нацистов. Те из них, которые в своих связях с нацистами за-

[19] Примечания: 19

Хендрик *Фервурд* (1901—1966) — южноафриканский премьер-министр в 1958—1966 годах.

[20] Примечания: 20

Балтазар *Форстер* (род. в 1915 г.) — премьер-министр ЮАР в 1966—1978 годах.

шли слишком далеко, попели в тюрьму. А Смэтс, например, боролся вместе с союзниками. Наши солдаты, вернувшись с войны, рассказывали о зверствах нацистов и о радости европейцев своему освобождению. Повсюду в мире популярным стало слово «свобода». Наши друзья из Индии с восторгом рассказывают, как их страна получила независимость. От рабочих Центральной Африки мы знаем, что колониальные власти там согласны на уступки. Поэтому нам казалось невозможным, чтобы ЮАР пошла против этого течения и стала создавать новые колонии, в то время, когда повсюду исчезают старые. А ведь план буров-расистов именно в этом и состоит: выслать черных в резервации и превратить эти резервации в колонии с марионеточным правительством. Они хотят, чтобы было две Южных Африки: одна большая и сказочно богатая — для них, и маленькая, нищая — для нас. Эти планы они скрывают от мирового общественного мнения.

Если же позволить черным жить среди них, то придется обращаться с черными, как со свободными людьми. Этого требует устав Объединенных Наций, который ЮАР подписала. Но они не хотят признать черных свободными гражданами.

Они хотят сохранить их рабами. Отсюда план: давайте вывезем черных в отдаленные районы, давайте скажем, что именно это их родные места; пообещаем, что они сами будут править там, а потом это обещание не выполним. Хитрее не придумать. Я так была убеждена, что бурская партия потерпит крах с этой программой, что мне было их почти жаль. Но нет, поди же, они выиграли! А англичане со своей умеренностью и практицизмом проиграли! Сначала мы не могли поверить в это. Мы спрашивали себя: а не подтасованы ли выборы? Потом оказалось, что те, кто поддерживал нацистов, были выпущены из тюрем и стали министрами! Мы видели, как власть расистов крепнет с каждым годом, как один за другим принимаются законы, укрепляющие апартеид. И если и раздавались протесты, в частности от англичан, то речь шла обычно о деталях. «Нельзя это превращать в систему, — говорили они. — Держите черных отдельно, мы будем не против, если вы предоставите нам кое-какие льготы». Они еще и сейчас торгуются.

Подумайте, в наше время, когда колониальная система эксплуатации повсюду отмирает, правительство в ЮАР не только возрождает ее практически, но и провозглашает своей поли-

тикой. Это делается вопреки вере людей в Устав Организации Объединенных Наций, подписанный и нашей страной, вопреки Евангелию, которому нас учили. Одно дело, когда люди, не в силах побороть соблазна, совершают скверные поступки, и совсем другое, когда порок превращают в жизненную норму и объявляют его добродетелью. А именно это и делают белые расисты ЮАР.

Мама покачала головой и продолжала:

— Они больны. Не могу найти другого объяснения. Они просто больны. В детстве в пансионе, который содержали француженки-миссионерки, нам читали пьесу о старом скряге. Дни и ночи он только и делал, что считал свои деньги, пока не превратился в чудовище с когтистыми лапами вместо рук. Это уже был не человек, а воплощение алчности, дикое, одержимое существо. То же самое произошло с большинством белых в ЮАР. Они богаты, сказочно богаты. У них столько прекрасных ферм, столько фруктовых садов и виноградников, столько золота и алмазов, что они потеряли человеческий облик.

— И власть тоже у них, — добавил папа.

— Да, власть тоже, — согласилась мама. — Деньги дают им власть, а власть вызывает лихорадку.

Почти все белые в этой стране больны лихорадкой. Они говорят, что одни народы созданы повелевать, а другие служить им. Они утверждают, что так захотел бог. Так богохульствовать можно только в бреду. А еще их терзает страх. Это, пожалуй, самое серьезное. Ни деньги, ни власть не могут сделать с человеком того, что делает страх. Деньги и власть делают человека тираном, а страх превращает в дикаря.

Белые в ЮАР — маленький островок в море черных. По ночам их мучают кошмары. Им снится, что пятьсот тысяч черных Йоханнесбурга восстали и подожгли город. Им снится, как белые мечутся в темноте, спасаясь бегством, но в свете пламени отовсюду появляются черные, убивают их и грабят. Такие сны не дают белым покоя. Они просто несчастные помешанные, и мне хочется чем-нибудь им помочь.

— Одно мне не нравится, — мягко перебил папа. — Они утверждают, что защищают западную цивилизацию от коммунизма, это создает впечатление, что мы все коммунисты. А слово «коммунист» в их устах означает — убийца и богохульник.

— Сколько коммунистов в ЮАР? — спросил Пьер у Майкла.

— Всего каких-нибудь две тысячи, — ответил Майкл.

— А сколько черных протестантов?

— Миллионы.

— В ЮАР черных протестантов больше, чем вообще всех белых, — перебила мама. — Об этом мне говорил епископ Традер.

Том сказал насмешливо:

— Песенку о коммунистическом пугале мы хорошо знаем. Они ее распевают повсюду, где угнетенные требуют свободы. Когда в ЮАР протестуют наемные рабочие, замученные непосильным трудом и голодом, американцы орут во всю глотку, что коммунисты угрожают западной цивилизации. Если в Азии и Африке растет сопротивление колониальной эксплуатации, в бывших метрополиях начинают вопить о том, что коммунистические орды поднялись, чтобы уничтожить высочайшие ценности человечества. А этими ценностями в конечном счете оказываются банковские вклады белых.

— Говорят, что скоро для африканских детей откроют специальные школы, — сказал Пьер. — Вы слышали об этом? Я имею в виду школы с особыми программами, отличными от программ школ, где обучаются белые.

— Как это так? — удивилась мама.

— Программа будет направлена главным образом на обучение физическому труду, потому что большинство африканцев в будущем предполагается использовать на физической работе. Так планирует правительство. И преподавание, кажется, будет вестись уже не на голландском или английском, а на племенных языках.

— Что? — воскликнула мама еще громче.

— Так говорят, — пояснил Пьер. — Журналисты, которые здесь живут давно, рассказывали, что готовится проект такого закона.

— Хотят снова превратить нас в дикарей, — сказал Том. — Вот видите. Я твержу об этом уже несколько месяцев. Но никто меня не слушает. Когда мы вместе с белыми солдатами сражались на войне, нас уверяли, что после войны к нам будут относиться так же, как к белым, но все оказалось враньем! Нас надули, как маленьких ребятишек!

— Нет, нет, — перебила мама, — я убеждена, что это просто слухи. Не могут белые быть такими бесчеловечными.

— Не могут? — разгорячился Том. — А почему же они все время напоминают нам о племенной принадлежности? Почему во всех документах

африканцев стали указывать племя? Они просто помешались на слове «племя». А как трогательно говорят они о нашей «культуре», подчеркивая, что она-де так девственна. Другими словами, совсем не развита. Зачем они организуют в воскресные дни танцевальные представления на золотых приисках, где исполняются только африканские танцы? Танцуют черные, одетые в леопардовые шкуры, с перьями в волосах. Туда привозят на автобусах туристов из Европы и Америки. Им внушают, что мы недостаточно цивилизованы. За этим следуют утверждения, что мы не можем жить в городах, подчиняться муниципальным законам. Мы якобы должны иметь «старейшин» и «колдунов», разрисовывать лица и татуировать тело, протыкать носы и губы. Мы не должны ничего знать об экономике и технике, нам положено заниматься колдовством. А потому не надо знать ни английского, ни голландского языков. Пусть туристы не подумают, что мы можем носить такую же одежду, как и они. Вот так все вместе взятое и позволит начать обучать нас только физическому труду. Мы должны стать только неграми. Но на сегодняшний день мы ушли от первобытного образа жизни. Значит, нас надо вернуть к этому состоянию. Я твердо уверен,

что специальные школы для черных появятся. Вот посмотрите!

— Том, зачем представлять все в черном свете, — попытался успокоить его папа.

— Я вижу, куда идет дело в нашей стране, а вы не видите, — продолжал Том. — Вы наивны.

— Но ведь не все белые у нас в стране фанатики, — перебил его папа.

— Конечно, нет, — вмешался Джессе, внимательно слушавший разговор. — Зато в правительстве сидят фанатики.

— Но их контролируют нормальные люди, — не сдавался папа.

— Так было раньше, — воскликнул Джессе, — а теперь нет. Кое-кто из белых не разделяет политику буров-расистов. Почти весь наш университет против них, но расисты просто не обращают на таких внимания. У них большинство в правительстве, и они делают, что хотят. «Брудербунд» сегодня всемогущ, по существу они настоящие нацисты. Только вооруженное сопротивление спасет нас, партизанская борьба, революция!

— А что это за «Брудербунд»? — поинтересовался Пьер.

— Тайная организация буров, созданная для противодействия англичанам, когда те были

здесь хозяевами. В нее принимаются лишь ортодоксальные кальвинисты, пламенные антиангличане и ярые антисемиты. Чтобы туда вступить, надо признать, что буры попали в Африку по божьему благословению и их пребывание здесь после всех невзгод прошлых веков явный знак того, что бог оберегает их и теперь, и прочую чепуху. Об англичанах следует говорить, что они алчные волки и богоотступники и так далее. На черных смотреть как на выродков рода человеческого, низкое происхождение которых бог отметил черным цветом кожи, и, наконец, подписать кровью клятву, что не пожалеешь жизни для поддержания власти белых в ЮАР.

— Кровью? — удивился Пьер.

— Ну, не в полном смысле слова, — ответил Джессе, улыбаясь. — Но они докатятся и до этого.

— Все, кто в этой стране имеет власть, — вставил Том, — являются членами «Брудербунда». Отсюда вывод: кто не член этой партии, власти не добьется.

— Это партия в партии, — сказал Джессе. — Нечто вроде СС у нацистов. «Брудербунд» — это спрут, с которым можно разделаться, только отрубив ему щупальца.

— Ну-ну, — поморщился папа.

— Готов поклясться, что все это кончится для нас очень плохо, — сказал Том. — Белые хотят отнять у нас то немногое, что они нам дали. Они загоняют нас за такую высокую и толстую стену законов, что мы оттуда никогда не выберемся на свободу.

Разговор принял бурный характер. В спор включились и другие члены семьи. Большинство не соглашалось с Томом. Одни высказывали сомнение, другие обращали все в шутку. Они не верили в столь мрачное будущее и, соглашаясь, что расисты хотят загнать нас в угол, считали, что это им не удастся.

— Просто диву даешься, когда разговариваешь со старыми бурами, — сказал Джессе. — Я как-то имел такое удовольствие в районе Потсиефстроом. Кажется, что попал в тысяча семисотый год.

— А что ты хочешь? — усмехнулся Майкл. — Уже два века они живут здесь на своих фермах, со своими церквами, Библией, верой и фургонами. Они общаются только с братьями по вере, считая общение с внешним миром греховным.

Джессе продолжал:

— Я уверен, что многие из них еще не знают, что была французская революция. У них своеобразные отношения с богом. Сначала они выясняют,

чего им всем хочется, а потом заявляют, что так хочет бог. Это очень практично, но я никогда не находил это религиозным.

— Откуда бурам взбрело в голову, что они избранный богом народ? — спросил Питер, муж Розы, недоуменно покачивая головой. — Но дело усложняется еще тем, что в нашей стране два избранных народа. Ведь англичане тоже считают себя избранным народом. Они вообще делят все человечество на англичан и неангличан. Неангличане — в том числе и буры — низшая раса. Возможно, в этом кроется причина, почему англичане и буры терпеть не могут друг друга. Чтобы заставить замолчать и тех, и других, наверное, нам надо придумать, как и черных причислить к разряду избранных народов.

— Это идея, так и надо сделать! — Все весело засмеялись.

Том сердито посмотрел на нас. Он считал наше поведение легкомысленным. Зато мы все развеселились и помешали Тому продолжать серьезный разговор.

Гости снова разбились на группы. Вечер закончился, как и начался, беззаботной болтовней.

Когда большинство гостей разошлось, мама спросила у Пьера:

— А что вы думаете обо всем этом? Что будет с черными в ЮАР? Не находите ли вы, что мы слишком беспечны?

— До сегодняшнего дня, до митинга, я был настроен не очень оптимистично, — ответил Пьер. — А теперь успокоился. Я не знал, что вы так единодушны, что все так хорошо понимаете, полны выдержки и уверенности. Я не знал, что расовая проблема в ЮАР совсем несложна. Мне расписывали ее как целый сложный комплекс, но это не так. На мой взгляд, совершенно абсурдно задавать вопрос, имеют ли право три миллиона белых решать, как жить двенадцати миллионам черных. Не ясно, почему буры не понимают, что это смешно.

— Они понимают, — сказал папа. — Но их надо заставить сознаться в этом перед всем миром. Думаю, что во время митинга телефоны у министров трезвонили вовсю. А сейчас они уже наверняка собрались на экстренное заседание. Конечно, они опять попытаются успокоить нас красивыми фразами. Но как только поймут, что дело обстоит очень серьезно, станут благоразумнее. Вот посмотрите. Вы напишите статью о том, что увидели сегодня?

— Даже не одну. Я намерен написать по статье

о каждом из вас. В понедельник мы встретимся с Джессе. Потом мне очень хочется поподробней поговорить с Майклом. И с Томом тоже.

— Может быть, зайдете как-нибудь к нам вечерком на ужин? — предложила мама.

— Непременно. Большое спасибо за интересный вечер, мама Пондо. Я очень рад, что Джимми и Давид привезли меня сюда. Если можно, я хотел бы в один из ближайших дней заглянуть в вашу мастерскую, когда там идет работа.

— Пожалуйста, — ответил папа. — Будете идти мимо, заходите в эту дверь и все увидите.

Пьер показал на одну из клумб с розами и сказал, обращаясь к маме:

— Если бы я жил здесь и у меня был сад, я не отстал бы от вас, пока не получил пару отростков от этих великолепных чайных роз.

— Вам нравятся эти розы? — обрадовалась мама.

— Они просто чудо.

Мама сияла. Пьер стал прощаться. Сандра, Джимми и я пошли проводить его до машины. Сандра сказала:

— О, как здорово вы угодили маме, похвалив розы!

— Но они действительно прекрасны.

— Они многим нравятся. Мама несколько лет возилась с ними, пока не добилась такого красивого светло-желтого цвета. За эти розы она получила приз на выставке цветов. У вас дома тоже много роз?

— Нет, но я прожил несколько лет в Англии, — ответил Пьер. — Там хочешь не хочешь все выучишь о розах. В Англии вы можете не отличать Рембрандта от Рафаэля, не знать, какое стихотворение принадлежит Ронсару, какое Шиллеру. Но вы обязаны с первого взгляда определить хорошего скакуна, знать характерные признаки всех существующих пород собак, особенно охотничьих, иметь представление о судах и старых гербах, различать флаги британских полков, любить птиц и бабочек, с тревогой оглядываться на всех кошек, перебежавших вам дорогу, и, позабыв обо всем на свете, по полдня восторженно любоваться клумбами роз.

— Хотелось бы побывать хоть разочек в Англии, — сказал Джимми. — Британцы мне кажутся такими смешными.

Сандра посмотрела на Пьера и, улыбаясь, спросила:

— А что надо знать и уметь делать во Фландрии?

— О… целую кучу вещей. Уметь играть в бильярд. Критиковать всех и вся, но не терять при этом хорошего расположения духа. Не заниматься политикой, но ругать политиков. Увлекаться ездой на велосипеде. Любить всякие шествия, ярмарки и велогонки. Есть и пить вдвое меньше, чем о нас думают. Ездить по дорогам так, как не дозволено. Обманывать, когда указываешь свои доходы для начисления налогов. Много работать, охотно смеяться и быть членом пятнадцати разных обществ.

— Звучит недурно, — сказала Сандра.

— А вы много путешествовали?

— Нет, к большому сожалению. Однажды меня чуть не послали учиться в Англию. Я завоевала это право отличной учебой, но в это время Британскому институту запретили присуждать стипендии африканцам. А мне так хочется узнать, как живут в Италии, Франции, Америке, Швеции, Индии и Гонконге.

Она весело засмеялась и добавила:

— Неплохой аппетит, не так ли?

— Чем вы занимаетесь вечерами после работы?

— Помогаю маме, а потом мы все вместе сидим во дворе у себя дома или у соседей. Особенно это

приятно, когда ночь лунная. Мы любим луну. Видно, это врожденное пристрастие. Иногда мы собираемся, чтобы попеть и потанцевать или послушать рассказы стариков.

— О чем же они рассказывают?

— Чаще всего о приключениях Пондо, прародителя нашего племени. Например, о том, как он убил ударом кулака чудовище, как перепрыгивал через пропасти, ловил на лету орлов, переплывал на спинах змей бурные реки. Он был очень ловкий парень, этот Пондо.

— Из таких сказок, оказывается, можно почерпнуть интересные сведения, — сказал Джимми. — Профессор Камаке, друг папы и мамы, записывает их и изучает. Он выяснил, например, что рассказ о переправе через реки на спинах змей можно услышать и в других местах Африки. В этих же местах встречаются имена, типичные для племени пондо. Профессор Камаке считает, что по таким данным можно проследить путь пондо до Южной Африки.

Так с разговорами мы подошли к пустырю, где был митинг, и увидели у бара голландского журналиста Яна ван Баарле, нашего друга. Он беседовал с Биллом Хорманом, редактором «Ранд дейли мейл». Мы не были с ним так близко зна-

комы, как с Яном ван Баарле, но уважали за то, что он был одним из немногих белых южноафриканских журналистов, писавших правдивые репортажи о черных.

Ян ван Баарле, большой и нескладный, как всегда угрюмый, оглядел нас с Джимми и сердито спросил:

— Почему вы не поколотите их как следует, вместо того чтобы митинговать? Вас унижают, как нигде в мире. Вам разрешают входить в дома только через кухонную дверь. В музеи пускают только по тем дням, когда там нет нас, белых. Вы зарабатываете на приисках по пять фунтов в месяц, а белый рабочий за эту же работу получает сто. Закон позволяет сечь вас кнутом. Вас собираются выселить в отдаленные районы, с которыми большинство африканцев ничем не связано. Вас унижают каждый день, а вы не злитесь. Вы не ругаетесь, не кричите, не протестуете. Вы никому не выбили ни одного стекла. Вы только улыбаетесь. Вы сумасшедшие.

— Наоборот, мама Пондо считает буров несчастными помешанными, — сказал Пьер, — и хочет им помочь.

Билл засмеялся:

— Фервурд очень растрогается, услышав об

этом.

Билл Хорман, широкоплечий, спокойный, с энергичным подбородком и подкрученными усами, выглядел таким типичным англичанином, что казалось, он только что прибыл из Лондона. Однако его предки, в основном предприниматели, вот уже четыре поколения жили в Южной Африке.

Его тоже поразила спокойная, мирная атмосфера, царившая на митинге. Он связался по телефону с редакцией своей газеты и узнал, что по всей стране митинги прошли так же организованно.

— А как думаешь ты, Билл, — спросил Пьер, — есть шанс на успех у кампании неповиновения?

— О, конечно… Правда, я не очень хорошо информирован, — ответил Билл. — Я буду, несомненно, поддерживать эту кампанию. Но я не совсем уверен, что все это мне очень нравится. Мы, англичане, предпочитаем бить как следует и действовать совсем иными методами. Надо использовать противоречия в сложившейся ситуации. Где-то наступать, где то отступать, быть гибкими, не цепляясь за принципы. Иными словами, просто надо смотреть, что лучше сделать в данный момент, в данном конкретном месте.

И при этом не устраивать драмы из того, что в другое время, в другом месте при аналогичных условиях мы делали обратное. Так мы живем уже века и так всегда правили своей империей. Конечно, мы поступаем не очень этично и этим-то и отличаемся от буров. Они так же, как и мы, приехали сюда заработать. Но мы говорим об этом прямо, а они заявляют, что приехали сюда защищать христианскую культуру. Одному небу известно, от кого защищать. И если среди черных есть люди, которые могут с нами бороться, то это только те, кто получил хоть какое-нибудь образование. Ну а это все до одного крещеные, то есть христиане.

— Смогут ли буры-расисты осуществить свои планы?

— Нет, если мы станем им мешать. Иногда я представляю, что будет, если они победят. Всего через десяток лет после того, как мир уничтожил гитлеризм, у нас вновь появилась бы страна, где небольшая часть населения объявила бы себя сверхчеловеками и открыто начала во имя цивилизации превращать в рабов миллионные массы людей и депортировать банту[21], так называют

[21] Примечания: 21

Банту — народы языковой группы банту, населяющие южную половину Африканского материка.

они черных, вкладывая оскорбительный смысл в это слово. Гитлер тоже говорил о «карликах Праги». Все это настолько чудовищно, что кажется невероятным.

— Но вы не исключаете этого.

— Они сильны, друг. Буры сильны. У них была богатейшая Капская колония. Мы отняли ее. Что они сделали? Они погрузили скарб на фургоны и отправились в глубь страны, в места, которые в ту пору были так же далеки и неизведаны, как сейчас Борнео или районы Амазонки. Они стали там возделывать землю и превратили ее в цветущий край. Тогда пришли мы и опять все отобрали. Что делают буры? Они вновь грузят свои пожитки на фургоны и снова переезжают на новые, необжитые места. И опять превращают эти земли в цветущий край. Потом там находят золото, алмазы. Тогда мы направляемся туда, чтобы всем этим завладеть. Уходить бурам уже некуда. Они дошли до Лимпопо, а дальше начинается Родезия, которая тоже принадлежит нам. Оставалось одно — драться. И они дрались. Началась недоброй памяти бурская война. Они мученики — мы палачи. Войну они проигрывают. И что же? Вы думаете, они уселись около своего барахла и успокоились? Ничего подобного, господа. Они начали

борьбу в четвертый раз. На этот раз изнутри. Они объединились, создали «Брудербунд». Они организовали Институт христианского национального образования. Они защищают свой язык, распространяют свою культуру. У них по шесть, восемь, десять человек детей. Им приходилось повсюду довольствоваться вторыми местами. Но они приходили, занимали их и стояли как скала. Они укоренялись повсюду, где только могли поставить ногу. И чем это кончилось? Не прошло и пятидесяти лет после бурской войны, как они победили на выборах. Мы были вынуждены, к своему удивлению, отойти в сторону. И кто же сейчас в правительстве? Буры. Быть единожды нокаутированным и суметь устоять — это хорошо. Иметь силы подняться после двух поражений — это отлично. Но быть трижды сбитым с ног, а потом не только подняться, но и суметь еще поставить на колени противника… это надо быть состряпанным из особого материала. Так что, если буры свое пятое сражение, на этот раз с черными, поведут с таким же искусством, как и четыре предыдущих, черным несдобровать. Упорство и настойчивость стали национальной чертой характера буров, и теперь они уже не замечают, что используют эти качества в неспра-

ведливой борьбе. И еще одно обстоятельство. Они не лицемерят, когда говорят, что находятся здесь с божьего благословения. Они верят в это. Полтора века защищали они свои староголландские кальвинистские «добродетели» против нашего английского вольнодумства. И сейчас они используют тот же самый флаг против черных. А черные никоим образом не угрожают их «добродетелям», но этого они не хотят замечать. Они засели в своих старинных домах-крепостях со своей Библией и своими допотопными ружьями, и нужна необыкновенная сила, чтобы выковырнуть их оттуда. Есть ли у черных такая сила? Не знаю. Возможно, есть. Вера в себя этих парней меня заинтересовала. Надо сказать, что черные ловко все устроили. Они стараются привлечь к себе внимание мировой общественности. Они приглашают иностранных журналистов, дают им тексты выступлений. Они рассылают эти материалы по посольствам. А вскоре они сотнями, а может быть, и тысячами добровольно пойдут в тюрьмы, потому что законы ЮАР противоречат правам человека. А то, что наши законы противоречат Декларации прав человека, так же верно, как и то, что ЮАР ее подписала. Такие меры борьбы вызовут толки. Много толков. И если черным

в самом деле удастся заставить мир обратить на нас внимание, а по всему видно, что это им удастся, то буров ждет мало хорошего.

Когда мы прощались, Пьер договорился с Джимми, что тот познакомит его с руководством АНК, а с Сандрой о том, что они вместе побывают у ее подруг.

Джимми дал наш телефон, а Сандра телефон больницы, где она работала, при этом она пояснила:

— Кабинет моего шефа доктора Беркмана имеет добавочный двести четырнадцать. Обычно к телефону подхожу я. Но может случиться, что вам ответит басовитый голос с французским «р». Не принимайте его за голос шефа и не говорите «добрый день, господин…» или что-нибудь в этом духе. Этот бас принадлежит мисс Артман, нашей старшей сестре. Все звонящие к нам принимают ее за мужчину и называют «господином».

— Постараюсь запомнить, — смеясь, ответил Пьер.

Затем мы расстались.

ГЛАВА II

Расисты встретили известие о начале кампании неповиновения с яростью. Но не сразу. На другой день все их газеты были полны сентиментальных подробностей о праздновании в стране Дня ван Рибека. Вновь описывалась высадка Яна ван Рибека на мыс Доброй Надежды в 1652 году, чтобы создать для кораблей Ост-Индской компании, плававших в Индонезию, пункт стоянки и заправки пресной водой и овощами. Описывался быстрый рост маленькой колонии, подробности разрыва связей с компанией и возникновение первой свободной общины буров, ставшей впоследствии ядром бурской республики.

При этом вспоминались имена пионеров и трогательно описывалась их жизнь в староголландских белостенных фермах.

О начале кампании неповиновения были помещены маленькие, едва заметные сообщения, где-то в уголках газет. О ней говорилось в холодном, порицательном тоне, словно о непристойном поступке.

Зато в английских газетах появились пространные репортажи о митингах, в том числе и

о митинге в Порт-Элизабете, в котором приняло участие сорок тысяч африканцев и индийцев. Игнорировать акцию стало невозможно.

С улыбкой читали мы на второй день озлобленные статьи в «Ди Фадерланд» и «Ди Трансваалер», в которых кричалось о руководимых из-за границы бандах варваров-анархистов, пытающихся подорвать силы нации.

Ораторов, выступавших на митингах, само собой разумеется, окрестили коммунистами. Мотивы, руководившие ораторами, были сформулированы как «желание дьявола водрузить над миром красный флаг». В заключение призывали всех патриотов сплотиться вокруг своих лидеров для защиты «святынь цивилизации».

Как-то, обедая у нас, Пьер сказал:

— Бурам прежде всего нужно вести себя, как полагается интеллигентным людям. Нельзя же все называть нападками на цивилизацию. Нет, они очень твердолобы.

Вместе с Джимми они пошли побеседовать с руководителями Африканского национального конгресса. Первым их принял вежливый, скромный доктор Джеймс Морока, который три года назад по инициативе молодежи был избран председателем конгресса. Затем они поговорили

с элегантным Нельсоном Манделой, великолепным оратором, ведавшим работой с молодежью. Незадолго до начала описываемых событий он вместе с Оливером Тамбо[22] открыл адвокатскую контору в Йоханнесбурге. Сейчас Мандела был занят вербовкой надежных добровольцев для участия в кампании неповиновения.

Пьеру и Джимми удалось также встретиться с несколько угрюмым Уолтером Сисулу и обаятельным Маулви Качалия[23] из Индийского конгресса, который помогал Нельсону Манделе в организации групп добровольцев.

Когда мы стали решать, кто из нашей семьи примет участие в кампании неповиновения, начались шумные споры. Заранее было договорено, что один из нас войдет в первую группу. Теперь надо было определить кто.

Том заявил, что, как самый старший, пойдет он. Но мама ответила, что со своим невыдержанным характером он может перессориться и с полицией, и с другими участниками.

---

[22] Примечания: 22

Оливер Реджинальд *Тамбо* (род. в 1917 г.) — видный деятель АНК. В настоящее время генеральный президент.

[23] Примечания: 23

Маулви Качалия — деятель Индийского конгресса Южной Африки в 50-х годах.

— Тогда я пойду, — с готовностью сказал я.

— Даже речи быть не может, — возразила мама, — учащихся колледжей и так трудно утихомирить. Но что будет, если бунтовать начнут их учителя? Это дурной пример для учеников.

— Давайте я пойду, — предложил Майкл.

Но мама отрицательно покачала головой, сказав:

— С твоим-то здоровьем?.. С хроническим бронхитом нельзя сидеть в сырой камере.

— А какие отговорки ты придумала для нас, мама? — спросила Роза, занимавшаяся вместе с Сандрой шитьем. — Наверное, скажешь, что девушкам неприлично затевать на улицах ссоры?

— А разве не так? — парировала мама.

Так как мы все знали, что Джессе отрицательно относился к кампании неповиновения, оставался один Джимми. Считая, что выбор пал на него, он выпятил грудь и произнес:

— Детки, как мне жаль вас! Почетное поручение досталось мне.

Но мама опять покачала головой и ответила, что он незаменимый коммерсант по сбыту гончарных изделий.

Я стал спорить, доказывая, что эта кампания является мирным способом сопротивления и что,

если я пойду, это, наоборот, будет хорошим примером для моих учеников. Майкл тоже не сдался. Он заявил, что бронхит у него давно прошел.

Так как мама продолжала отрицательно качать головой, нам на мгновение показалось, что в первую группу из нашей семьи никто не войдет.

Том сердито заявил, что это позор. Джимми поддержал его:

— Хорошенькое дело! Сначала мы орали во всю глотку, а как дошло до дела, спрятались в свою нору!

— Мама, — сказал Том, — ты все время утверждала, что не можешь представить себе кампанию неповиновения без участия в ее первых рядах семьи Тугела.

— Это правда, мама, ты так говорила, — поддержали его мы.

Мама не рассердилась. Закрыв глаза, она очень спокойно ответила:

— А разве я отрицаю свои слова?

Чувствовалось, что мама чего-то не договаривает. Мы знали, если мама, закрыв глаза, говорит спокойным голосом, у нее есть какие-то тайные намерения, она готовит нам сюрприз. И тут вдруг нас осенило: мама пойдет сама! Она будет представлять семью Тугела! Поэтому она каждому из

нас и придумала причину для отказа. Том может поднять скандал. У Майкла слабое здоровье. Без Джимми не обойтись в торговле, я не должен показывать ученикам плохой пример, а девушкам это не пристало.

Мы бросились все к ней. Сначала папа. Ему она еще раньше сказала, что ни за что из дому не отпустит. Без него якобы пойдет прахом работа всей мастерской. А теперь папа принялся убеждать ее:

— Если и есть в доме человек, без которого не обойтись, так это ты, Сара! Ты и сама это хорошо знаешь.

Но мама твердо возразила:

— Джон, дом держится на плечах мужчины.

В трудных ситуациях мама всегда прибегала к изречениям, содержащим аксиомы подобного рода. Нередко ее доводы имели мало общего с делом, о котором шла речь. Но она умела ошеломить собеседников, и пока те приходили в себя, мама переводила разговор на другую тему. А собеседники, как правило, оставались ни с чем.

Вот и в нашем споре мама знала, что я был прав, говоря о мирном характере кампании и хорошем примере для моих учеников. Но она безапелляционно заявила:

— Давид, учитель — это человек, который строит, а не разрушает.

Ну что можно было возразить ей на такие аргументы?

Майкл, опытный спорщик, не растерялся. Он ответил ей:

— Мама, тот, кто принимает участие в кампании неповиновения, строит. Он строит наше будущее.

Кто не знает маму, мог бы подумать: ага, вот она и попалась! Но нашу маму нелегко было сбить с толку.

Она не шелохнулась и с олимпийским спокойствием, могущим довести вас до бешенства, произнесла:

— Кампания неповиновения начата, чтобы разрушить прошлое. Постройка будущего начнется потом. Вот тогда ты и примешься за работу, Давид.

Майкл пытался еще раз атаковать ее, сказав, что сырая камера намного вредней ее ревматизму, чем его бронхиту.

Но мама спросила удивленно:

— У кого ревматизм? У меня?

Она частенько не могла даже положить ногу на ногу. В этом была вся мама. Она, я думаю,

опасалась, как бы с кем-нибудь из нас чего не случилось. Мама никогда не ложилась спать, пока мы все не приходили домой. Она знала, что участники кампании попадут в тюрьму, и хотела уберечь нас от этого. Она решила идти сама. Мама вечно была в неладах с полицией, часто по своей собственной вине, потому что не умела молча сносить оскорбления. Но нас она всегда наставляла быть осторожными, избегать конфликтов с полицией, не вступать с ней в спор.

Когда кто-то из нас заболевал, мама пела старинные песни на древнем языке пондо, которого мы не знали. Один папа знал его. Он объяснял нам, что в песнях мама просит, чтобы наша болезнь перешла на нее, что ее тело больше подходит этой болезни, и при этом произносила заклинания, в которые сама давно не верила. А вдруг поможет?

Однако она приняла решение участвовать в кампании не только из желания уберечь нас. Она понимала, что Джимми нужен для АНК, а Джессе и Майкл могли такое сказать, что их надолго упрятали бы за решетку. Вместе с тем она никогда не запрещала детям участвовать в справедливой борьбе. С одной стороны — она не могла уснуть, тревожась за них, с другой — позволяла им идти

своим путем. И сейчас было так. Если бы по той или иной причине обязательно нужно было, чтобы в кампании неповиновения приняли участие Том, Майкл, Джимми или я, то она не стала бы нас удерживать, она не искала бы предлогов. Но когда она решила идти сама, причин нашлось хоть отбавляй. И все потому, что ей очень хотелось участвовать самой! Она обожала такого рода приключения. Уж теперь-то она могла вволю подшутить над белой полицией.

Радость охватила весь Софиатаун, когда стало известно, что Альберт Лутули тоже примет участие в кампании. Это неожиданное решение обрадовало и нас. Мы знали выдержанность этого мудрого, доброго человека сначала по колледжу Адамс, где были его студентами, затем по резервации Умвоти, руководство которой было доверено ему. Многие опасались, что он станет колебаться и его нерешительность задержит начало кампании и ослабит ее.

Но произошло обратное. Даже те, кто колебался, теперь говорили: «Кампания неповиновения — дело хорошее, смотрите, сам Альберт Лутули принимает в ней участие».

Большое впечатление на африканцев произвел и Нельсон Мандела, когда возглавил в Софиатауне

вербовочную комиссию. Всех покоряла изысканная вежливость этого красивого, атлетически сложенного человека. Он пользовался большим авторитетом, который возрос еще больше, когда стало известно, что Нельсон Мандела происходит из знатной семьи и что верховный вождь племени тембу является его племянником.

Рассказывали, что его жизнь полна приключений. В те дни в барах можно было услышать о нем невероятные истории. В частности говорили, что мальчишкой он неоднократно удирал из миссионерской школы. В университете Форт-Хейр подвергался наказаниям за участие в выступлениях против правительства. Тайно уехал из Транскея, чтобы избежать женитьбы по законам племени. Затем, окончив университет в Йоханнесбурге и став адвокатом, женился якобы на «самой красивой девушке в Африке».

Мы интуитивно почувствовали к нему симпатию при первой же встрече. Может быть, в нас вызывало уважение его смелое руководство кампанией неповиновения. Во всяком случае, рядом с ним возникало приятное чувство безопасности.

Однако в связи с кампанией неповиновения началось огульное применение закона о подавле-

нии коммунизма. В одной из правительственных газет появился список пятисот граждан, которые официально клеймились как коммунисты. Однако все знали, что уже в 1950 году компартия была объявлена вне закона. Было ясно, что правительство навешивает этот ярлык на всех инакомыслящих.

Кое-кто из упомянутых в списке действительно ранее принадлежал к компартии и был бы ее членом и теперь, если бы компартия существовала на законном основании. Другие же никогда не имели с ней никаких дел, а некоторые даже были ее противниками. Единственным общим для всех попавших в список было то, что они выступали против политики апартеида, проводимой правительством.

Вслед за публикацией списка названных в нем людей отстранили от общественной жизни. Им запрещалось быть членами каких-либо обществ, присутствовать на собраниях, выступать устно или в печати. Многим вменялось в обязанность немедленно выехать в отведенные им места, а другим, наоборот, не сметь покидать места жительства.

В списке значился ряд известных руководи-

телей АНК, например Бопапе[24] и Котане[25], а также индиец доктор Даду[26], выдающийся деятель Индийского национального конгресса. Многих это тревожило, вызывая опасения за судьбу более активных лидеров АНК, таких, как доктор Морока, доктор Иллово, Нельсон Мандела, Уолтер Сисулу и Альберт Лутули.

Депутат Сэм Кан[27] был изгнан из парламента за то, что в прошлом состоял в компартии, а на газету «Гардиан» наложили запрет, посчитав ее «слишком левой».

На самом деле ни Кан, ни «Гардиан» не совершили ничего предосудительного, они только выступили в защиту черных.

Репортеров, открыто осуждавших апартеид, запрещалось печатать. Тот, кто нарушал этот запрет, попадал в тюрьму. Арестовывали даже работников типографий, которые печатали

---

[24] Примечания: 24

Дэвид Уилкокс *Бопапе* (род. в 1915 г.) — деятель АНК в 50-х годах.

[25] Примечания: 25

Мозес *Котане* (1905—1978) — в течение последних десятилетий был Генеральным секретарем Южно-Африканской коммунистической партии.

[26] Примечания: 26

Юсуф *Даду* (род. в 1909 г.) — Генеральный секретарь ЮАКП.

[27] Примечания: 27

Сэм Кан (род. в 1911 г.) — в 30—50-х годах южноафриканский коммунист. В настоящее время живет в Англии.

и распространяли материалы, защищавшие африканцев. Их приговаривали к тюремному заключению от нескольких месяцев до нескольких лет.

В связи с этим появилось опасение, не превратится ли у правительства в привычку выносить тяжелые приговоры за проступки, которые не только в других странах, но и здесь, в ЮАР, наказывались всего лишь несколькими неделями условного осуждения.

И все же в конце концов все сомнения отступали. На место маленького страха приходила большая воодушевляющая радость, рождавшаяся в ходе готовящейся акции. Ведь что бы ни случилось, эта акция была миролюбивой, справедливой и должна была увенчаться успехом.

Повсюду много и возбужденно говорили о создании вербовочных комиссий, рассказывали друг другу, кто включен в первые группы, строили предположения, в какую тюрьму поместят добровольцев. Мы договаривались навещать их, приносить фрукты, сигареты.

Вечер двадцать шестого июня пролетел для всех нас, как одно мгновение. В девять часов в Софиатауне народу было, словно в разгар праздника. Улицы с барами и магазинами светились

огнями. Повсюду горели факелы, освещая разноликую толпу. В основном это были африканцы, но попадались и белые и индийцы.

Одни из них стояли группами, весело беседуя, другие переходили с места на место, будто на ярмарке.

Торговцы, стоя у открытых дверей своих лавок, через головы прохожих весело переговаривались с друзьями и знакомыми. Бары были битком набиты посетителями, оттуда валил голубой табачный дым, из приемников и патефонов неслись громкие звуки музыки.

Тут и там на флагштоках развевались черно-зелено-золотые флаги АНК. Прохожие обменивались приветствием АНК: вскидывали кулак с поднятым большим пальцем. Мы умирали от любопытства. Известно было только одно: поздно вечером состоится митинг, а потом произойдет «что-то важное». Но никто толком не знал что. Все были возбуждены, словно дети в канун рождества.

Наш сад и дом тоже были полны людей. Собралась вся родня и соседи.

Пьер вошел в садовую калитку и увидел Сандру, поманившую его рукой. Она приглашала пройти в комнату. Он стал осторожно пробираться

сквозь толпу, стараясь не наступить на ребятишек, вертевшихся под ногами. Наконец добрался до Сандры. Она взяла его за руку и повела по коридору в комнату, где уже все собрались. Дверь за ними с трудом закрыли.

— Они все хотят увидеть маму, — смеясь, сказала Сандра, хотя было видно, что она озабочена.

— Как выглядит наша героиня? — спросил Пьер.

— Как проказливый мальчишка, который впервые в жизни стащил у пастора фрукты из сада.

Она показала на дверь и добавила:

— Мама там, в спальне. Она надела на себя четыре юбки. На них множество карманов, набитых всевозможными лекарствами. Ими она будет лечить друзей в камере.

Сандра постучала в дверь и, заглянув в спальню, кивнула ему головой:

— Заходите.

Мама Пондо была окружена шумной толпой женщин. Роза стояла на коленях, затягивая на ней кушак, а тетя Элла расправляла складки юбок.

— Ха, вот и наш фламандский лев! — воскликнула мама, увидев Пьера.

В прошедшие недели Пьер много рассказывал ей о Фландрии, особенно о добрых старых време-

нах фламандских общин. С большим интересом слушала она о сражении, известном в истории как Битва шпор[28]. Ему пришлось трижды повторить свой рассказ, самым подробным образом описывая, как выглядел Ян Брейдель[29], как французские рыцари застряли в болотах Грюнингебеск и как теперь празднуют День победы. Пьер попросил прислать для мамы из Антверпена книгу «Лев Фландрии». Она прочитала ее за один присест. В тот день мы остались без обеда.

— Моя свита на улице. — У мамы от возбуждения блестели глаза. — Они все в шлемах, в кожаных ремнях и черных кожаных сапогах, при дубинках и пистолетах. На вид такие же свирепые, как Филипп Красивый[30]. Но я им приготовила сюрприз. Вот, посмотрите! — Мама похлопала себя по карманам. — Здесь шоколад, а здесь конфеты. А тут четыре килограмма мятных лепешек в длинных плоских коробочках, бутыл-

---

[28] Примечания: 28

Битва шпор — битва под г. Куртре в Бельгии в 1302 году, когда пешее ополчение Фландрии разгромило французскую рыцарскую конницу.

[29] Примечания: 29

Ян Брейдель — предводитель фламандского ополчения.

[30] Примечания: 30

Филипп IV Красивый (1268—1314) — французский король с 1285 года. Захватил в 1300 году Фландрию, но потерял ее в 1302 году в результате восстания фландрских городов.

ка виски, на случай если кто-нибудь потеряет мужество. Вот карты и игральные кости, четыре книги для чтения, «Лев» тоже здесь. А вот тут мешочки с лекарствами. Я словно праздничный столб, увешанный подарками, за которыми ребятишки должны карабкаться до самого верха.

Она подпрыгнула. Послышался стук, шелест, бряцание.

— Осторожно, — закричала Роза. — Сейчас все вывалится.

Сандра нежно взяла маму за руку и грустно сказала!

— Подожди, мамочка, а не лучше ли все же послать кого-либо из мужчин? Как нам будет страшно, когда мы узнаем, что ты сидишь в тюрьме.

— Но там же будет весело! — воскликнула мама. — Почти наверняка они засунут нас всех в одну камеру. Они всегда так делали. Или в две. Но мы найдем способ связаться друг с другом и поделиться всем, что у нас есть. Вот здесь у меня деньги. Тюремщики всегда к ним неравнодушны. Никто еще не знает, какое мы получим задание и что нам придется делать так поздно вечером. Почта уже закрыта. На вокзалах ни души. Поэтому некому будет возмущаться, когда я войду через

дверь для белых и встану на перрон для белых.

Джимми вбежал в комнату и прокричал:

— Мама, поторопись! Через четверть часа начинается митинг. Ты что, опоздать хочешь?

Пальто, которое мама собиралась надеть, оказалось мало. Оно не налезало на четыре юбки с раздувшимися карманами. Роза принесла другое, но мама отказалась от него, потому что оно было не в тон к верхней юбке. Пришлось послать за пальто к тетушке Элле. Но прежде чем его принесли, ликующая толпа ворвалась в спальню. Нас всех оттеснили в угол, так что Роза с пальто не могла подступиться к маме. Ей пришлось передать его Пьеру, а тот через головы людей — Сандре, а уж она маме.

Затем папа вывел маму сквозь толпу на улицу.

— Дорогая, — говорил он ей, остановившись в дверях, — обещай мне, что не натворишь глупостей. Делай только то, что тебе поручат, и ничего больше. А когда тебя арестуют, не выкидывай номеров с полицией и тюремной охраной. Обещай мне. Ну, пожалуйста!

— Джон, ты действительно не хочешь, чтобы я шла? — спросила вдруг озабоченно мама. — Я ведь выбрала для себя самое легкое и самое приятное. А вам придется сидеть здесь и волноваться.

Ну, ты хочешь, чтобы я осталась?

— Нет, нет, иди, — ответил папа мягко. — Ты у нас всегда впереди. А мы постараемся не хныкать, как дети, пока ты совершаешь героические поступки. Да благословит тебя бог, дорогая.

— И тебя тоже, мой самый милый человек.

Потом мы все вышли на улицу. Друзья и знакомые, пришедшие проводить маму на митинг, встретили ее громкими аплодисментами. Маму окружили так плотно, что казалось, ее несут.

Большинство наших соседей были из племени пондо, и я видел, с какой трогательной любовью они относились к маме. Каждому хотелось пожать ей руку, сказать что-то приятное, ободряющее. Дети тоже подбежали к ней. Она погладила их по головкам, ласково пошлепала по щекам. И сделала это не так, как обычно. Сейчас она вся переменилась. Исчезла привычная раскованность и шутливость. Мама была спокойна, серьезна и собранна, как в тот момент, когда она прятала от полицейских Бенго. Я догадывался, в чем причина. Мама оставляла нас на неопределенное время. Но она не хотела прощаться, не хотела показать, что это расставание может быть на долгий срок. Никому из нас она не сказала ни слова, говорила только с папой. Но в душе переживала

предстоящую разлуку. Каждый из нас испытывал тревожное чувство, надолго покидая семью. А сейчас нам казалось, словно мы осиротели.

Но не только о нас думала мама. Она думала и о родных, о соседях, о пондо, о всех африканцах. Она боялась за них. Мама не любила показывать свои чувства, но я ее понимал. Иногда ее охватывал такой страх, что она не могла уснуть. Это находило на нее внезапно, в минуты отчаяния, и тогда она говорила страшные вещи: что ее народ ведут в пустыню, а не из пустыни, как это делал Моисей. Что нас переселяют в места, где нет ни воды, ни пищи, и что мы все погибнем таи. Но на самом деле она в это не верила. Мама была убеждена, что расисты потерпят поражение. И только иногда не могла побороть своих страхов.

К нам подошел папа и стал рассказывать Пьеру о новом английском станке, к которому можно было подключать еще три. Станок привезли только позавчера. Папа целый день провозился в мастерской с Томом и Манзой — электриком, устанавливая его. К вечеру они его уже опробовали.

— У меня никогда еще не было станка с таким хорошим ходом, — сказал папа. — Он работает совсем бесшумно, а мотор словно сам заводится.

Едва коснешься кнопки, и ось начинает вертеться. У него скорость в три раза больше, чем у всех других наших станков.

В этом была сила папы. Когда он был обеспокоен или расстроен, он начинал работать. Шел в мастерскую и работал. Трудился спокойно и сосредоточенно. Мы любили в такие моменты находиться рядом с ним. Тревога и страх отходили на задний план. Папа работал не торопясь, много часов подряд. Когда его хвалили, он говорил, что весь дом держится не на нем, а на маме. Он не верил, что главной опорой для нас все-таки был он.

На этот раз митинг проводился не в восточной части Софиатауна, где к городу подступают холмы с фермами, а в западной, где Софиатаун граничит с пригородом белых Вестдене. Там на овальной площади собрался народ. Нетрудно было догадаться, где состоится митинг, — к площади со всех сторон стекались люди. И уже насколько хватал глаз — от старого заброшенного завода до газохранилища, — виднелись тысячи людей. Толпа росла на глазах. На этой площади африканцам запрещено было строиться, чтобы Софиатаун и Вестдене не соединились. Тем не менее по ночам бездомные сооружали там лачуги, шалаши и хибарки. Но каждое утро специальные команды,

следящие за порядком на улицах, ломали их, а полиция выгоняла смельчаков в отведенные для африканцев места.

Жителями Вестдене в подавляющем большинстве были белые шахтеры и мелкие чиновники, недавно приехавшие из Европы. Некоторые из них требовали снести весь Софиатаун, потому что он, дескать, стоит очень близко к ним. Были и такие, которые желали не только снести Софиатаун, но и выслать его жителей подальше от города.

С площади виднелась широкая дорога, отделявшая Софиатаун от Вестдене, а за ней первые дома белых шахтеров, чаще всего маленькие бунгало с крытыми террасами и садами. Бунгало выглядели безлюдными, свет в окнах не горел, только доносился лай собак. Вдоль дороги стояли полицейские машины, их было много. Несколько машин патрулировали местность от завода до газохранилища.

Трибуну построили около церквушки в последнем квартале Софиатауна. Раздались приветственные крики, когда в ярком свете прожектора на трибуну стали подниматься представители АНК.

Люди вскинули сжатые в кулак руки с подня-

тым большим пальцем. Пока доктор Иллово шел к микрофону, над трибуной водрузили лозунг, написанный большими буквами на африкаанс и английском языках: «ЭТО НАША РОДИНА». Толпа зашумела еще громче, начала скандировать лозунг. Доктор Иллово стоял на трибуне, улыбаясь. Выждав несколько минут, он поднял руки, и в тишине, наступившей мгновенно, мы услышали:

— Да, друзья мои, это наша родина! Эта большая, прекрасная, солнечная Южная Африка — наша родина, и мы не позволим изгнать нас отсюда.

— Нет, нет, нет, — откликнулась толпа.

— Наша родина не какая-то часть ЮАР, не та или эта долина, не те или эти горы. Правительство толкует о так называемых землях племени и уверяет, что мы должны туда вернуться и жить по-своему. Но я родился здесь, в Южной Африке.

— Да, да, — дружно подхватили собравшиеся.

— Если следовать логике буров, то мы тоже должны попросить их вернуться на земли предков, — говорил, улыбаясь, доктор Иллово. — А как известно, предки буров жили в Европе. Хорошо было бы, чтобы буры показали нам пример и отправились к себе на родину.

Было великолепно, что за этими словами последовал веселый смех, а не фанатичные вопли,

как всегда утверждали правые газеты, описывая подобные митинги.

— Буры могли бы ответить, что родились здесь. Но ведь и мы здесь родились. Родина у человека там, где он родился. Это правильно, — продолжал доктор Иллово. — Поэтому мы вовсе не собираемся выгонять буров в Европу, а англичан — в Великобританию. Мы считаем, что Южная Африка и их родина. И очень хорошо, когда человек живет на своей родине. Но мы тоже родились здесь! Большинство из нас родилось не на так называемых землях племен, а в городах, по соседству с заводами, на фермах. То есть в тех же самых местах, где родились буры и англичане. Почему же мы должны покинуть эти места, если буры и англичане остаются!

— Правильно, правильно, — неслось отовсюду.

Далее доктор Иллово рассказал о попытках, предпринимавшихся АНК в последние месяцы, добиться от правительства отмены законов апартеида. Рассказал о посредничестве в этом деле англиканского епископа Йоханнесбурга, представителей различных южноафриканских церквей, чернокожих американских студентов университетов, правительства Индии, ООН, многих глав европейских правительств и папы римского.

— Ничто не помогло, — сказал Иллово с горечью. — Правительство ЮАР не послушало ни епископа Йоханнесбурга, ни ООН, ни папу римского. Хорошо. Мы сделали все, что могли, чтобы мирным путем воспрепятствовать несправедливости. Когда черные в ЮАР станут свободными, мы с болью будем вспоминать о том, что вынуждены были сказать: «Тогда надо бороться».

Над толпой поплыл протяжный женский голос, похожий на сдержанный стон. Это была песня.

Мама. Пела мама. Ее сильный голос звенел над толпой. Доктор Иллово стоял неподвижно и слушал, закрыв глаза. Собравшиеся подхватили песню, и стали отчетливо слышны слова.

— «Мы с болью вспомним этот день... — пела мама. — Этот день. О, этот день. Мы не хотим, чтобы этот день стал днем жестокости. Мы не хотим этого. О нет!»

— «О нет! Мы не хотим этого!» — вторила ей толпа.

— «Этот день должен был стать днем радости и веселья, праздничным днем, когда ваш дом полон гостей. Когда в нем собрались сыновья, дочери и друзья. Но, увы, сегодня нет радости в нашей жизни. Ах, увы, это день боли».

— «Да, это день боли!» — отвечала толпа. И

опять, как тогда, на митинге, пение толпы было необычайно мелодичным и брало за душу.

Глубоко растроганный, я слушал пение, когда до меня долетел шепот Пьера.

— Как хорошо вы умеете петь, — говорил он Сандре. — Боже мой, как красиво, мелодично... — Потом он добавил: — Никому не удастся уничтожить народ, который умеет так хорошо петь.

Доктор Иллово пел вместе со всеми, пели и представители АНК, стоявшие на трибуне. Когда последние звуки песни замерли, доктор Иллово открыл глаза и, подняв руки, начал читать псалом: «Бог мой пастырь». Толпа молилась вместе с ним.

Затем доктор Иллово снова говорил о кампании неповиновения, о необходимости проводить ее мирно и организованно. Он просил народ в ближайшие дни не собираться толпами.

Доктор Иллово сообщил, что в Йоханнесбурге записалось три тысячи добровольцев. Из них для первого дня отобрали только двадцать четыре человека. Он перечислил всех по имени, а тех, кого знал лично, представил в шутливой форме. На митинге снова восстановилась непринужденная атмосфера.

Потом, успокаивая толпу движением руки, доктор Иллово сказал:

— А вы… — Он подождал, пока гул стихнет, широко улыбнулся и продолжал: — Вы сгораете от любопытства, хотите узнать, что я еще вам скажу…

Громкий смех прокатился по толпе. Все зааплодировали. Казалось, не в силах сдержать восторга, люди вот-вот завопят, перебивая друг друга. Но отовсюду послышалось! «Тссс… тссс… тссс». И через мгновение воцарилась напряженная тишина.

— Все сегодня слышали маму Пондо? — спросил доктор Иллово.

— Да, да, — кричали ему в ответ, неистово хлопая в ладоши.

— Вы слышите, говорят про вашу маму? — сказал Пьер.

Глаза Сандры, поглощенной происходящим, радостно блестели.

— Мама Пондо ведь среди нас, — сказал доктор Иллово.

— Да, да, — кричала толпа.

— А где же она? — спросил он.

— О нами, с нами! — неслось в ответ.

Вдруг Сандра весело засмеялась и сказала:

— Это же розыгрыш, он хочет подшутить над нами!

— Мама Пондо! — крикнул доктор Иллово.

— Мама Пондо! Мама Пондо! Мама Пондо! — неслось отовсюду.

— А где же она в самом деле? — спросила Сандра, сияя от удовольствия.

— Мама Пондо! Мама Пондо!

Доктор Иллово оглядывался по сторонам, загадочно улыбаясь. Стоявшие с ним рядом на трибуне тоже улыбались и оглядывались вокруг. Доктор Иллово подошел к краю трибуны и, нагнувшись к стоявшим неподалеку, спросил:

— Ну, так где же мама Пондо? Вы видели ее?

Он пожал недоуменно плечами и, стараясь изобразить удивление, произнес:

— Оказывается, мамы Пондо здесь нет.

— Она здесь, она здесь, — не соглашалась толпа.

— Ее здесь нет, — настаивал доктор Иллово.

— Да здесь же она, здесь!

— Так где же?

— Она среди нас.

— Приведите ее, я хочу ее видеть.

Он заговорщически улыбнулся и сказал:

— Хотите знать, где сейчас мама Пондо?

Тут все поняли, что он их разыгрывает, и радостно закричали:

— Скажи, скажи!

— Я, конечно, мог бы сказать вам… — Доктор Иллово помедлил и продолжал: — Но, пожалуй, не скажу. Пусть это лучше сделает сама мама Пондо.

Он повернулся к молодому человеку, стоявшему рядом с ним на трибуне, и что-то передал ему в руки, издали похожее на длинный узкий кожаный чемоданчик.

— Что это такое? — спросила Сандра.

— Я думаю, это рация, — ответил Пьер.

— Алло, — услышали мы голос доктора Иллово. — Алло, мама Пондо? Ты меня слышишь, мама Пондо? Я тебя слышу очень хорошо. Одну минутку, мы сейчас сделаем, чтобы тебя слышали все…

Подошел молодой человек, подключил провода к рации и микрофону, а на другом конце трибуны — к усилителю.

Через несколько секунд в микрофоне раздались треск и шипение, а затем громкий, отчетливый голос мамы:

— Алло!.. Алло!.. Вы все еще там?

— Да, мама Пондо, — ответил доктор Иллово в микрофон, — мы еще здесь, на площади. А где

вы сейчас?

— В автобусе, — ответила мама.

— В каком автобусе?

— В большом серебристо-сером.

— А по какой улице вы сейчас проезжаете?

— По Квинс-роуд.

Толпа зашумела.

— По Квинс-роуд? — повторил доктор Иллово. — Уж не дорога ли это к центру Йоханнесбурга?

— Да, это дорога к центру Йоханнесбурга.

— А вы знаете, зачем автобус везет вас в центр Йоханнесбурга?

— Да.

— Теперь вы понимаете, почему наш митинг назначен на такой поздний час?

— Да, да, да! — весело прокричала мама.

— А который сейчас час, мама Пондо?

— Пять минут двенадцатого.

По площади прокатился гул. Доктор Иллово, улыбаясь, смотрел на людей. Потом, подняв руку, он дождался тишины и спросил:

— Теперь вам все ясно?

— Да, да, да, — откликнулась толпа.

— Мама Пондо, вы слышите их? — произнес доктор Иллово в микрофон. — Они теперь все

знают.

Сандра испуганно посмотрела на Пьера и спросила:

— Вы поняли, в чем дело?

— Кажется, вам запрещено после одиннадцати часов вечера появляться в районах города, где живут белые.

— Да, именно так. Не знаю, чем это кончится, — сказала Сандра обеспокоенно. — С такими вещами белые в нашей стране не любят шутить.

Это была правда. Белые боялись встречаться с африканцами по вечерам. Если вы что-нибудь читали о так называемой черной опасности, то речь неизменно шла о том, что черные якобы нападают на белых ночью.

Понимая, что многие из присутствующих беспокоятся за маму, доктор Иллово сказал:

— Пусть никто не волнуется. Наше присутствие в районе белых будет чисто символическим. Не более. Ссоры и скандалы исключены. В нашем автобусе собрались серьезные, благоразумные люди, они хорошо знают, что поставлено на карту. Они никого не оскорбят, ничего не поломают. Правильно я говорю, мама Пондо?

— Да, доктор Иллово.

— Некоторые здесь опасаются, что именно вы,

мама Пондо, не сдержитесь и выкинете какой-нибудь номер. Может такое произойти?

— Я бы не прочь, — послышался голос мамы. — Но напротив сидит Джеймс Дула из АНК и не сводит с меня глаз. Смотрит, словно сердитый учитель на шалунью ученицу.

Все весело рассмеялись. Мы знали Джеймса Дулу. Это был хороший парень, но очень мрачный на вид, он никогда не смеялся.

— Сейчас мы выезжаем на Брее-страат, — сказала мама. — Ой, у железнодорожного моста стоит полицейский. Он увидел нас и смотрит на часы! Уфф… пронесло. Он не остановил наш автобус. Наверное, заметил, что шофер белый, и решил не связываться. Нам очень повезло, что владелец автобуса белый. Шоферу удалось тайком взять машину из гаража хозяина. Крикнем в его честь «ура»! Его зовут Ян де Хоох, у него голубые глаза, два сына и сто тысяч веснушек. Ян де Хоох, гип, гип…

— Ура-а-а! — прокатилось по площади.

— Он покраснел, когда услышал ваше «ура», — доложила мама весело.

Затем она повела репортаж обо всем, что встречалось на пути. О широких, хорошо освещенных улицах; об автомашинах, которые вереницей

проносились мимо, о маленьких домиках индийцев, раскрашенных яркими красками, и, наконец, о скопище бетонных громад при въезде в центр и потоке неоновых реклам на просторных улицах.

— Приехали в центр! — объявила мама, задыхаясь от волнения.

Собравшиеся на площади слушали, затаив дыхание.

— Мы въезжаем в самый центр! На тротуарах много гуляющей публики. Мостовая запружена машинами. Витрины во многих магазинах еще освещены, у входов в бары и рестораны толпятся люди. Некоторые из них уже обратили на нас внимание. С удивлением показывают собеседникам на наш автобус. Те, взглянув, отворачиваются и продолжают болтать. Ясно, что наше появление не вызвало у них беспокойства. Они чувствуют себя в безопасности. Удивительно легко мы добрались до центра. Видимо, потому, что мы первые. Завтра это уже будет сложнее. На дорогах появятся патрули и будут высматривать автобусы черными. А вот гостиница «Спрингбок». Из нее валом валит народ. Видимо, там был какой-то прием. На женщина меховые накидки, мужчины в смокингах. Они садятся такси. Сейчас мы уже у гостиницы «Уолдорф». Подошел автобус

с туристами. Похоже, что это американцы. Экскурсовод собрал туристов на тротуаре и мечется между ними и строем чемоданов и дорожных сумок, словно хочет обречь их на раздельное существование. Пот катится с него градом. Теперь он принялся пересчитывать людей. Боже мой, как бесцеремонно он перегоняет с места на место почтенных дам и господ! Мне кажется, американцам пора начать кампанию неповиновения.

Волна смеха всколыхнула толпу.

— А вот кинотеатр «Метро», — продолжала мама. — Ай, осторожно. У входа стоит полицейский. Он заметил нас. Смотрит на часы, потом с удивлением — на нас. Но вот он увидел нашего Яна де Хооха, и ему в голову не приходит, что мы приехали сюда сами по себе. Он спокоен, словно на небе нет ни облачка. Ура! Мы выходим из автобуса. Ян де Хоох просит нас поторопиться. Он должен успеть уехать, пока нас не задержали. Иначе он лишится работы.

Ха, посмотрели бы вы, как все быстро выскочили из автобуса. До свидания, Ян! Большое спасибо, передай привет жене и сыновьям… Я тоже покидаю автобус. Джеймс Дула говорит, что мы должны прогуливаться по тротуару, держась все вместе. Белые, проходящие мимо, с удивлением

смотрят на нас. Вон в машине сидит человек. Он вовсю таращит на нас глаза. Вот шествует пожилая пара, по-моему, буры. Они остановились в нескольких шагах, о чем-то тихо говорят. Пошли дальше, все время оглядываясь на нас.

Хе, друзья, как здорово! Нам запрещено приходить в этот большой, красивый город, а мы все же здесь! Что? Что ты говоришь, Джеймс? Человек побежал в телефонную будку? Да, вижу… Это тот, что таращил на нас глаза из машины. Сейчас он уже в телефонной будке, говорит с кем-то и тычет в нас пальцем.

Вдруг мама перешла на шепот:

— Доктор Иллово, кажется, начинается самое главное.

— Да, мама Пондо.

— Около нас останавливается полицейская машина. К счастью, наш автобус уже отошел. Из машины вышли два агента. Один спрашивает нас, что мы тут делаем. Джеймс Дула выступает вперед и отвечает: «Мы намеренно приехали в центр города после одиннадцати часов в знак протеста против раздела страны на зоны для белых и черных. Наша демонстрация абсолютно миролюбивая. Мы готовы понести предусмотренное наказание».

Агент злится, поносит Джеймса бранными словами и спрашивает, знаем ли мы, что за подобные поступки полагается немедленное заключение в тюрьму. Джеймс отвечает, что мы не только знаем, но специально пришли, чтобы нас посадили в тюрьму. Пусть всем станет известно, в чем мы провинились. Агент снова кричит на Джеймса, называет его нахалом и требует предъявить паспорт.

Джеймс достает паспорт и говорит: «Пожалуйста, а вот списки лиц, принимающих участие в демонстрации. Тут указаны не только фамилии, но и точные адреса. Если вам нужны и их паспорта, то я соберу».

Ай-ай, эти слова Джеймса подлили масла в огонь! Агент стал багрово-красным, выхватил пистолет, взвел курок и, направив на нас дуло, крикнул своему коллеге: «Хенк, проси подкрепления, мы арестуем их всех». Джеймс ответил: «Мы с удовольствием пойдем с вами, господин агент, только скажите куда». Агент продолжает вопить: «Вызывай!»

Он стоит перед нами, широко расставив ноги и подавшись вперед. Направил на нас пистолет, словно мы приготовились броситься на него.

Вокруг собралась толпа, перегородив путь

транспорту. Это заставляет агента нервничать еще больше. Он кричит своему коллеге, который звонит из машины, чтобы он регулировал движение. Тот, выполняя его приказание, выходит из машины и в полной растерянности просит прохожих разойтись. Агент с пистолетом кричит: «Быстрей!»

Ах, этот тип и представить себе не может, какую он оказал нам услугу. Если бы он с самого начала тихонечко увел нас отсюда, то, может быть, нас заметило бы всего несколько человек. А сейчас их здесь не менее сотни и непрерывно подходят еще и еще. Если этот ковбой простоит перед нами, размахивая пистолетом еще с четверть часика, то соберется народ со всех ближайших улиц, наша демонстрация получит такую огласку в прессе, о которой мы и мечтать не осмеливались. Джеймс Дула тоже понял это. Вместо того чтобы еще раз подтвердить, что мы послушно последуем за агентами, он стоит, скрестив на груди руки, и ждет. Доктор Иллово…

— Да, мама Пондо.

— Я ненадолго прекращу репортаж и спрячу передатчик, агенты теснят нас к домам. Я не хочу, чтобы они сразу же отобрали у меня рацию. Я передам, в какую тюрьму они отведут нас.

— Хорошо, мама Пондо. Не забывайте, что мы с вами.

Четверть часа доктор Иллово занимал собравшихся на митинг непринужденной беседой. Потом снова послышался шум в динамиках и раздался приглушенный голос мамы:

— Доктор Иллово?!

— Да, мама Пондо.

— Мы в полицейской машине. Нас везут в тюрьму. Я спрятала передатчик под мышкой, могу говорить только шепотом, С нами в машине четыре полицейских. Двое, которые задержали нас, и еще два, приехавшие на грузовике. Как раз, когда подошел грузовик, в кино кончился сеанс и публика высыпала на улицу. Боже милостивый, что было! Казалось, началась революция! Люди бегали, кричали, перебивая друг друга. Я слышала, как один вопил, что мы пытались ворваться в дом с целью грабежа. Поднялась настоящая паника. Агентам стоило большого труда разогнать толпу. Пот с них катился градом. А мы стояли и не знали, что делать. Правда, у меня было желание помочь агентам навести порядок, но неизвестно, как бы они это восприняли. Нас везут по Йеппестраат, теперь поворачиваем на Жубер-страат, переехали Смэтс-страат. По всей видимости,

нас собираются упрятать в Форт. Да, так и есть! Полицейские встали со своих мест. Водитель тормозит. Мы остановились перед Фортом.

Вдруг в репродукторе раздался резкий мужской голос:

— Чего ты там шепчешь? С кем это ты разговариваешь? Что у тебя под мышкой?

— Рация, — услышали мы голос мамы.

— Что, что? — спросил мужчина недоуменно.

— Рация, — повторила мама. — Это вроде телефона, только без проводов. Ее часто используют в армии.

— Что ты понимаешь в армии и технике? — грубо прокричал он ей. — Ты же негритянка. С кем это ты говорила?

— С друзьями из Софиатауна.

— Давай-ка сюда эту игрушку.

— Конечно, мы так и думали, что вы ее отберете. Но, пожалуйста, не ломайте. Не забудьте, что вы должны вернуть мне рацию, когда вам придется меня освободить.

— Должен? Я никому ничего не должен. Слышишь, ты?

— Мне казалось, что я обязана вас предупредить, — ответила мама. — Бессмысленная ссора нам обоим ни к чему, особенно если я напишу об

этом министру юстиции.

Потом мы услышали, как мама Пондо торопливо крикнула:

— До свидания, доктор Иллово! До свидания, друзья!

До скорой встречи!

В репродукторе что-то треснуло, и он умолк.

— Это, мои дорогие друзья, — сказал доктор Иллово, — начало нашей кампании неповиновения здесь, в Йоханнесбурге. Затем последуют другие акции. Мы сообщим вам, когда и где. Очень важно, что сегодня все прошло мирно и спокойно. Там, за дорогой, район белых Вестдене. Вам отсюда видны бунгало, вы слышите лай собак. Но мы не пойдем к этим бунгало. Нам важно дать понять всю несправедливость такого положения, когда по одну сторону дороги стоят бараки и землянки для черных, а по другую — бунгало для белых. Но это зависит не от тех белых — рабочих и служащих, — которые живут здесь в бунгало. Подобные вопросы решает правительство Претории. Значит, нам незачем обращаться к жителям бунгало. Поэтому давайте спокойно разойдемся. Я не призываю всех немедленно идти спать. Сегодня слишком великий и прекрасный день. Но пусть каждый отправится к себе домой, а я с дру-

зьями загляну к вам, чтобы выпить по рюмочке и выслушать ваши пожелания. Всего хорошего.

— Всего хорошего, доктор Иллово! До свидания, — кричали в толпе.

В заключение все хором пропели «Господи, благослови Африку» и разошлись по домам.

ГЛАВА III

Это было здорово. Теперь, вспоминая те дни, я ясно вижу залитый солнцем зеленый холмистый край, где пела мама, где жили мы все вместе. В душе у нас не было ненависти, жажды мести, горечи. Были надежда и вера в счастье.

Всю ночь после митинга на улицах Софиатауна шумела веселая, оживленная толпа. На площадях разожгли костры. Я встретил Тома и Майкла, и мы вместе стали бродить от группы к группе. Пели около костров, танцевали, слушали рассказчиков.

На одной из площадей мы увидели доктора Иллово и молодых людей, бывших вместе с ним на трибуне. Их окружало плотное кольцо людей. Постояв немного с ними, мы двинулись дальше и встретили Билла Хормана. Он предложил отправиться в бар «Эйнхоорн», который разрешалось посещать черным вместе с белыми.

Бар оказался полнехонек. Пробираясь между танцующими, мы увидели негритянского поэта Джерома Конана. Он стоял у стойки и беседовал с двумя белыми девушками. Высокий, стройный, с маленькой головой и очень темной кожей. В

нем текла кровь племени тутси. От тутси он унаследовал маленькую голову, аристократические манеры и высокомерный вид.

Джером дружески приветствовал Билла. А когда Билл представил нас, Джером спросил у Пьера, что он намерен делать в ЮАР.

— Смотреть, — ответил Пьер.

— А есть на что?

— Конечно.

— Нет, — резко возразил Джером. — Вы ошибаетесь. В ЮАР смотреть не на что, тот, кто сказал вам это, — консервативный буржуа. И вообще, люди, думающие, что здешние проблемы можно каким-либо образом разрешить, — консервативные буржуа.

— Нельсон Мандела тоже? — спросил, улыбаясь, Билл.

— Нельсон Мандела — консервативный аристократ! Это еще страшней. Морока, Иллово, Качалия и Лутули — консервативные буржуа. Они не ведают, что говорят, когда рассуждают об освобождении черных. Это комнатные собачки. Они выпрашивают лишний кусочек сахара и машут хвостиками. При приближении белого они прижимают уши и ждут, когда их погладят. А собака должна делать не это. Собака должна

кусаться.

— У африканцев в этом баре хорошее настроение, — заметил Пьер. — Они улыбаются, веселятся. Вам это не нравится?

— Отнюдь нет.

— Мне нравится.

— А мне нет! — повторил Джером зло.

Вдруг он увидел кого-то в толпе, поднял руку и крикнул:

— Джессе! Джессе Тугела! Иди сюда.

Я обрадовался, увидев, что к нам подходит мой брат Джессе.

На нем был элегантный светло-серый костюм, в зубах гвоздика.

— Ха, — удивленно воскликнул он, увидев нас.

Он поцеловал девушек, стоявших вместе с Джеромом.

— Джессе, — обратился к нему Джером, — этот человек радуется тому, что у черных ЮАР оптимистическое настроение.

— А почему вас это радует? — спросил Джессе, серьезно и внимательно посмотрев на Пьера.

— Хорошо, если люди верят в свои силы.

— Они верят не в свои силы, а в рождественского Деда Мороза. Они думают, что стоит хорошенько попросить буров, и те, растрогавшись и расчув-

ствовавшись, положат в ботинки черных свободу и много всяких сладостей.

— Вы совсем не верите в успех кампании неповиновения?

— Это мило, но это по-детски.

— А что вы предлагаете?

— Кусаться, — вмешался Джером. — Если твердо знаешь, что тебе не хотят дать требуемое, нечего терять время на просьбы.

— Вы предлагаете революцию?

— Сначала партизанская война, — ответил Джессе, — потом революция. ЮАР — единственная страна в Африке, где это может удасться.

— Почему?

— Потому, что черные здесь кое-что умеют. Они работают на приисках. Они знакомы с отбойными молотками. Они знают, как выводить машины из строя. Многие учились в школах, в некоторых городах черное население составляет по сто тысяч. Иными словами, есть возможность организовать людей и сохранить организацию в тайне. Кто завладеет Йоханнесбургом, тот обеспечит золотом и деньгами черное население всей Африки!

— Завладеет Йоханнесбургом? — удивленно спросил Пьер.

— А почему бы и нет?

— Вы хотите выгнать белых прочь?

— Африка должна принадлежать африканцам, — ответил Джером Конан.

Пьер на это сказал:

— Однажды в Дар-эс-Саламе я слышал, как черные говорили: «Мир принадлежит людям, а мы тоже люди». Это мне больше нравится.

— Но вы же заявляете, что Европа принадлежит европейцам, что надо положить конец все возрастающей иммиграции цветных. Если вы хотите, чтобы Европа была только для европейцев, почему бы нам не попытаться сохранить Африку для африканцев?

— Мне не по душе и те, кто утверждает, что в Европе должны жить только европейцы, — ответил Пьер.

Он повернулся к Джессе и спросил, не хочет ли и он выгнать из Африки европейцев, как Джером Конан.

— Они могут остаться, — ответил Джессе, — если станут уважать наши законы. И меня совсем не огорчит, если большинство белых будет изгнано или убито. Так же спокойно я отнесусь к неизбежной гибели немалого числа черных.

Джером Конан слушал его с горящими глаза-

ми.

— Ничто в мире не воспроизводит себя с такими минимальными затратами и такой неприличной скоростью, как человечество. И если людей немножко поубавить, остальным будет легче дышать. Так что это уже акт милосердия.

— О, ты очень здорово сказал! — воскликнул Джессе. — Почему бы тебе не написать стихотворение на эту тему?

— Одно уже есть, — ответил Джером.

К нам подошли еще несколько человек, спор разгорелся. Многие из собеседников, как белые, так и черные, высказывались за немедленное применение силы.

В бар вошел Ян ван Баарле. Он постоял, послушал, потом с мрачным видом заявил:

— Вы когда-нибудь задумывались, почему мы так уверенно судим о добре и зле? Для тех, кто верит в бога, все просто. Это он создал нас такими. А вот если в бога не веришь? Тогда как? Я неверующий еврей. Я придерживался научного мнения, согласно которому человек есть продукт развития материи на протяжении миллионов лет. Ученые утверждают, что в результате трения частиц во влажной среде возникло тепло, частицы начали соединяться и образовали первичную

клетку. В этом примитивном процессе развития я не усматриваю руку божью. Я думаю, что мы, жители Земли, прозябаем в неведении где-то на краю вселенной, в затерянном уголке космоса. Мне кажется, что дела вселенной проходят вдали от нас и нас там в расчет не принимают. Я зол на то, что нам дано достаточно разума, чтобы все это осознать, и достаточно чувств, чтобы страдать от своей беспомощности. Но этим дела не изменишь. Тогда как же быть? Мы говорим: это хорошо, а вот это плохо. Но по какому праву мы судим о добре и зле? Что понимаем в этих вещах? Иногда я задаю себе вопрос, не слишком ли мы претенциозны? Мы не находим ничего особенного в том, что звери уничтожают друг друга, считая нормальным, когда в животном мире один пожирает другого. «Ведь это же звери», — говорим мы. А мы люди. Мы лучше! А так ли это? Кто знает?

Пьер спросил его, уж не полагает ли он, что один человек должен уничтожать другого.

— Не знаю, — ответил Ян ван Баарле. — Я сведущ в этом так же мало, как и все другие. Но я иногда спрашиваю себя, не оправдана ли идея человеконенавистничества? По-моему, разницы между человеком и леопардом не больше, чем между леопардом и дождевым червем. Почему

же мы, исходя из голословного утверждения, что «мы лучше», беремся определять, что такое добро и что такое зло? Что делает наше мнение более компетентным, чем мнение леопарда?.. А с другой стороны, странно, что мы мечтаем о моральных ценностях. Не знаю, обладаем ли мы ими, да и вообще существуют ли они? Но мы хотим владеть ими. Похоже, что это нам нужно. Я спрашиваю себя, а леопарда тоже тревожат вопросы морали? Думаю, что нет. Я видел однажды, как леопард, сожрав молодую антилопу, безмятежно и сладко спал. Он был совершенно счастлив!

Потом Ян ван Баарле посмотрел на Пьера и спросил:

— Неужели вы в самом деле думаете, что черным удастся добиться своего без насилия?

— Да.

— Удивительно, что они пытаются мирным путем добиться справедливости, — тихо сказал Ян. — Самое унизительное для нас, белых, состоит в том, что мы силой порабощаем черных, а они без применения силы пытаются положить этому конец. Такое можно было бы еще ожидать от народа с высокой культурой, от людей, как говорят, умеющих подавлять свои инстинкты. А получается наоборот. Цивилизованный народ

чинит насилие, грубость и несправедливость. А доброта, миролюбие и вежливость исходят от диких африканцев. Негры! Древнейший народ мира. Глядя на них, можно получить представление о человеческой расе. Настоящей. Такой, какой она была до того, как стала расой человеконенавистников.

Весь остальной вечер меня не покидало радостное убеждение, что в душе Ян ван Баарле тоже верит, что все будет хорошо. Он любит нас и убежден, как и Пьер, что добром мы выиграем борьбу.

В ту ночь я лег спать только часов в пять утра. Наверняка выпил в баре лишнюю рюмку, потому что помню, как стоял перед зеркалом и разговаривал сам с собой.

Мне стало немножко стыдно. Но я чувствовал себя счастливым, вспоминая, как прекрасно провел вечер и как хорошо всем нам было.

Из газет мы узнали, как прошли манифестации в других городах. В одном месте группа черных пыталась отправить телеграмму через окошко для белых; в другом африканцы вошли на вокзал через дверь для белых; в третьем они расположились в парке на скамейках, вместо того чтобы сесть, как это предусмотрено законом, на землю; в четвертом — заняли передние, а не задние ме-

ста в автобусе.

Правительственные газеты помещали короткие, претенциозные заметки о демонстрациях. Они никогда не сообщали, сколько людей присутствовало на массовых митингах, и пытались представить демонстрации как уличные беспорядки.

Но английские газеты опять дали объективную информацию. Кроме того, мы получали исчерпывающие сведения из листовок, выпускаемых и распространяемых АНК. Поэтому мы знали, что кампания неповиновения проходит успешно. Она повсюду началась с митингов, на которых присутствовали тысячи людей. Помимо черных, в них принимали участие индийцы и белые. Кампания была общенациональной акцией и везде прошла спокойно и организованно.

Через несколько недель, по мере того как одна группа добровольцев сменяла другую, полиция уже не знала, что делать с задержанными. Вскоре участились случаи, когда полиция, едва завидев черных нарушителей, обращалась в бегство. Вызывал общее веселье передававшийся из уст в уста рассказ доктора Копко о том, как он с группой добровольцев три ночи подряд ходил в Дурбане по пятам за полицейскими, прежде чем они их

арестовали.

> «Тюрьмы ломятся от задержанных, — писали английские газеты. — Еще несколько недель, и бурам придется препровождать арестантов к португальцам в Анголу и Мозамбик, если только там имеются свободные камеры».

В одной из газет была помещена карикатура: белые гонят толпу черных, закованных в кандалы, из ЮАР в Мозамбик, а навстречу им идет толпа черных арестантов, которых португальские офицеры перегоняют через границу в ЮАР. Карикатура содержала недвусмысленный намек на события в ЮАР и Мозамбике. Несмотря на слишком скудные сообщения бурских газет, мы хорошо знали из английской печати и листовок АНК о восстаниях в соседних португальских колониях африканских сельскохозяйственных рабочих и о последовавшей за этим страшной расправе.

Вскоре мы услышали, что уже арестовано пять тысяч добровольцев. Правительство думало справиться с этой неожиданной напастью, запретив всякие сборища. Но Альберт Лутули очень ловко использовал этот запрет в Натале, предложив

в массовом порядке нарушать его. Африканцы так и делали. Повсюду вдруг стали проводиться собрания, полиция была вынуждена задерживать еще больше людей, чем прежде. В один прекрасный день арестовали такую большую группу в Дурбане, что во время конвоирования остановилось все движение транспорта. Полиция оказалась бессильна. Толпы африканцев высыпали на улицу и не хотели расходиться. В конце концов пришлось вмешаться арестованному Альберту Лутули и его помощнику доктору Найкеру[31] и попросить людей разойтись по домам. Лишь таким образом удалось восстановить уличное движение.

Международная пресса публиковала пространные статьи. Различные газеты присылали своих корреспондентов, чтобы получить информацию прямо с места событий. Англиканский епископ в Йоханнесбурге Амброз Ривз и несколько белых членов академии выступили за отмену новых законов апартеида. ООН создала комиссию для изучения системы апартеида и обвинений в его адрес. Большой популярностью пользовалась переданная английской радиостанцией Би-би-си

[31] Примечания: 31

Гангатура «Монти» *Найкер* (1910—1978) — виднейший деятель Индийского конгресса Южной Африки, дважды избирался его президентом.

песня: «Ян ван Рибек украл у нас свободу».

В один из дней АНК передал сообщение, что кампания неповиновения получила такую широкую материальную поддержку среди черного населения ЮАР, что комитет уже смог нанять более ста тысячи платных сотрудников.

Все эти известия так взбудоражили нас, что мы забросили свои повседневные дела. На улицах Софиатауна день и ночь толпился народ. Невозможно было удержаться, чтобы не поговорить с друзьями и знакомыми. Остановишься на минутку, и не успеешь оглянуться, как наступает утро, а там, глядишь, и день пролетел.

Ко мне в колледж и церковь то и дело заходили поговорить люди. Мы беседовали и на занятиях в классе, и на репетициях хора. В барах было необыкновенно людно, на улицах случайные прохожие вступали друг с другом в непринужденный разговор.

Это было похоже на веселую ярмарку во время праздника.

После двухнедельной отсидки вернулась домой мама. Освободили и остальных, кроме Джеймса Дулы, которого приговорили к месячному заключению в тюрьму как руководителя группы.

Наш дом сразу наполнился гостями, и мама, как

всегда, была душой общества. Она много рассказывала о том, как они провели эти две недели.

Однако наша радость омрачалась тем, что маме настолько понравилось, как мы справились с хозяйством в ее отсутствие, что стоило большого труда помешать ей снова отправиться в тюрьму с очередной группой добровольцев.

В августе в акции участвовал Майкл, а чуть позже Джимми. Майкл отсидел свои четырнадцать дней полностью, а Джимми и его друзей полиция скрепя сердце была вынуждена отослать домой. Все городские тюрьмы и семь загородных, которые спешно выстроили, были забиты до отказа. Мы ходили по улицам от тюрьмы к тюрьме и пели, а заключенные подтягивали нам. Полиция пыталась нас разогнать. Но как только они уходили, мы собирались вновь. Мы приносили заключенным столько передач, что тюремные приемные напоминали магазины. Измучилась и полиция, и тюремщики. Они умоляли прекратить наши акции и выглядели такими беспомощными, что возникал вопрос, не настала ли пора действительно остановить кампанию неповиновения.

И вдруг все переменилось.

В нашем доме мы почувствовали это, когда

как-то утром обнаружили в почтовом ящике письмо от Джессе, Он писал, что уехал, что настало время действовать так, как он всегда говорил. Он больше не может разделять нашей наивной веры в силу добра, писал он. Скоро мы увидим, как страшно заблуждались, ибо на террор надо отвечать только террором. Джессе сожалел, что долгое время мы ничего не будем о нем слышать, но просил не беспокоиться.

> *«Простите меня, если мое решение вас огорчит,* — писал он, — *но я должен поступать так, как мне подсказывает совесть».*

В страшной тревоге мы читали и перечитывали его письмо. Мы хорошо знали намерения Джессе, но никогда не принимали их всерьез. Сдержанный и спокойный тон письма был полной противоположностью обычной для Джессе запальчивости. Однако сомнений не оставалось: почерк и подпись были его.

Письмо нас очень расстроило. Мы поехали в университетский городок, где жил Джессе. Его друзья-студенты были удивлены не меньше нас. Оказалось, что никто из них ничего толком не знал. Двое получили от него письма в том же

духе, что и мы, но тоже без подробностей.

Мы хотели надеяться, что он сбежал с какой-нибудь девушкой или что-нибудь в этом роде. Однажды с ним такое уже было. Он чуть не удрал с замужней белой женщиной. В последнюю минуту папе удалось помешать этой затее. Мы расспрашивали его друзей, не могло ли с ним случиться чего-нибудь подобного. Но, увы, его не видели ни с одной девушкой, кроме Эвелин из племени свази, которая училась вместе с ним. Ее мы застали в слезах над письмом таким же, как наше.

Словно в подтверждение слов Джессе атмосфера в стране резко изменилась. Повсюду начались столкновения черных с белыми. Группы добровольцев, которые до сего времени вели себя очень миролюбиво, теперь, встречая на улице белых, стали поносить их бранью, швырять камни в окна домов, задирать полицейских. Не проходило дня, если верить газетам, чтобы где-нибудь не случался подобный инцидент.

Вскоре дело дошло до драк. АНК заявил об осуждении хулиганских поступков и настоятельно призывал всех добровольцев держать себя в руках.

Но и это не помогло. Все больше поступало

сообщений о драках. С растущим беспокойством читали мы о раненых, которых пришлась отправить в больницы. И, наконец, с ужасом услышали о первых убитых.

В Нью-Брайтоне произошла перестрелка с полицией, толпа разгромила вокзал и часть соседних зданий, погибло четверо белых и семь черных.

В Ист-Лондоне во время одной драки было убито много африканцев, и в отместку черные убили несколько белых. В их числе была монашка, которая хотела оказать помощь раненым.

В Кемберли застрелили четырнадцать африканцев, среди них двух женщин, после чего разъяренная толпа черных бросилась громить общественные здания.

Мы читали эти сообщения в правительственных газетах и приходили в ужас. Особенно подробно описывались события в Ист-Лондоне. Мы ничего не могли понять. Мы знали, что добровольцы повсюду получили строжайший наказ не давать поводов к ссорам, не оказывать сопротивления при задержании, не отвечать на оскорбления и издевательства. Откуда же вдруг эта волна насилия?

— Они лгут, — со злостью сказал Том. — Пишут, что черные разгромили вокзал в Нью-Брайтоне и

убили в Ист-Лондоне монахиню. А может, все это выдумки буров-расистов?

Мама, наморщив лоб, читала газеты. Около нее лежала целая стопа.

— Но в английской прессе пишут то же самое, — возразила она.

— Когда дело касается главного, они дуют в одну дуду с бурами, — ответил Том. — Они придираются ко всякой ерунде, потому что сидят в оппозиции. Создается представление, будто они держат нашу сторону, а на самом деле в серьезных вещах они всегда вместе с бурами.

Мама покачала головой.

— Нет, это не фальшивка, — сказала она. — Они приводят слишком много данных, которые легко проверить. Взять хотя бы ист-лондонское дело. Буры говорят, что вопреки запрету на собрания местное отделение АНК решило провести на площади митинг. Здесь написано, что полиция просила толпу разойтись, но собравшиеся отказались. И только после этого полиция стала разгонять участников митинга. В полицейских полетели камни, и тогда они открыли стрельбу. А потом, когда полиция уехала, толпа вернулась и убила первых попавшихся белых, в том числе монахиню. Это пишут все газеты, как бурские,

так и английские. Все это факты, которые можно проверить. Сообщается имя монахини, место, где она работала, имена и профессии всех остальных убитых белых.

— А как насчет имен, места жительства и профессии черных жертв? — спросил Том.

— Дело не в этом, — ответила мама.

— Но ведь и черные убиты!

— Да.

— И убитых черных больше, чем белых.

— Да, но в Ист-Лондоне толпа черных швыряла камнями в полицейских. Африканцы начали это делать до того, как полиция открыла огонь. Раньше участники кампании ничего подобного не делали. А потом они убили монахиню. Они оскорбляли проходивших мимо белых, улюлюкали вслед полиции. Что с ними случилось, ума не приложу. Не нравится мне все это. Ой как не нравится.

Мама помолчала, а потом продолжала:

— Толпа затеет драку, если ее подстрекнуть на это. И бог знает, что у черных в ЮАР достаточно причин, чтобы наброситься на белых с кулаками. Но среди добровольцев не может быть подстрекателей, наоборот… — Мама вдруг умолкла и уставилась на меня таким долгим и присталь-

ным взглядом, что мне стало не по себе. Но тут я понял, что она не видит меня. Она думала о чем-то своем, и перед ее мысленным взором явилось нечто такое, что заставило ее содрогнуться.

Я и сейчас помню этот застывший мамин взгляд. В тот день мама впервые поняла, что мы все действительно жили иллюзиями, как писал в своем письме Джессе. Сначала неожиданная догадка просто напугала ее, заставила мучительно размышлять, и вдруг все стало ясно. В тот момент, я думаю, мама впервые поняла, что ждет всех черных в ЮАР.

Какое-то предчувствие опасности было у нее всегда. Я уже говорил, что порой в разгар веселья она без всякой причины вдруг становилась сосредоточенной и серьезной. В такие минуты она бывала особенно нежной и внимательной к нам, своим детям, к родственникам и друзьям, словно мы были обречены, чем приводила нас в смятение. Но подобное настроение у нее быстро проходило, и мы относили его за счет ее повышенной эмоциональности.

Только сейчас мама поняла, что ее неосознанный страх имел основание.

— Не могу поверить, — дрожащим голосом сказала она и посмотрела на Тома, потом снова

на меня. — Неужели они способны на это?

Ни Том, ни я не поняли ее. В это время вошел дядя Джереми. Он вернулся с рынка, куда ходил за овощами для своей лавчонки.

— Знаете, что говорят? — взволнованно воскликнул он. — Что власти все это нарочно подстроили. Они заставили нас драться.

— Мы как раз думали о том же, — ответила мама.

— Заставили драться? — переспросил Том, нахмурив лоб. — Но какой в этом смысл? Заставить человека драться, а потом задержать его за то, что он дрался...

— Они ничего не могли с нами поделать, потому что правда на нашей стороне, — сказал дядя Джереми. — Правда, которую все видят, сильна и непобедима. Как бы ни старались ее подавить, она восторжествует. Поэтому мы и торжествовали уже несколько недель. Но если упрятать правду, выползут чудовища зла и насилия. Если мы станем оскорблять, бить и убивать белых, то лишь поможем этим чудовищам выползти на свет божий. Нас начнут наказывать за преступления, раструбят об этом повсюду. Власти говорят о законах. Но законы предусматривают права людей. А наши права белые запрятали так далеко,

что никто уже давно не знает, где они находятся. О них забыли, будто их вообще не существует. Поэтому властям и нужно, чтобы мы бранились, дрались и убивали. Они нас провоцируют, засылая подстрекателей.

— Я должна сама в этом убедиться, — сказала мама. Она повернулась ко мне и спросила: — Давид, у тебя есть время?

— Немного, через час я должен быть в колледже в спортклубе.

— Ты успеешь, пойдем со мной, — сказала мама, вставая.

Том хотел что-то спросить у нее, но мама взяла пальто и, не сказав ни слова, вышла из дому.

По улице она шла так быстро, что я едва поспевал за ней.

— Я хочу поговорить с пастором Регтерсом, — сказала она. — Тогда я все узнаю.

— Пастором Регтерсом? — спросил я пораженный.

Пастор Регтерс был человеком, никогда не скрывавшим своего пренебрежения к черным. Поговорить с ним африканцу было практически невозможно. Он служил в церкви в Вестдене, всего в четверти часа ходьбы от нашего дома. Это была ближайшая церковь для белых. В дни, когда

мы организовывали демонстрации протеста против предписания, обязывавшего нас ходить только в «свои» церкви, молодежь собиралась около этой церкви. Юноши и девушки вставали перед входом в церковь с плакатами, иногда заходили внутрь. А когда их выставляли оттуда, слушали службу, стоя на коленях у наружной лестницы.

Пастор Регтерс был человеком маленького роста, желчным и раздражительным. Наши демонстрации приводили его в ярость. Пастор заявлял, что готов любой ценой сохранить свою церковь «чистой», и, когда черные осмеливались заходить в нее, он собственноручно выдворял их. Если они продолжали на улице выкрикивать лозунги, он прекращал службу, собирал белых мужчин и вместе с ними выгонял африканцев с церковной площади.

В проповедях он часто говорил о «силах тьмы», против которых должны вооружаться «дети света», о «безопасности божьего дома» и «черных силах, которые в темноте подбираются к нему».

Мы уже давно привыкли к подобным выпадам пасторов Нижненемецкой реформатской церкви. Но Регтерс относился к нам особенно враждебно. Взять, к примеру, пастора ван Флотена из

Хюрст-Хилла. Хотя в своих проповедях он и отождествлял черных с дьяволом, но делал это как-то беззлобно. Казалось, что пастор ван Флотен, тихий бледный человек, сам не верил в те страшные слова, которые произносил. Он считал своей обязанностью проповедовать апартеид, потому что этого требовали интересы церкви. Я часто задавал себе вопрос: каковы же истинные убеждения пастора ван Флотена? Позже, в страшные дни, когда земля пондо стояла в огне, я узнал это.

Африканцам было трудно разговаривать с пастором Регтерсом. В тех редких случаях, когда они за чем-нибудь обращались к нему, Регтерс смотрел на них с таким нескрываемым отвращением, что люди теряли мужество и уходили прочь. Пастор Регтерс был сыном бура из Оранжевой Республики, о котором говорили, что он изнемогавших от непосильной работы черных собственноручно избивал кнутом, и нередко до полусмерти.

Наша семья была знакома с Регтерсом, потому что Роза раньше служила няней в семьях африканцев, которые до апартеида были прихожанами его церкви. Однажды он с похвалой отозвался о Розе и маме и пригласил их в гости. Я был с ними. Потом мы приходили к нему еще

раз: просили помочь нашему соседу, которого за мелкую провинность сослали на принудительные работы на ферму к одному буру и с тех пор его семья о нем ничего не слышала. Он принял нас, не выказывая неудовольствия, правда, всего лишь для того, чтобы сказать: нет. Но все же нас впустили в приемную, что само по себе уже было необычным.

Когда мы подошли к площади с красивой старой церковью и домами из темно-красного кирпича, увитыми плющом, мама сказала:

— Если мои опасения справедливы, он будет с нами очень любезен.

Мысль, что пастор Реггерс может быть любезным с черными, в других условиях показалась бы дикой, но я понял, что имела в виду мама. Она продолжала:

— С самого начала кампании неповиновения он нас возненавидел. Раньше презирал, а теперь возненавидел. Я это знаю. В последние дни я дважды встречала его на улице. Он смотрел на меня, как смотрят на бандита, место которому в тюрьме. Он, конечно, тоже читал о событиях в Нью-Брайтоне и Ист-Лондоне. Если он нас не пустит, значит, все не так, как я думаю. Значит, виноваты мы. Но если он пустит нас в дом и за-

говорит с нами елейным тоном, словно он наш лучший друг, тогда, значит, все это подстроено.

Это был один из сложных маминых методов докапываться до истины, которые частенько действовали нам на нервы, но с помощью которых она всегда безошибочно достигала цели.

Когда экономка пастора, приоткрыв дверь, увидела нас в щель, она попыталась просто-напросто захлопнуть дверь, но мама успела просунуть ногу в щель и сказала:

— Господин пастор сказал, чтобы мы зашли.

Меня просто ошеломило, как легко и убедительно могла мама лгать, если это было необходимо.

— Очень сомневаюсь, что это так, — ответила экономка. — Не знаю, стоит ли спрашивать господина пастора, правда ли это.

— И все же спросите его, — сказала мама, убрав ногу.

Когда экономка закрыла дверь, я шепнул маме:

— Ты же сама знаешь, что это неправда. Пастор так и скажет. Уверен, что экономка не сочтет нужным даже вернуться к нам. Мы так здесь и простоим.

— Вот это-то я и должна знать, — ответила мама. — Хотелось бы, чтобы мы прождали на-

прасно. Тогда все не так страшно. Страшно, если сейчас откроется дверь и сам пастор предложит нам войти.

Так и случилось. Дверь открылась, и на пороге появился пастор Регтерс в шерстяной пижаме и домашних туфлях. Он еще никогда не представал перед нами в таком виде. Сказав, что для него радостный сюрприз вновь видеть маму доброй Розы, он поклонился и пригласил нас войти в дом. Его притворное дружелюбие было отвратительно. Мама постояла несколько секунд, затем, пробормотав извинение, взяла меня за руку, и мы ушли прочь.

По дороге домой мама подавленно молчала. Она не проронила ни слова. И только, когда мы ступили на извилистые улочки Софиатауна, она остановилась и вымолвила:

— Мы обязаны быть дикими животными… Пока что мы не звери, но они превращают нас в зверей. — Голос ее прервался от волнения. — Никогда в жизни не слышала о чем-либо более чудовищном.

Вечером Сандра не вернулась домой. Уже пробило час, а ее все не было. Мама позвонила ей в больницу, но там оказалась только ночная сестра, которая ничего не могла сказать.

Мы знали, что Сандра и Пьер любят друг друга. Знали об этом давно и боялись за них. Мама и папа ничего не говорили Сандре. Мы радовались тому, что Сандра счастлива, нам нравился ее избранник, но в ЮАР черная девушка не может любить белого мужчину, их брак считается преступлением. Им запрещено даже вместе появляться на людях.

В один прекрасный день Сандра начала интересоваться Фландрией. Она читала все, что могла найти об этой стране, и, когда пересказывала нам прочитанное, у нее так сверкали глаза, что мы стали опасаться, не собирается ли она с Пьером навсегда уехать во Фландрию. Эта перспектива нас пугала, потому что тогда мы наверняка никогда бы больше не увидели Сандру. Ее, как жену белого, впредь не пустили бы в страну.

Сандра помогала Пьеру в его репортерской работе, знакомила с африканцами, подбирала нужную информацию. Пьер дал ей перечень вопросов, интересовавших его. Она проводила опрос, записывала ответы, находила интересные данные. Ей очень нравилась эта работа. Она чертила красочные диаграммы, сопровождая их шутливыми рисунками.

Сандра великолепно рисовала. Она могла в

один миг набросать портрет, но лучше всего ей удавались дружеские шаржи. Стоило разгореться ссоре, как Сандра брала в руки карандаш, двумя-тремя штрихами делала портреты противников, и от ссоры не оставалось и следа.

Чтобы избежать затруднений, Пьер зарегистрировал ее как свою секретаршу, работающую по совместительству. Были оформлены необходимые документы, а в паспорте у Сандры сделана соответствующая отметка. Таким образом они могли без опасения вместе появляться на улицах.

Вечерами они встречались дома или где-нибудь в Софиатауне. В то время это еще можно было делать без особого риска, поскольку в Софиатауне жили и белые, и индийцы и квартал был открыт для всех.

Но вот пойти вместе в кино или театр они не могли. Так же как потанцевать и посидеть в баре, потому что бары в основном были раздельные. Однако они могли вместе пойти в гости или к друзьям.

Иногда они тайком отправлялись в районы, где жили белые. Тогда это было не очень опасно, но все же Сандре нельзя было оставаться там допоздна. И к полуночи она обязательно возвращалась

домой. Однако я видел, что родители за нее всегда беспокоились.

Когда Сандра не вернулась и в три ночи, мама страшно рассердилась. Папа шепотом успокаивал ее, говорил, что у них, наверное, интересная компания, что они забыли о времени.

Когда стало рассветать, мама не удержалась и набрала номер телефона Пьера. Никто не ответил. Она звонила все утро. Около девяти утра нам позвонил Ян ван Баарле и Спросил, не знаем ли мы, где Пьер. Немного позднее мы позвонили Сандре в больницу, чтобы узнать, где она была, но оказалось, что она не приходила на работу.

— И все же обращаться в полицию опасно, — с беспокойством сказал папа.

— Надо попросить это сделать Яна ван Баарле, — предложила мама.

Но его не оказалось дома. Тогда мама позвонила Биллу Хорману и попросила навести справки у комиссара полиции. Билл немедленно связался с комиссаром и через четверть часа сообщил нам, что Сандра и Пьер в тот вечер были задержаны в гостях у англичанина, адвоката Саундерса. Шпики из Особого отдела сделали налет на дом в поисках каких-то документов.

— Антони Саундерс когда-то был консулом в

Гонконге, — объяснил Билл, — и его подозревают в связях с китайскими коммунистами. В тот вечер у Саундерса была вечеринка, и, когда агенты Особого отдела вошли в комнату, Пьер и Сандра танцевали, прижавшись щекой к щеке. А в Особом отделе, как вы знаете, этого не любят. Я попытаюсь увидеться с Пьером сегодня же. А ты, Давид, пойди к пастору Вайту, он священник тюрьмы, где находится Сандра, и от моего имени попроси его помочь поговорить с ней.

С помощью пастора Вайта, доброго старого миссионера-ирландца, нам с мамой разрешили повидать Сандру. Нас ввели в большое помещение, разделенное решеткой на две половины. По обе стороны решетки стояли ограды, не позволявшие подойти к решетке вплотную. Немного погодя привели Сандру. На ней было грубое серое тюремное платье. Сандра плакала.

— О, мама, мне так жаль... — всхлипнула она, подходя к ограде.

Мама стала успокаивать ее:

— Папа уже был у Стенхоупов и просил их помочь. А мы пойдем к епископу Традеру.

К епископу пошел я. Этого кроткого, глубоко порядочного старика власти давно бы выставили из страны, если бы он не был так стар и так лю-

бим в народе.

Принял он меня в бедно обставленной келье, заменявшей ему кабинет.

— Все меньше и меньше остается господ, — с горечью признался мне епископ, — которые разговаривают со мной любезно, но все же такие найдутся. — И он сразу же принялся звонить разным высокопоставленным чиновникам Претории.

Первые двое от него холодно отделались. От третьего он получил неопределенное обещание, а четвертый, из магистрата, прямо сказал, что ничем не может помочь. После долгих попыток епископ дозвонился до пятого, который пообещал срочно урегулировать дело.

По просьбе папы Стенхоупы тоже звонили всюду, куда могли. А от Билла Хормана мы узнали, что он попросил одного из муниципальных советников лично вмешаться в дело Сандры и Пьера. День прошел в страшном напряжении. Наши соседи и родные волновались вместе с нами.

И вдруг поздно вечером мы услышали по дорожке к террасе знакомые шаги. Папа и мама вскочили, дверь открылась, и Сандра бросилась в их объятия.

Час спустя освободили Пьера, и он сразу же

пришел к нам. Он был бледен, на лбу красовалась шишка, а нижняя губа распухла. Пьер сказал, что его выставляют из страны.

Сандра бросила на него испуганный взгляд. Но прежде, чем она успела что-либо произнести, Пьер обратился к родителям:

— Мама Пондо, господин Тугела, я понимаю, что сейчас неподходящий момент для сватовства, но у меня очень мало времени. Я прошу у вас руки Сандры. Я люблю ее и буду очень счастлив, если вы позволите ей быть моей женой. Мы не сможем жить в ЮАР, но я думаю поселиться в Родезии. Это не дальше отсюда, чем Дурбан. Граница охраняется слабо. А в горах у реки Лимпопо, говорят, ее и вовсе практически нет. Мы сможем тайно приходить друг к другу в гости.

Он взял Сандру за руку, подошел к маме и папе и просительно сказал:

— Мама Пондо, господин Тугела! Разрешите, пожалуйста! Мы будем писать вам каждый день. Я обещаю, — и улыбнулся.

У мамы глаза наполнились слезами. Она была счастлива. Счастлив был и папа. Он пожал Пьеру руку и произнес:

— Это для нас большая честь.

Пьер ответил:

— Здесь наш брак никто не зарегистрирует. Но это не важно. В любом другом месте мира это сделают с удовольствием. Мы найдем такое место.

Он повернулся ко мне и сказал:

— Давид, если ты днем открыто обвенчаешь нас в своей церкви, тебя отправят в тюрьму. А вечером все церкви закрыты. Но как-то ты говорил, что священник протестантской церкви Христус-Конинг твой большой друг. У него ведь есть ключ от церкви?

Сандра с надеждой посмотрела на меня.

— Ну как? — спросила она.

Глаза ее светились такой надеждой и счастьем, что я не выдержал и воскликнул:

— Я сделаю это! Да, да!

В доме поднялась суматоха. Известие о том, что Сандра сегодня вечером тайно венчается с Пьером, с быстротою молнии облетело всех соседей. Священник церкви Христус-Конинг охотно согласился мне помочь. И когда часом позже, взволнованный и радостный, я вошел в церковь, там уже негде было яблоку упасть.

Повсюду виднелись счастливые возбужденные лица. Из предосторожности мы зажгли только две лампы. И вот появился жених с Биллом Хорманом и Яном ван Баарле. Ян по этому торжественному

случаю был чисто выбрит и одет не в старый свитер и вельветовые брюки, а в темно-синий костюм, в котором мы его едва узнали. Они подошли и встали слева от нас. Тут появилась Сандра под руку с папой. На ней было платье кремового цвета, а на папе светлый костюм. О, как она была хороша и как походила на папу!

За ними, словно королева, в черном платье с кружевами шествовала мама под руку с Томом, а за ней вся родня.

Церковь была набита до отказа, всем хотелось пробраться поближе к алтарю. Под ногами шныряли оживленно перешептывающиеся ребятишки.

Я увидел, как Пьер шагнул к Сандре и преподнес ей небольшой букет белых гвоздик. Когда они встали передо мной, глаза у меня словно застлал туман, и во время всей службы я видел новобрачных, как сквозь дымку.

Дрожащим голосом я задал им вопросы и услышал в ответ «да». Когда Сандра и Пьер обменялись кольцами — это были кольца папы и мамы, — все, кто был в церкви, бросились к новобрачным. Люди целовали Сандру, пожимали руку Пьеру. А потом, стараясь соблюдать осторожность, каждый из родственников пригласил Сандру и Пьера

в свой дом, чтобы пожелать им счастья и вручить подарки. Праздник длился до самого утра, а днем молодые уехали в Родезию.

Несколько дней спустя от них пришло первое письмо. Сандра писала, что благополучно переехала границу на автобусе, а Пьер на машине, за которой до самой Родезии неотступно следовала полиция.

На первой же остановке, по ту сторону границы, Сандра вышла из автобуса, пересела в машину Пьера, и они поехали в Солсбери.

На следующий день она написала нам уже из Солсбери, что Пьер занят хлопотами об оформлении гражданского брака, а затем они поедут в свадебное путешествие в Европу.

И тогда мы затосковали. Мы все же надеялись, что изредка будем видеть Сандру, как обещал Пьер. Но эта надежда оказалась иллюзорной. Никогда уже не увидим мы, как она, красивая и элегантная, входит в дом. Или сидит в розовых брюках на софе с книгой, подтянув колени к подбородку. Или, приложив радиоприемник к уху, слушает музыку. Сандра никогда не включала приемник громко. Она именно так любила слушать музыку.

Нам всем не хватало ее, но особенно — папе. Он

стал молчаливее, чем обычно. Но мы были рады, что Сандра счастлива, что она свободна.

Опасения мамы оправдались. Несколько дней спустя АНК распространил листовки с сообщением, что повсюду беспорядки были вызваны подкупленными провокаторами. В четырех местах были получены достоверные доказательства этому, а в двух других — опознаны сами провокаторы, которых полиция оплачивала и специально привозила. «Будьте осторожны, — предостерегал АНК, — ведь провокаторы — черные».

Несколько позже в газетах появилась статья доктора Иллово. «Случилась очень печальная вещь», — писал он и настойчиво просил ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не поддаваться на провокации и не применять силы.

> «Не присоединяйтесь к акциям насилия, — призывал он. — Сохраняйте спокойствие сами, успокаивайте других. Выявляйте лиц, затевающих бесчинства. В каждом случае старайтесь установить, кто первым выкрикнул оскорбительное слово, первым кинул камень. Держите под контролем молодежь, особенно самых юных. Беспорядки возникают в

первую очередь там, где собирается много молодежи. Особенно это опасно, когда молодые люди оказываются в нетрезвом состоянии. Не участвуйте в беспорядках, — убеждал он, — что бы ни произошло. Заметив группы возбужденных людей, сообщайте о них руководителям демонстрации».

Далее доктор Иллово писал, что наша кампания неповиновения имела большой резонанс в мире.

«Те, кто ранее колебался, — писал он, — видя наши миролюбивые выступления, теперь с воодушевлением мечтают к нам присоединиться. Об этом пишут газеты всего мира, наше правительство в панике. И вот оно избрало новый метод борьбы с нами. Оно решило спровоцировать нас на террор и этим скомпрометировать АНК в глазах участников нашего движения и оправдать собственный террор. Но этот номер у них не пройдет. АНК не имеет никакого отношения к кровавым уличным дракам. Наш Исполнительный комитет осуждает их и делает все для предотвращения подобных инцидентов.

Помогайте нам в этом. Не позволяйте провокаторам втягивать вас в преступные действия!»

Так писал доктор Иллово. В ответ правительственные газеты разразились потоком злобных, крикливых статей о «варварских ордах», которые хотят захватить всю страну и насадить в ней «коммунизм и анархию». А между строк ясно читалась неприкрытая радость, такая же, как была на лице у пастора Регтерса, когда он открыл нам с мамой дверь и с поклоном пригласил войти в дом.

Руководство АНК разослало своих представителей повсюду, где имели место беспорядки. Везде, где африканцы вступили в конфликт с белыми, представители конгресса сами обратились к полиции с просьбой провести расследование.

И тут стало совершенно очевидно, что беспорядки начались не стихийно — власти отказались вести расследование. Они также отказались отдать под суд зачинщиков. Это ни к чему, говорили они. Ведь главные виновники уже задержаны во время наведения порядка.

Тогда АНК представил доказательства, что в происшедших беспорядках повинны не за-

держанные, а совсем другие лица. Но полиция отказалась рассматривать эти документы и не захотела слушать свидетелей.

Министр заявил, что рассмотрение подобных дел в открытом судебном заседании предоставило бы трибуну «безответственным агитаторам».

Все это выглядело так лицемерно и подло, что мы спрашивали себя: да может ли вообще быть такое?

Но тут подошел день проведения демонстрации в Парктауне, рассеявший все сомнения.

ГЛАВА IV

Настало время немного подробнее рассказать о моем брате Томе. Все, кто общался с ним, знали, что это смелый и честный человек. Но жилось ему нелегко. Судьба не одарила его ни особенной красотой, ни способностями, зато не поскупилась наделить недюжинной физической силой. Он укладывал на лопатки не только всех своих сверстников, но даже профессиональных борцов. Если в доме требовалось поднять что-нибудь тяжелое, звали Тома. Ему это льстило, но он делал вид, что недоволен, и сердито бурчал.

Том был великолепным гончаром. Сложные изделия поручали только ему. Он сам изготовлял новые модели сервизов. Они прекрасно удавались ему и пользовались большим спросом у клиентов. Работа доставляла Тому удовлетворение, и я думаю, что он был бы доволен жизнью, если бы не один врожденный недостаток, от которого, несмотря на его собственные огромные усилия и помощь родителей, он так никогда и не избавился. Том заикался. Правда, не всегда. Когда он бывал спокоен, с ним можно было проговорить два часа и не заметить этого. Но стоило ему

разволноваться, и недуг давал себя знать. Как Том ни старался, он не мог выговорить слова с буквой «к», «п» и «т». Пот выступал у него на лбу, лицо багровело, а злополучные слова застревали где-то в горле.

Том работал без устали за троих. Иногда, наблюдая, как он усердно трудится, невольно возникала мысль, что он мстит жизни за то, что она его обидела. Работал Том так, словно вел бой. В его упорстве было что-то разрушительное. Когда он пытался с присущей ему настойчивостью преодолеть заикание, это приносило только вред. Папа годами терпеливо внушал ему:

— Не надо стараться во что бы то ни стало выговорить трудное слово. Надо помолчать чуть-чуть, а потом начать фразу с другого слова.

Обычно такие беседы велись вечерами. Папа приходил к Тому, брал его за руку, и они подолгу разговаривали. Но на следующий день без папы все опять шло по-старому. Том ненавидел свое заикание. Боролся с ним изо всех сил, но чем больше старался, тем недостаток становился заметнее.

По-моему, в этом была одна из главных причин его вспыльчивости и резкости, которые частенько приводили к ссорам. Он был очень несчастен,

но никогда никому не жаловался. Когда ему хотелось поделиться с кем-то своей бедой, он начинал нервничать и заикаться. Поэтому Том больше молчал. Он был очень одинок. Я уверен, что Том любил и папу, и маму, и всех нас, но никогда этого не показывал. По тем же причинам у него было мало друзей и он так и не женился. А ведь ни одной девушке из тех, кажется шести, которых ему сватала мама, не найти мужа преданнее и благороднее Тома.

В детстве почему-то считалось само собой разумеющимся, что когда мы с чем-нибудь не справлялись, а папа отказывался помочь, нам на помощь приходил Том. Он чинил наши велосипеды, выстругивал для нас пистолеты, мастерил игрушки. Позже, когда он уже начал работать, мы, бывало, забегали к нему в мастерскую. И у него всегда было припасено для нас яблоко. Отложит работу, пороется у себя в кармане и протянет яблоко.

Тогда мы не ценили этого, просто радовались вкусному яблоку, съедали его и убегали играть, беззаботные, как все дети. А вот теперь, спустя много лет, я не могу без горечи и тоски вспомнить об этом. Теперь-то я понимаю, что таким образом он выражал нам свою любовь. Как жаль мне

сейчас, что мы не ценили этого, убегали играть, получив свое яблоко.

Не знаю, что заставило Тома в тот день пойти в Парктаун. Участвовать в демонстрации должен был не он, а я. По-моему, накануне он туда совсем не собирался. Во всяком случае, никакого разговора об этом не было.

Думаю, что решение к нему пришло внезапно. Видимо, он надеялся обнаружить там провокаторов и обезвредить их. Добрый, храбрый Том… Он оказался беззащитным, как дитя.

Как бы я хотел, чтобы он не ходил туда, и, может быть, ничего бы не случилось.

По плану я с группой молодежи должен был из Софиатауна поехать в Парктаун и там на баскетбольной площадке для белых провести матч.

Парктаун — самый аристократический район Йоханнесбурга, застроенный фешенебельными домами, виллами и дорогими отелями. Все это, конечно, только для белых. Во все времена правительство строго следило за тем, чтобы этот район оставался чисто «белым». Без специальной справки о необходимости пребывания там черные не имели права появляться около вилл Парктауна даже днем. Нет справки, тебя схватят и выдворят в Софиатаун, где бы ты ни жил. А дальше доби-

райся, как сам знаешь.

В Софиатауне об этом было известно каждому, и мы считали, что появление на большой площади в самом центре аристократического района группы черной молодежи, которая затем проведет матч на баскетбольной площадке белых, произведет большое впечатление. Для этого отобрали тридцать человек. В том числе двенадцать из спортивного клуба колледжа святого Эдварда. Судить матч поручили мне. В Парктаун нас должны были привезти автобусом. А играть мы решили на спортплощадке неподалеку от торгового центра.

Добраться до Парктауна несложно. Рядом с площадью проходит Оксфордлаан, по которой автобусы идут один за другим. Мы договорились с одним белым владельцем автобуса. От нас требовалось лишь одно — сидеть на полу, чтобы все думали, что автобус пустой. Ну, а прибыв на место, мы должны были быстро пересечь площадь и расположиться на спортплощадке.

Где она точно находится, нам заранее рассказали. Было решено, что как только мы окажемся на месте, туда подойдут наши болельщики. Они будут наблюдать за матчем и подбадривать игроков.

По дорогам Парктауна, в том числе и по главной магистрали — Оксфордлаан — черным разрешалось ездить на велосипеде и ходить пешком. Поэтому днем их там можно было нередко встретить. Однако они не смели без надобности самовольно приближаться к виллам белых.

Мы надеялись, что болельщикам удастся добраться до спортплощадки вовремя.

Несмотря на то, что события в Нью-Брайтоне и Ист-Лондоне нас очень тревожили, мы собрались в четыре часа дня на окраине Софиатауна в самом приподнятом настроении. Мы были молоды, некоторые из нас уже участвовали в демонстрациях и отсидели за это. Но большинство принимали первое крещение. Мы чувствовали себя, словно школьники, замышляющие проказу.

На участниках игры были спортивные костюмы. Мы прихватили с собой несколько мячей, и ребята рвались начать разминку прямо по дороге от Софиатауна к Вестдене. Мне стоило большого труда удержать их.

Автобус подошел без опоздания. Нам удалось войти в него и рассесться на полу между скамьями, не обратив на себя внимания. Вторая часть группы — скауты из Африканских западных при-

городов — ждала нас на углу Пертлаан. Они тоже сумели погрузиться в автобус незаметно. Владелец автобуса, англичанин, сам сидел за рулем. Подобные рейсы он выполнял уже не впервые. Без всяких осложнений мы доехали до Эмпирелаан, а затем выехали на Оксфордлаан. Владелец автобуса заранее разузнал дорогу и место, где нас нужно высадить в Парктауне.

Народа на площади было много. Люди прогуливались, заходили в магазины за покупками.

У кинотеатра, собравшись стайками, о чем-то болтали юноши и девушки. На скамейках под деревьями сидели почтенные пары. Площадь была большая, и мы видели только часть ее. Примостившись на корточках между сиденьями, мы переговаривались шепотом. Глаза у всех блестели. Нас веселила мысль, что белые на площади не обращают внимания на наш автобус, считая его пустым.

— Здесь! — крикнул водитель и затормозил.

Мы с такой поспешностью выскочили из автобуса, что некоторые растянулись на мостовой. Сразу завернув за здание библиотеки, ребята дали возможность нашему автобусу благополучно скрыться и, построившись в две шеренги, бегом устремились через площадь к спортплощадке.

Я заметил, что люди, мимо которых мы пробегали, смотрели на нас с изумлением. Дети перестали играть, две пожилые дамы, расположившиеся на скамье, с криком вскочили с места. Наших ребят все здесь поражало. Словно дети, которые не в силах оторвать глаз от витрин с игрушками, они с восхищением взирали на роскошные особняки и шикарные автомобили. Вид аристократического района ошеломил их, они притихли и сконфузились. Строй смешался, и игроки не сразу заняли свои места на спортплощадке.

Подав сигнал к началу матча, я заметил, что две женщины, которых мы испугали своим появлением, стоят в толпе мужчин и о чем-то возбужденно говорят.

Неужели наш вид так их напугал? Ведь у наших ребят вполне интеллигентная внешность.

Взять хотя бы Пинки. В автобусе он с гордостью сообщил нам, что успешно сдал экзамен на бухгалтера и уже принят на работу в большой фруктовый магазин. Или Тима. Он работает в гараже своего дяди и мечтает стать гонщиком.

Вряд ли их мог напугать и Мунго, наш бегун. По вечерам и в выходные дни он упорно тренируется и в соревнованиях занимает призовые места.

Специалисты говорят, что он может стать чемпионом страны. Одно плохо — ему приходится работать в глубокой шахте, где от сырого воздуха мышцы теряют упругость.

И уж меньше всего можно испугаться Као, рабочего нашей мастерской, который любит музыку и поет с утра до вечера, и Хенка Намакаве, которого не оторвешь от книг. Он все время читает, отчеркивает интересные страницы, чтобы потом просмотреть их еще раз.

Наконец ребята побороли растерянность и игра началась. В это время по Оксфордлаан к спортплощадке стали подходить и подъезжать на велосипедах толпы наших болельщиков. Они окружили спортплощадку и принялись весело подбадривать игроков.

Народу все прибывало и прибывало, и вскоре яблоку негде было упасть. Это произошло так быстро, словно по мановению волшебной палочки. Присутствие болельщиков придало игрокам смелости. Любо-дорого было смотреть, как азартно они играют и как темпераментно реагируют на игру зрители. Во всем этом не было ничего демонстративного, ничего враждебного. Люди целиком отдались спортивному увлечению.

Мне кажется, никто из игроков не обратил вни-

мания, что белые столпились около универмага и со страхом смотрят на нас. Наверняка никто не заметил, что матери увели с площади детей.

И вот на площади друг против друга оказались две группы: на спортплощадке мы, черные, а на почтительном расстоянии от нас перепуганная толпа белых.

Я был рад, что белые сгрудились на другом конце площади, и надеялся, что они не сдвинутся с места, пока полиция не заберет нас, чтобы отправить в тюрьму.

Может быть, все так бы и произошло, если бы полицейские приехали сразу. Но время шло, а их все не было. Я уже стал нервничать, куда же они запропастились?

В таком оживленном месте не может не быть полицейских агентов, и они давно уже должны были вызвать подкрепление.

Тут от толпы белых отделилось несколько молодых людей и направилось в нашу сторону. Они остановились в нескольких шагах и молча стояли и смотрели на нас.

Мне это не понравилось. Уж слишком близко они расположились. Я забеспокоился еще больше, когда увидел, что к ним направляется еще группа молодежи. И вскоре они уже окружили

нас со всех сторон.

Здесь меня осенила страшная догадка: «А не умышленно ли отсутствует полиция?» Я знал, что студенты университета Стелленбос являются опорой апартеида. Они приняли недавно манифест, призывающий белую молодежь к борьбе против «негризации страны». Заправляет ими профессор Фервурд.

«Если власти ленивы или слишком трусливы, чтобы поставить черных на место, — гласил манифест, — то мы, молодежь, должны сделать это вместо них». И уже во многих городах белые студенты проводили акции в ответ на демонстрации черных.

Хоть бы скорей за нами приехала полиция, думал я. Пока никто из них или из наших не затеял ссоры.

А белые все подходили. У меня исчезло всякое сомнение, я понял, что полиция отсутствует намеренно. Она давно уже должна была быть здесь.

Обливаясь потом, я бессмысленно метался по полю между игроками.

Около универмага остались только женщины да несколько стариков. Остальные белые обступили нас плотной толпой.

Наши игроки тоже заметили это, и я увидел,

что они с тревогой и страхом поглядывают на меня. Я попытался им ободряюще улыбнуться и подал знак продолжать игру. И тут вдруг мы услышали крики. На углу спортплощадки, где стояла группа белых ребят, подошедших первыми, началось какое-то движение, белые и черные перемешались. Один из них упал, и вслед за этим раздался вопль женщины.

Я бросился туда и увидел, как черный парень в джинсах и лиловой рубашке схватил белую девушку и стал срывать с нее юбку. Этот парень мне был незнаком. Я никогда его раньше не видел. Другой черный подскочил к нему и сбил ударом кулака. Оба упали, увлекая за собой девушку.

— Перестаньте! Прекратите драку! — кричал я не своим голосом.

Задыхаясь, я попросил какую-то женщину дать девушке, которая осталась в блузке и трусиках, пальто, а сам кинулся разнимать дерущихся.

К своему ужасу, я увидел, что черный, который ударил хулигана в лиловой рубашке, был моим братом Томом.

— Том, Том, во имя неба, что ты здесь делаешь? — кричал я испуганно. — Сейчас же прекрати! Встань! Том, встань!

Оба вскочили. Парень в лиловой рубашке был

молодым и ловким. Он вырвался из рук Тома и толкнул его. Том упал на девушку, которая плакала, стоя на коленях.

Несколько белых ринулись к Тому. Наши ребята стали защищать его. И тут появились полицейские. Они выстрелили в воздух, и толпа кинулась врассыпную. Я упал и видел только ноги бегущих. Кто-то сильно ударил меня по спине. Когда я поднялся, белые, напавшие на Тома, стояли неподалеку, а Том лежал рядом с девушкой, которая пыталась встать на ноги. Полицейские, увидев, что она полураздета, подали ей порванную юбку.

Я попытался объяснить, что произошло. Ко мне присоединились два наших парня из Комитета обеспечения порядка. Но полицейские принялись избивать нас дубинками, а Тома в бешенстве пинать ногами.

— Нет! — закричал я в диком страхе. — Он этого не делал! То был другой! А этот пытался его задержать.

Меня ударили по голове, и я повалился навзничь. В глазах потемнело от боли. Я пытался подняться, но не смог: на меня упал сбитый с ног один из членов комитета.

Том судорожно старался защитить руками голову. Девушку уже подняли, какая-то жен-

щина укутала ее в свое пальто. Я встал и снова закричал:

— Это не он сделал! То был совсем другой парень. Мы не знаем его, он не имеет к нам никакого отношения. А это мой брат. Он вступился за девушку!

Но полицейские ничего не хотели слушать. Тогда я обратился к толпе:

— Пожалуйста, помогите… Подтвердите, что это сделал не он. Вы ведь видели, другой парень напал на девушку. Он был в лиловой рубашке.

Никто мне не ответил. Я искал кругом, но парень в лиловой рубашке исчез. Я бросился к девушке и стал умолять ее:

— Скажите хоть вы! Ну, пожалуйста. Ведь вы же видели, это был совсем другой… Подтвердите, я умоляю вас!

Женщина, давшая девушке пальто, с криком оттолкнула меня и заслонила девушку. Том лежал на земле, скрючившись и охватив руками голову, и стонал.

Я умолял белых, стоявших вокруг, объяснить полиции, что произошло недоразумение. Но они с каменными лицами молча смотрели, как полицейские, словно тряпичную куклу, пинали Тома ногами.

Я подумал, что, может быть, когда полиция открыла огонь, толпа смешалась и эти белые действительно ничего не видели и убеждены, что Том набросился на девушку. Два члена Комитета обеспечения порядка, видимо, тоже думали, что он виновен. Я слышал, как они говорили полицейским, что «этот человек» — то есть Том, — не участник демонстрации и что АНК не несет ответственности за его поведение.

Я стал объяснять им, как было дело, но тут полицейские подняли Тома и поволокли. Голова его была в крови, лицо распухло до неузнаваемости. Стоять он не мог. Полицейским пришлось его поддерживать. Я метался от одной группы белых к другой и кричал:

— Кто видел, как все было? Пожалуйста, помогите! Умоляю, скажите. Этот человек невиновен. Он пытался защитить девушку!

Меня схватил за руки полицейский и потащил к огромному грузовику, стоявшему неподалеку под деревом. В него заталкивали всех игроков. Тома швырнули в небольшой автобус, который стоял в стороне. Я умолял полицейского, державшего меня, разрешить поговорить с Томом.

— Он не виноват, — твердил я. — Напал на девушку другой человек. Он был одет в джинсы и

лиловую рубашку.

Полицейский, здоровенный дюжий блондин, упорно молчал.

— Я же все видел, — торопливо повторял я. — Я был рядом. Там было много белых. Пожалуйста, допросите их. Поторопитесь, пока народ не разошелся. Спросите их, как был одет парень, напавший на девушку. Спросите… Они подтвердят, что это был молодой парень в лиловой рубашке. Ну посмотрите же, этот, которого вы арестовали, одет в темно-серый костюм. Вы ошиблись. Пожалуйста, допросите, допросите людей, пока еще не поздно. Потом искать свидетелей трудней. А сейчас они здесь… Ну, пожалуйста! Пожалуйста!

Мы подошли к грузовику, и полицейский закинул меня в машину, как мешок, Я пытался убедить других полицейских, которые заталкивали наших ребят в кузов, поговорить с офицером. Но никто меня не слушал. Набив кузов до отказа, полицейские захлопнули задний борт, и в сопровождении двух конвоиров с автоматами грузовик тронулся.

Нас всех посадили в одну камеру. Сюда же попали несколько зрителей, молодых парней в спортивных свитерах. Их по ошибке тоже приняли за участников демонстрации. Остальных

зрителей полицейские разогнали дубинками.

Камера была рассчитана на двенадцать человек. А нас было тридцать два. Только несколько человек могли лежать, остальные сидели на корточках, прижавшись друг к другу. С четырех сторон нас окружали серые бетонные стены. На одной из них под потолком светлело небольшое, забранное решеткой окно. На полу вдоль стены был постелен тонкий слой соломы.

Мы лежали по очереди, то одни, то другие. Спали сидя, упершись друг в друга спинами. Но самое страшное было то, что нам не хватало воздуха, и в первые дни мы задыхались от духоты. Потом привыкли. При аресте полицейские так избили девятнадцать человек, что у них были открытые раны. Но никакой медицинской помощи они не получали.

В камере нас обыскали два надзирателя, здоровенных грубых парня. Все, что было у нас мало-мальски ценного, перекочевало в их карманы. На мои просьбы прислать врача или хотя бы фельдшера они не обращали никакого внимания.

Ночью, когда большинство ребят спало, Као сказал мне шепотом:

— Мне очень хотелось бы чем-то помочь ваше-

му брату Тому.

Черный, как вакса, Као был милым, добрым парнем. Он работал вместе с Томом в нашей мастерской и хорошо знал брата. Мне кажется, Као был одним из немногих, кто прекрасно ладил с Томом. Я часто видел, как, сидя за гончарным кругом, они оживленно болтали, и Том улыбался. А это с ним случалось редко. Као, как и Том, тоже был хорошим гончаром. Они вместе придумывали новые составы глины и формы изделий и часами с увлечением обсуждали их. Као как-то сказал мне, что, разговаривая с ним, Том никогда не заикается.

Как только мы попали в тюрьму, я все время пытался помочь Тому. Я знал, что он погибнет, если мне не удастся что-то сделать для его спасения. Белые приходили в бешенство, когда дело касалось их женщин.

Как страшные кошмары их преследовало видение, будто толпы черных нападают ночью на города, убивают мужчин, поджигают дома и непременно насилуют женщин.

Когда мне не удалось через надзирателей сообщить родителям о случившемся, я попросил разрешения поговорить с директором тюрьмы. Очень осторожно и деликатно я попытался рас-

толковать надзирателю, что по конституции нам не запрещено общаться с внешним миром. В ответ надзиратель так ударил меня связкой ключей по лицу, что я потерял сознание и очутился в углу под окном с мокрой тряпкой на лбу. Ребята смастерили из своей одежды какое-то подобие подушки и подложили мне под голову.

На следующий день, когда надзиратель открыл дверь, чтобы передать нам паек — десять буханок хлеба на всех, — я увидел в коридоре человека в темном костюме с Библией в руках и догадался, что это тюремный священник. Я успел крикнуть ему, что я пастор и хочу с ним поговорить.

Он остановился и, как мне показалось, не очень дружелюбно посмотрел на меня. У него была типичная внешность бура: короткая шея, большая голова и маленькие светло-серые глазки. Он подошел поближе и спросил:

— В какой церкви вы служите?

— В церкви при колледже святого Эдварда.

Я торопливо рассказал ему, что произошло на спортплощадке. Он слушал с плохо скрываемым раздражением.

— Пожалуйста, узнайте у начальника тюрьмы, — умолял я его, — не здесь ли находится мой брат, и позвоните, пожалуйста, родителям. Я дам

вам номер телефона.

— У вас есть дома телефон? — спросил он недоверчиво.

— Да, мой отец гончар. Мы живем в Софиатауне.

Я несколько раз повторил номер телефона, чтобы он не забыл, чем еще больше разозлил его.

— Нечего долбить одно и то же, — буркнул он, уходя.

Через четверть часа пришли две медсестры и перевязали раненых. Троих отправили в лазарет. Потом они принесли чай.

Все это придало нам мужества. А вскоре явился надзиратель и отвел меня к начальнику тюрьмы.

Начальник тюрьмы, отлично одетый господин с голубыми глазами и гладко зачесанными назад светлыми волосами, сидел за большим столом. Рядом с ним стоял священник. Мне пришлось еще раз повторить свою историю. Потом начальник сделал знак, чтобы меня увели.

Я был взволнован и рад. Хотя начальник тюрьмы ничего не обещал, но он не стал бы слушать меня, если бы мне не верил.

Потом в камеру снова явился надзиратель и отвел меня в комнату для свиданий. Посередине

комната была перегорожена решетками, отделенными друг от друга не меньше чем на два метра. Мне разрешили сесть по одну сторону решетки, а с другой стороны в комнату вошел пастор Тревор вместе с моими родителями.

От радости я не смог сдержать слез.

— Тюремный священник был так добр, что позвонил нам, — начал папа. — А пастор Тревор добился свидания с тобой.

Пастор Тревор, высокий, сутулый человек с усталым лицом, ободряюще кивнул мне.

— Мы были очень обеспокоены, когда Том вчера не вернулся домой, — продолжал папа. — Расскажи, что с ним случилось. Священник сообщил так мало.

Как только я закончил рассказ, мама воскликнула:

— Свидетели! Мы должны найти свидетелей.

Папа кивнул.

— Прежде всего тех, кто был рядом с девушкой, кто видел, как на нее набросился парень в лиловой рубашке.

— Да-да! — закричал я обрадованно. — Я сделал все, чтобы убедить полицейских допросить свидетелей, но они меня не послушали.

— Времени у нас в обрез, — сказал папа. — Дела

об изнасилованиях белых женщин рассматриваются без отлагательства, но я попрошу следователя отложить дело Тома. А мы тем временем поедем в Парктаун, попытаемся разыскать людей, которые все видели, и попросить их быть свидетелями.

— Поезжайте немедленно, — сказал я. — О нас не беспокойтесь, главное — спасти Тома. Вы уже знаете, где он находится?

— В этой же тюрьме, — ответил пастор Тревор. — Но к нему нас не пустили. Не будем терять времени. Я сейчас же отправлюсь к следователю и постараюсь добиться, чтобы дело пока не передавали в суд. И тоже попрошу своих белых друзей помочь найти в Парктауне свидетелей, ведь черным вход в Парктаун запрещен.

— Но там много черных слуг, — сказала мама. — Они все видят и слышат. Они вхожи в дома белых, правда, с черного хода, но это дела не меняет.

— Да, это прекрасная идея, — обрадовался пастор Тревор. — Если вам удастся таким путем что-нибудь разузнать, это очень поможет.

— Дочери Тегги Сики работают в Парктауне, — заметила мама. — Сын Питера Матсоло тоже. Он садовник. А дочь Харриет Стюарт работает в гостинице. Пойдем, Джон, за дело!

Они ушли. Я с волнением смотрел им вслед. У меня появилась надежда. Я был уверен, что они разыщут нужных нам свидетелей. Разыщут их во что бы то ни стало. Весь вопрос когда. Следователь мог не согласиться на отсрочку дела.

На другой день вечером медсестра принесла нам чай, раздала шоколад и печенье. Она объяснила, что это пожертвование благотворительного общества английских дам.

Мне удалось заговорить с этой медсестрой. Она оказалась более благожелательной, чем другие, и я попросил ее позвонить пастору Тревору и узнать, уговорил ли он следователя отсрочить дело Тома.

Но когда я начал рассказывать сестре все подробности событий на площади, надзиратель услышал наш разговор и приказал мне замолчать. И все же я успел рассказать сестре о Томе, когда она пришла за пустой посудой. Девушка взглянула на меня испуганно и спросила:

— Вы имеете в виду сильно избитого человека, который заикается? Он одет в серый костюм?

— Да-да. Это он. Вы знаете, в какой камере он сидит?

— Это ваш брат?

— Да! Передайте, пожалуйста, ему привет и ска-

жите, что в тюрьму приходили родители и пастор Тревор. Скажите, что они делают для него все возможное. Пусть он не беспокоится. Произошло досадное недоразумение… Но все будет хорошо.

— Не знаю, смогу ли я это сделать, — заколебалась девушка. — Он ведь в карцере. Там нет окон. И обычно туда никого не пускают. Я только видела, как его принесли. Я думала, что это ваш руководитель и поэтому его так избили.

Тут в камере появился надзиратель, и мы умолкли. Но, уходя, девушка кивнула мне, дав понять, что попытается исполнить мою просьбу.

Хорошо, если Том получит от нас весточку, думал я. Это его подбодрит. Но ведь прошло уже два дня, и до сих пор нет никаких известий ни от пастора Тревора, ни от родителей.

Вечером я услышал в коридоре голос медсестры. Она говорила надзирателю, что ей необходимо сменить повязку у меня на голове. На левом виске у меня действительно зияла глубокая рана от удара связкой ключей.

Надзиратель впустил сестру в камеру. Видно, ему было неприятно смотреть на мою рану — дело его рук.

— Мне удалось поговорить с вашим братом, — шепнула мне девушка.

— Как он себя чувствует? — спросил я нетерпеливо.

— Боюсь, что не очень хорошо. Он… он не может двигаться. Его, наверное, били по спине?

— Он парализован? — спросил я испуганно.

— Я думаю, что нет. Надеюсь, это пройдет. Я помогла ему чем можно. Но его хотят перевести в больницу. У него сильные боли. Я дала ему болеутоляющие таблетки. Если он будет принимать их через каждые три часа, ему станет легче.

— Вы сказали брату, что родители и пастор Тревор были здесь?

— Да. Он очень обрадовался. Он не может говорить, но он пожал мне руку.

— Не может говорить? — переспросил я пораженный.

В дверях вырос надзиратель, и сестра замолчала. Немного погодя он ушел, и она шепотом продолжала:

— Я сказала ему, чтобы он не терял мужества, что о нем беспокоятся, ему стараются помочь, но…

Сестра запнулась.

— Что? Что? — в страхе спрашивал я.

— Боюсь, что у меня для вас не очень хорошая новость.

— Ну, говорите уж…

— На пастора Тревора наложен домашний арест.

— О небо!

— Ему запрещено выходить из дому и принимать посетителей. Его задержали в Парктауне, когда он разыскивал свидетелей. Я разговаривала с одним из его помощников.

Надзиратель снова появился в дверях и закричал:

— О чем вы там шепчетесь?

На этот раз он не ушел, пока сестра не закончила перевязку. А потом выпроводил ее, не дав больше сказать ни слова.

— Что теперь будет? — спросил Као испуганно, когда надзиратель запер дверь. — Если даже ваши родители найдут свидетелей, которые видели парня в лиловой рубашке, как они свяжутся со следователем? И как сумеют поговорить с начальником тюрьмы? Черным вход повсюду запрещен.

— У папы с мамой есть друзья среди белых, — ответил я. — Надеюсь, мои родители уже знают, что пастор Тревор ничем не может нам помочь.

Вспыхнувшая было надежда снова померкла.

Это была страшная ночь, которой, казалось, не

будет конца. Меня не покидала мысль о Томе, который лежит один в темноте, истерзанный болью и страхом. Хорошо еще, что сестра побывала у него, перевязала раны. Теперь он знает, что родители приходили в тюрьму.

Я никак не мог заснуть, хотя понимал, что среди ночи никаких известий от родителей не получу.

Рядом со мной сидел Као. В темноте я его не видел, но чувствовал, что он тоже не спит.

— Утром непременно будут новости, — шепнул он мне успокаивающе. — Вот посмотрите. Найдут свидетелей — и Тома выпустят.

Я не знал, сколько дней ведется следствие, когда дело разбирается в спешном порядке. Но почему-то полагал, что дня три. И хотя все время убеждал себя, что времени на следствие может отводиться больше, голову сверлила страшная мысль.

«Завтра третий день. Если завтра не найдут свидетелей, будет поздно».

Вдруг через щель в двери я заметил, что в коридоре зажегся свет.

— Это не за нами, — прошептал Као. — Сейчас ночь.

Раздалось бряцание ключей, и сердце у меня чуть не выскочило из груди. Потом возле нашей двери послышались шаги.

— Есть новости! — воскликнул я с радостной тревогой. — Тюремщики еще никогда не приходили к нам среди ночи. Это может значить одно — есть хорошая новость.

Дверь открылась, и свет фонаря осветил камеру.

— Да, за тобой, — сказал надзиратель, увидев, что я встал.

Я осторожно направился к выходу, перешагивая через спящих.

Яркий свет в коридоре ослепил меня, и я не сразу заметил, что надзиратель был не один. Вглядевшись в его большеголового спутника, я узнал тюремного священника.

— Вы принесли мне хорошую новость? — спросил я возбужденно.

— Вы можете повидаться с братом, — сказал священник холодно. — Насколько я мог понять, он спрашивал о вас. У него распухло лицо, и он не может внятно говорить.

— О, благодарю вас! Благодарю вас! — твердил я, не помня себя от счастья. — Я так рад. С ним все в порядке?

— Успокойтесь, возьмите себя в руки, — сказал священник.

— Я всю ночь не спал, волновался. Как дела у

Тома? Его освободят?

Священник промолчал, Он сделал знак следовать за ним и направился по коридору, не говоря мне ни слова. Он выглядел мрачным и встревоженным. Но я не обращал на это внимания. Ведь я увижу Тома!

Сопровождаемые надзирателем, мы миновали три коридора, спустились по каменной винтовой лестнице, прошли еще один коридор и остановились у маленькой дверцы, которая так глубоко пряталась в толстых стенах, что, отпирая ее, надзиратель исчезал в нише.

Низкая железная дверь — войти в нее не сгибаясь было невозможно — медленно открылась. Надзиратель кивком головы разрешил мне переступить порог камеры.

— Десять минут, — буркнул он.

— Нет-нет! — резко возразил священник. Он взял надзирателя под руку, отвел в сторону и что-то принялся объяснять шепотом.

Я не стал ждать и шагнул в камеру. При свете, проникавшем из коридора, я увидел, как она мала — чуть побольше четырех квадратных метров. Потолок был выше двери всего на несколько сантиметров. Встать во весь рост в этом бетонном мешке было невозможно.

Я тщетно вглядывался в полумрак. Вошел надзиратель и поставил фонарь в углубление в стене, направив свет вниз. И тут я увидел Тома. Он лежал на полу. Его лицо было изуродовано до неузнаваемости. Обе руки перевязаны, шея страшно распухла, одна нога неестественно вывернута, на другой в разрезе брючины виднелась наложенная шина.

— Том! Том!.. — позвал я его, опускаясь на колени.

Распухшие веки задергались. Я передвинул фонарь, чтобы свет не падал ему в лицо. И тогда он попытался открыть глаза. Веки приподнялись и тут же опустились. Потом очень медленно он приоткрыл их чуть больше. Я увидел глаза, глаза Тома.

Обезображенное побоями лицо Тома можно было узнать только по глазам.

Они были красными и лихорадочно блестели. Однажды у него так же блестели глаза, когда он тяжело болел: лежал с высокой температурой и никого не узнавал.

— Том! — позвал я тихонько, взяв его за распухшую руку. — Я так рад, что меня пустили к тебе.

Том смотрел на меня испуганным взглядом.

— Это я, Давид. Ты узнал меня, Том? Я тоже сижу

здесь с нашими ребятами, в камере неподалеку отсюда. Мне разрешили навестить тебя. Тебе больно? Сестра сказала, что дала тебе таблетки.

Лицо Тома было неподвижно. Реагировали только глаза. Он смотрел на меня беспомощным взглядом.

— У меня для тебя есть хорошие новости, — торопливо говорил я, склонившись к его лицу. — Тебе уже, наверное, говорили. Был у тебя кто-нибудь? Мама и папа не теряли времени даром, они сделали все, чтобы доказать твою невиновность. Тебя скоро освободят, и мама вылечит тебя. Мы все будем рядом с тобой.

Том, пытаясь что-то сказать, с трудом приоткрыл рот. Распухшие губы треснули, и на них показались капли крови.

Он дышал с трудом. При каждом вздохе в горле что-то клокотало. А когда он попробовал поднять голову, дыхание совсем прекратилось.

— Нет-нет, лежи, Том. Я и так все услышу. Что ты хотел сказать?

Его губы снова дрогнули. Дыхание стало неровным, голова затряслась. Потом начали дрожать руки. И вот уже все тело била дрожь, из растрескавшихся губ сочилась кровь.

Внезапно, полный смятения, я понял, что Том

силится что-то сказать, но не может разжать губы. Так с ним бывало и раньше, когда он волновался, или сердился, или был чем-то напуган.

— О Том… не говори. Не надо волноваться. Я побуду здесь с тобой.

Но он судорожно пытался что-то сказать. Лицо его покрылось капельками пота. Распухшими пальцами он вцепился мне в руку.

— Перестань, Том, не надо! — повторял я. — Давай я буду задавать тебе вопросы, а ты отвечай «да» или «нет», и я пойму, о чем ты хочешь сказать. О том, как здесь с тобой обращаются?

Он отрицательно покачал головой.

— О том, что случилось в Парктауне?

Его дыхание участилось.

— Произошла ошибка, Том. Я думаю, что власти уже знают об этом и скоро отпустят тебя домой. Видишь, мне уже разрешили повидаться с тобой. Это хороший признак. Ведь в карцере навещать никого не разрешается. А я здесь.

Том опять покачал головой.

— Ты хочешь говорить о другом? О папе, о маме?

Он стал дышать спокойней.

— Они были здесь. Ведь ты знаешь об этом от медсестры. Их привел сюда пастор Тревор.

Из тюрьмы они сразу же пошли искать людей, которые видели, что не ты, а парень в лиловой рубашке набросился на девушку.

Он опять начал волноваться. Руки у него задрожали, по лицу потекли струйки пота.

— Ты хочешь сказать мне о чем-то другом? — спросил я его беспомощно. — Возьми меня за руку, если это так.

Том слабо пожал мне руку.

«Что? — думал я в отчаянии. — Что он хочет сказать?»

Торопливо я задавал ему вопрос за вопросом. Всякий раз, когда речь шла о нашей семье, доме, соседях, Том становился спокойней. Но стоило мне углубиться в подробности, как он снова начинал стонать и задыхаться, пытаясь что-то выговорить.

Вдруг я понял, что он плачет. То, что я поначалу принял за капли пота, были слезы, струившиеся по его щекам. Я вытер их. Беспомощный, неподвижный, он плакал с закрытыми глазами. О, этой картины мне не забыть до конца своих дней! Том лежал на полу маленькой мрачной камеры и изо всех сил пытался заговорить. Но как он ни старался, губы его не разжимались, и он плакал от бессилия.

Чтобы успокоить Тома, я задавал пустяковые вопросы, надеясь отвлечь его. Но не знаю, слушал ли он меня.

Вдруг дверь отворилась, вошел священник и тихо сказал:

— Время истекло… Конечно, вам следовало бы уйти. Но, учитывая, что вы пастор, можете остаться при нем.

Я не понял, что имел в виду стоявший в дверном проеме священник. Он был взволнован еще больше, чем когда пришел за мной в камеру. Догадавшись, что я его не понимаю, священник показал на дверь и произнес приглушенно:

— Они уже идут.

Я встал и недоуменно спросил: кто идет? Но когда увидел, что пастор не в силах ответить, весь похолодел. Я подошел к нему так близко, что он отпрянул, и мы оба, наклонив головы, остановились в дверях.

— Кто? — повторил я в смертельном испуге. — Кто идет?

— Вы хорошо знаете, что я имею в виду, — ответил он, отступая в коридор.

И тут я увидел их. В конце длинного полутемного коридора появились шесть человек. Впереди шел надзиратель, за ним двое с носилками, по-

том полицейский в форме, начальник тюрьмы с папкой в руках и рядом с ним еще какой-то господин.

Как потом оказалось, это был тюремный доктор. Застыв от ужаса, я смотрел, как они приближались.

— Что это значит? — закричал я.

— Будьте мужественны, — произнес священник, отводя взгляд в сторону.

— Но мы ждем решения об освобождения Тома! Родители ищут свидетелей, которые видели, как все произошло. Том не виноват. То был другой!

— Боюсь, что ваши надежды напрасны.

— Том не делал этого! — кричал я. — Виновен совсем другой. Я сам все видел! И вокруг люди — тоже. Но толпа уже смешалась, когда подъехала полиция…

Я бросился к начальнику тюрьмы.

— Не делайте этого! — умолял я его. — Произошла ошибка, мой брат не виновен.

Полицейский схватил меня за руку, оглянулся по сторонам и зло спросил:

— А этот что тут делает? Как он попал сюда? — обратился полицейский к остальным. — Эй, ты! — крикнул он надзирателю.

Но тюремный священник вышел вперед и вол-

нуясь сказал:

— Это брат приговоренного. Он пастор. Ему разрешили в последние минуты быть с братом.

— Том не нападал на девушку! — крикнул я начальнику тюрьмы. — Он бросился на ее обидчика. Хотел задержать его, чтобы отдать в руки правосудия. Началась драка, они упали, тут подбежали другие, и уже ничего нельзя было разобрать.

— Прочь с дороги! — ответил начальник тюрьмы.

— Пожалуйста, не делайте этого! Подождите немного! Родители ищут свидетелей, которые подтвердят, что напал не Том, а другой парень, в лиловой рубашке.

— Боюсь, что показания этих свидетелей не будут приняты во внимание, — холодно ответил начальник тюрьмы. — Всегда можно найти сострадательных, не очень благоразумных людей, готовых из кожи вылезти вон, чтобы дать показания в пользу приговоренного к повешению.

— Нет, я имею в виду настоящих свидетелей!

— Они всегда себя так называют.

— Это будут люда, которые действительно видели, что произошло! Кто стоял рядам! Как я! Полиция разогнала толпу, и теперь свидетелей найти трудно. Я просил полицию сразу же…

— И вы еще смеете что-то просить у полиции! — со злостью крикнул начальник. — Черным ничего не стоит оговорить полицейских, лишь бы спасти соплеменника.

— Нет, мы ищем белых свидетелей. Ведь вокруг спортплощадки стояли белые. И они видели, что это был не Том, а парень намного моложе его, в лиловой рубашке!

— К моему глубокому сожалению, в нашей стране до сих пор есть белые, готовые выразить свое сочувствие кому угодно. Вы зря рассчитываете на помилование для этого красного отродья.

— Помилование? — спросил я ошеломленно. — Нет, я не прошу помилования. Я надеюсь только на справедливое разбирательство. Люди окажут, что они видели.

Начальник резко оборвал меня:

— Имеются документы следствия, в том числе показания пяти сотрудников полиции, честность которых не вызывает сомнения. Они засвидетельствовали, что полураздетая белая девушка кричала и вырывалась из рук этого человека. — И он показал на камеру Тома. — Нет, не прерывайте меня. Пять, не два и не три, пять полицейских дают одинаковые показания. Вы можете говорить что угодно, утверждать, что какие-то мифиче-

ские свидетели видели совсем иное. Но как для меня, так и для судьи показания пяти честных полицейских значат куда больше, чем показания заинтересованного лица, к тому же африканца.

— Честность сотрудников полиции никто не ставит под сомнение, но они опоздали и не видели, как было дело!

— Уйдите с дороги!

— Пастор Тревор начал поиски настоящих свидетелей, но его посадили под домашний арест.

— Что вы болтаете? — прохрипел начальник, побагровев от злости. — Прочь с дороги! Ваши претензии неуместны. Вы сами арестованы, и только по доброте своей я разрешил вам прийти к брату.

Он оттолкнул меня и прошел мимо вместе с доктором. Двое тюремщиков, опустив носилки на пол возле камеры Тома, вошли в камеру. За ними следовал полицейский. Надзиратель остался со мной в коридоре. Немного погодя тюремщики выволокли Тома. Один держал его за плечи, другой за ноги. Том вырывался, его ноги и руки конвульсивно дергались, он дико озирался по сторонам.

Но его силой уложили на носилки, надзиратель уперся ему рукой в грудь, а двое тюремщиков

принялись привязывать к носилкам. Одним ремнем стянули грудь, вторым — ноги. Том был так беспомощен, что им удалось это сделать почти без труда.

«Боже, чем мне помочь брату? Что сказать ему?» Меня терзала мысль, что я останусь жить, а он сейчас погибнет. Если ему сказать: «Ты должен быть спокоен», — это прозвучит так, будто я заодно с палачами. Словно я, как и они, хочу, чтобы он тихо и покорно принял смерть.

— О Том… Том…

Я упал на колени, в отчаянии схватил его за руки. Меня заставили встать. Потом они подхватили носилки, а я пошел рядом, держа Тома за руку, и говорил, говорил, громко и страстно.

— Мы никогда не забудем, что ты сделал. Ты пошел в Парктаун, потому что ты честный человек и верный друг, потому что ты не терпишь предательства. Ты увидел провокатора и вцепился ему в горло. Ты сделал то, что тебе подсказали сердце и совесть человека, с детских лет познавшего муки одиночества, которых мы не понимали. Я все скажу им, Том. Всем, кого увижу, расскажу о тебе и о том, что ты сделал.

И вот я уже не говорил, а пел:

— Ты с нами. Мы всегда будем любить тебя и

почитать. Ты старший сын в семье, ты — ее гордость. Ты опора мамы. Ты любимец и советчик папы. Для нас — твоих братьев и сестер — ты навсегда останешься старшим братом, достойным примера и подражания. На всех улицах Софиатауна живут наши дяди и тети, их сыновья и дочери. Ты знаешь их улыбку, улыбку людей из племени пондо — открытую, сердечную. Так улыбается наша мама. Представь себе лицо мамы Пондо. Вот она говорит: пондо — это поток, несущийся с гор, пондо — это камни на дне реки, пондо — это ветер, веющий над землей, пондо — это земля, над которой проносится ветер. Ветер умчится, земля останется.

Я пел приглушенным, прерывающимся голосом, как пела мама, когда мы были больны или чем-то сильно испуганы.

— Ты не одинок, говорит мама Пондо. Твое и мое мужество — это мужество всех. Твое и мое горе — это горе всех. Наш дом просторный и светлый, он полон солнца. О да, мама Пондо любит солнце! Как весело поет она, когда дом озарен солнцем! И как грустит, когда вдет дождь. Она печально смотрит на серые ручейки вокруг дома. В такие минуты ее лучше не трогать. Наш дом всегда полон детей. Кто в силах вынести их шум и

гам? «О, бедная моя головушка! — жалуется мама Пондо. — Чем провинилась я, за что несу тяжкий крест? Вот стоит большой стол. На нем лежит хлеб. Руки тянутся за хлебом. Это прекрасно, ведь хлеб соединяет людей. Земля живет. Покрытая зелеными всходами земля дарит людям счастье». Взгляни, вон на холме стоит мама Пондо, и платье ее развевается на ветру. Смотри, смотри, она подняла руки! Она поет. Ее голос звенит над холмами. Ты видишь ее и говоришь: «Это мама Пондо. Она мое сердце, моя сила, она — деревья и горы». Она всегда с нами. Мама знает прошлое нашего народа. Собрав нас, своих детей, она начинает рассказ словами: «Это было давным-давно...» И далекое прошлое выплывает словно из тумана. Но вот, будто луч света, в дом входит папа. Это наша семья, это наш дом. Как светло и просторно вокруг... Вот дорога, говорит мама Пондо, которая соединяет вчера, сегодня и завтра в единое прекрасное целое.

Том слушал и постепенно успокаивался. Его руки больше не дрожали. Это не я, а мама помогла ему побороть страх. Том, как и я, черпал силы в мыслях о маме. Эти мысли вселяли в него мужество.

В конце коридора надзиратель забежал вперед

и открыл дверь слева. Мы вошли в длинный сводчатый подвал с бетонными стенами без окон. Вдоль стен стояли скамьи, из круглых отверстий в потолке падал свет, делая помещение похожим на бункер. В стене напротив входа чернела железная дверь.

На скамье, между полицейскими, сидели двое черных арестантов. Один очень молодой, другой — старик. Оба в наручниках, на рту — повязки. От наручников к запястьям полицейских протянулись цепи. У молодого на виске зияла кровоточащая рана.

Тюремщики опустили носилки с Томом на пол и сели на скамейку рядом с полицейскими. Немного погодя открылась железная дверь и высокий бледный человек увел старшего арестанта. Минут через десять дверь вновь открылась, пришел черед молодого. Он отчаянно сопротивлялся, но его тащили силой.

В подвале наступила мертвая тишина. Я разглядывал голые бетонные стены, сводчатый потолок с проемами, откуда исходил свет, и скамьи у стен.

Полицейский, охранявший Тома, сидел неподвижно, не спуская с меня глаз. Вдруг он спросил, указывая на Тома:

— Правда, что он не виноват? Или вы выгораживаете его, как всегда выгораживают друг друга черные?

— Нет, он действительно невиновен, — ответил я глухо. Но вопрос пробудил во мне надежду. Я встал и нерешительно двинулся к полицейскому, желая пояснить. Он тут же вскочил, выхватил пистолет и закричал:

— Назад!

Я испуганно замер на месте.

— Назад! — повторил он нервно.

— Я не собирался делать ничего дурного, — пролепетал я. — Мне только хотелось… Почему вы спросили, виноват ли он? Может быть, еще?..

— Нет.

— Вы уверены, что…

— Оставь меня в покое, — отрезал он.

Тут я услышал, что Том стонет.

— Давид, — позвал он.

Он заговорил! Я быстро склонился над ним.

— Да, Том! — произнес я радостно.

Медленно, с трудом, так что пот выступил у него на лбу, Том спросил:

— Как… как… мама?

— Хорошо! Хорошо, Том! Не беспокойся о ней. Ты же знаешь, никто не осмелится причинить

зло маме Пондо.

Он улыбнулся. Я до сих пор благодарен ему за эту улыбку. Он думал о маме и улыбался. Даже здесь, в камере смертников, мысль о маме вызвала на его изуродованном лице улыбку.

— А папа? — прошептал он.

— И папа тоже. Он вместе с мамой. Ты же знаешь, он всегда с ней рядом.

— Давид…

— Да, Том.

— Я рад, что ты здесь.

— Нет, Том, это я рад! Я горжусь, что ты мой брат, храбрый, мужественный и честный… Я счастлив, что могу сказать тебе то, в чем давно должен был признаться.

Слезы высохли у меня на глазах. Я поцеловал распухшее лицо брата, в чертах которого я вдруг увидел черты мамы, папы и всех тех людей, чья жизнь была тесно связана с нашей, настолько тесно, что казалась одной жизнью, которую безжалостный палач собирался сейчас отнять.

— Второй станок… — прохрипел Том, с трудом дыша. — Скажи папе, что там приводной ремень не в порядке… а не ось. Ось исправна, я проверил… Надо новый ремень…

— Да-да, скажу… — ответил я.

Я держал Тома за руки и чувствовал, что он совсем успокоился.

— Я часто спорил с вами, доказывал свою правоту. Ты знаешь… — опять заговорил он. — А вы, наверное, думали: он любит настаивать на своем, лучше согласиться, иначе затеет ссору…

Вдруг улыбка застыла у него на губах. Лицо покрылось каплями пота. Он посмотрел на железную дверь, на полицейского, сидевшего рядом на скамье, потом повернулся ко мне, пытаясь что-то сказать, но не смог произнести ни звука. Стиснутые губы его судорожно дрожали, он тяжело дышал.

Глазами, полными страха, Том уставился на железную дверь. Я говорил ему что-то, стараясь его отвлечь, но это больше не помогало.

Железная дверь со скрипом открылась, и на пороге показался высокий бледный человек.

Тюремщик и полицейский встали.

— Том!.. О Том!..

Тюремщики подняли носилки и направились к помещению, где приводились в исполнение приговоры. Я шел рядом и держал Тома за руки. Мы вошли в большую полутемную комнату. Посередине под лампой без абажура белел люк, сколоченный из неоструганных досок. А сверху,

из темноты, к люку свисала петля. В комнате уже находились какие-то люди. Наверное, это были начальник тюрьмы, доктор и священник. Я не смотрел на них. Когда тюремщики стали развязывать ремни, я припал к Тому. Мне сказали, чтобы я убирался.

Но я поднял его разбитую голову и прижался к ней лицом. На какое-то мгновение мне показалось, что мы остались одни.

— Прощай, Том, — шептал я сдавленным голосом. — Прощай, мой старший брат! Да благословит тебя бог!

Меня силой оторвали от Тома. Тюремщики стащили его с носилок и поволокли к люку. Бледный человек разрезал бинты на шее Тома и надел ему на голову черный колпак. Потом они подняли его на ноги. Тело брата было таким безжизненным, что я подумал, уж не мертв ли он. Но когда они поставили его прямо под петлей, поддерживая с боков, Том внезапно задрожал. Руки судорожно пытались за что-нибудь схватиться. Он уцепился за тюремщиков и закричал:

— Помогите!..

Когда высокий бледный человек стал накидывать ему на шею петлю, Том дернулся, пытаясь отвести голову в черном колпаке как можно

дальше. Он старался подняться на носках, но из-за сломанной ноги бессильно оседал.

Наконец палач нажал на рычаг, тюремщики отпрянули в сторону, и люк под ногами Тома провалился. Он рухнул вниз почти по бедра и повис, потом несколько раз судорожно дернулся и затих.

Я закрыл глаза и молился. Молился, собрав все силы. За Тома. За маму и папу. Молился, чтобы ненависть не захлестнула меня.

Пока я жив, я никогда не забуду эту картину: изуродованное, парализованное тело Тома, качающееся над открытым люком. Черный колпак на голове делал его похожим на лесного разбойника. Он казался страшным, неведомым существом, почти привидением.

Свидетели казни стояли не шелохнувшись. Наверное, выжидали положенное время, чтобы удостовериться, что осужденный мертв.

Потом тюремщики подхватили тело под мышки и вытащили его из люка. Высокий бледный человек снял петлю и черный колпак. Тюремщики положили труп на большой каменный стол в углу помещения. И только тут я заметил, что там уже лежали два трупа. Подошел доктор, приложил ухо к груди Тома, пощупал пульс, записал

что-го в папку, которую держал в руках, и ушел.

Том остался лежать на столе с запрокинутой головой, подбородком вверх. Я видел его курчавые черные волосы, темно-серый костюм, обычно так хорошо отглаженный, а сейчас измятый и грязный.

— Если желаете, можете закрыть ему глаза, — услышал я тихий шепот.

Оглянувшись, я увидел рядом с собой тюремного пастора. Я подошел к столу, закрыл Тому глаза и опустит задранную вверх голову. Неподвижное тело сразу приобрело величавость, вызывая скорбь и желание поклониться. Каким торжественным, спокойным он казался! Лицо на выражало ни страха, ни боли. На нем не осталось следов пережитых мучений. Смерть сделала Тома таким, каким он был всегда — собранным и благородным. Это было удивительно. Они не смогли его победить. Насилие не сломило его. Почтительно, с глубоким волнением смотрел я на брата, лежавшего на каменном столе, и ощущал его величие.

Все происшедшее словно не имело значения. Не надо было думать о случившемся. Ничего этого не было…

— Вам пора уходить, — сказал священник.

Я повернулся и увидел, что все остальные уже ушли, только надзиратель ждал нас у двери. Выходя из подвала, я поблагодарил пастора за то, что он дал мне возможность присутствовать при кончине брата. Он не ответил. Но в конце коридора остановился и взволнованно проговорил:

— Я хотел, чтобы они подождали. Это не означает, что я поверил в ваш рассказ о парне в лиловой рубашке. Однако не следовало торопиться, надо было прежде произвести расследование. Но газеты раструбили, что в Парктауне, на площади у торгового центра, черный пытался изнасиловать белую девушку. Это вызвало волнения по всей стране. В шести местах белая молодежь линчевала черных: в Стелленбосе белые устроили демонстрацию, требуя немедленной казни преступника. И все же это не причина, чтобы казнить человека без расследования. Я так и сказал, но меня не захотели слушать. А впрочем, вы сами напрашиваетесь на это. Ваши руководители вселяют в вас несбыточные надежды.

Он умолк, как мне показалось, не договорив чего-то, повернулся и ушел.

Надзиратель отвел меня обратно в камеру. Сидя на корточках и опираясь друг о друга спинами, заключенные спали, все, кроме Као.

— Зачем тебя вызывали? — спросил он шепотом с надеждой в голосе. — Тебя так долго не было.

Как странно казалось вновь очутиться здесь, среди своих товарищей.

Баскетбольный матч на площади, веселая подготовка к нему, поездка в автобусе, возбужденное перешептывание, когда мы сидели на полу автобуса между скамеек, даже появление полиции и арест — все представлялось мне видением из далекого прошлого, когда мы надеялись и верили друг в друга, когда у нас были заботы и желания, когда мы были счастливы.

— Том умер, — сказал я.

— Что? — воскликнул, задыхаясь, Као. — Умер в камере?

И тут он взорвался:

— Это они убили его! Полицейские до смерти забили его сапогами.

Когда я рассказал ему, как все было, он некоторое время молчал, дрожа всем телом. Потом взял меня за руку и крепко сжал ее. Мы долго сидели так в темной камере с серым пятном окна под потолком.

— О боже… — простонал он. — Как могут они так поступать? Почему они не подождали? Я уверен, что мама Пондо найдет свидетелей.

ГЛАВА V

На следующий день мама не пришла. Не пришла она и через день, и через два. Когда минула неделя, Као сказал растерянно:

— Я ничего не понимаю.

— Если мама Пондо не нашла свидетелей, — ответил ему один из ребят, — то только потому, что ей запретили это сделать. А может быть, свидетели есть, но ее сюда не пускают.

Као посмотрел на меня и нерешительно спросил:

— Как ты думаешь, она узнает о Томе?

— Конечно, — ответил кто-то. — Уж они не упустили случая расписать об этом в газетах. Черное чудовище повешено. Небось на всех углах орали.

Черное чудовище… Потрясенный, я думал о том, что мне говорил тюремный пастор: о ненависти, страхе и ярости белых. Я мог представить, как они по вечерам тщательно запирают двери и закрывают ставни на окнах, запрещают женщинам и девушкам одним выходить на улицу даже днем.

Я спрашивал себя, упоминалось ли в газетах имя Тома, Томаса Тугелы… Папа с мамой, конеч-

но, сразу же заметят это имя.

В камере все были убеждены, что парень в лиловой рубашке провокатор, которому заплатили за то, чтобы он скомпрометировал наше мирное движение. Если это действительно так, то наши недруги добились желаемых результатов. Нас всех не оставляла мысль о том, какое же точно задание получил этот парень.

Однажды кто-то из наших ребят спросил об этом вслух.

— Я полагаю, то самое, которое он и выполнил, — ответил Као.

— Мы должны найти этого парня в лиловой рубашке, — решительно заявил бегун Мунго. — Мы будем искать его и обязательно найдем.

— Да, да, — раздалось со всех сторон.

— Нет, Мунго, не надо, — возразил я.

— У парня в лиловой рубашке длинные вьющиеся волосы и большой рот, — заметил один из ребят. — Я успел его разглядеть, когда обернулся на крик девушки.

— Прекрасно, — обрадовался Мунго. — Эти приметы облегчат наши поиски.

Я пытался уговорить ребят оставить свои намерения, но они были неумолимы.

В тюрьме нас продержали три месяца. Намного

дольше, чем мы предполагали. Для меня это было не страшно. Я заранее договорился с племянником Гербертом Тугелой, чтобы он заменил меня в колледже и служил вместо меня в церкви. Он был пастором в Африканских западных пригородах и охотно согласился выполнить мою просьбу.

Но некоторых из ребят такое длительное пребывание в тюрьме очень беспокоило. Обычно за участие в кампании неповиновения сажали на две недели, максимум на месяц, и то лишь руководителей. Большинство наших ребят на это и рассчитывало. Они договорились на работе и в школе, что будут отсутствовать недели две, а отсидели три месяца.

Держать людей в тюрьме дольше положенного срока было беззаконием. Так же, как подвергать аресту без суда и следствия. Но о последнем уж мы давно и не заикались. Такие нарушения законов стали обычными еще задолго до начала кампании неповиновения. Полиция арестовывала черных и держала в тюрьмах без всякого суда.

Часто полицейские забывали об арестованных, и те сидели, не зная за что. Случалось, что надзиратели сами решали, кого выпустить на свободу, а кого нет. Имея деньги, можно было откупиться. А бедняки сидели месяцами и даже годами.

Тюрьма, в которой нас содержали, была из тех, где законы попирались почем зря. Арестованных постоянно использовали как бесплатную рабочую силу на фермах буров.

Вскоре нам стало ясно, что власти умышленно избегают передачи в суд дел участников кампании неповиновения. Они хотели помешать черным всенародно заявить, что заставило их нарушить законы апартеида. Зная об этом, никто из нас не ожидал суда. Наших ребят беспокоило лишь то, почему нас так долго держат. Может быть, кампания неповиновения ослабла и тюрьмы разгрузились: меньше стало акций, меньше арестованных? А вдруг это произошло из-за истории с нападением на белую девушку? Еще во время беспорядков в Нью-Брайтоне и Ист-Лондоне в определенных африканских кругах, особенно умеренных, появились колеблющиеся. Они заявляли, что не желают иметь ничего общего с подобными действиями черных.

В тюрьме мы, конечно, не могли знать, какую реакцию среди африканцев вызвало обвинение в изнасиловании.

Безусловно, мы были уверены, что АНК делает все, чтобы разъяснить людям, что все это дело рук провокаторов. Но удалось ли убедить в этом

народ?

Мы долгое время были отрезаны от внешнего мира. Все попытки связаться с семьями ни к чему не привели. Тюремный пастор больше не хотел ничего для нас делать, а сестер надзиратели перестали допускать в камеру. Тех, кому требовались перевязки, водили в другое помещение. Хлеб и кипяток теперь приносили сами надзиратели, недовольные тем, что на них возложили эту обязанность.

Но наконец в одно прекрасное утро нас освободили. Ничего не объяснив, надзиратель вывел всех во двор, подвел к воротам, выпустил на улицу и молча запер за нами ворота.

Я бегом бросился домой. По дороге я сразу заметил, как изменился Софиатаун. Радостного возбуждения не было и в помине. Вместо дружеских улыбок я увидел на лицах прохожих озабоченность и страх.

Улицы были пустынны. Нигде ни беседующих взрослых, ни играющих детей. Двери баров закрыты, не слышно звуков музыки. Одинокие прохожие куда-то спешили. Некоторые улицы казались совсем покинутыми. Но страшнее всего была пугающая тишина. Я слышал собственные шаги.

Несколько прохожих узнали меня и обрадованно пожали руку, но вид у них был тоже испуганный.

— Как там мама? — со страхом спросил я.

— О, пастор Тугела, поторопитесь к ней, — посоветовала мне какая-то женщина.

— Да скажите же мне, как она?

— Мы сотни раз говорили ей, что не верим газетам. А она все твердит: они оклеветали моего мальчика, изобразили его чудовищем. Она не может забыть фотографию.

— Какую фотографию?

— Которая была в газетах…

— Фотография Тома?..

— Да… Вы, наверное, ее не видели. Там было написано: «Вот этот зверь…» Да, именно так. Наверное, фотографию сделали в тюрьме. На ней у Тома такое распухшее лицо, что его с трудом можно узнать. Один глаз совсем заплыл, а другой чуть приоткрыт. Он действительно похож на злодея и насильника. Они специально так его сфотографировали.

На площади возле церкви Христус-Конинг я встретил дядю Чарльза и тетушку Гертруду.

— Мы все время пытались добиться свидания, — прошептал дядя Чарльз, оглядываясь по

сторонам. — Но нас к тебе не пускали. Передачи принимали, но мы не знали, доходят ли они до вас.

— Нам ничего не передавали.

— Мы так и думали, но все же носили. А мама Пондо сделала столько, сколько не сделают десять человек. Она сказала: «Мы должны добиться отсрочки вынесения приговора. Это надо сделать в первую очередь». Она подала официальное прошение прокурору, с помощью епископа Традера заручилась поддержкой двух судей. Джона она послала к руководителям АНК, связалась по телефону с Альбертом Лутули и добилась встречи с одним из белых депутатов. Розу она отправила к англичанкам, у которых та раньше работала, а Майкла к пастору Вильямсу, а через него к епископу Ривзу. Джимми велела пойти к доктору Иллово, а сама поспешила в Британскую женскую лигу по защите прав человека.

Стало известно, что ряд влиятельных лиц просили прокурора помочь Тому, обращались к министру юстиции, а двое даже к премьеру. Все надеялись, что рассмотрение дела будет отложено.

Одновременно с этим мама Пондо собрала нас. Пришли все родственники из Софиатауна, из

Африканских западных пригородов, Клермона и Александры. Она попросила всех из рода Тугела помочь найти людей, работающих слугами в Парктауне, или их родственников. Мы сделали все, что могли. Но это было намного меньше, чем предприняла сама мама Пондо.

— Ты бы видел ее, — перебила тетя Гертруда. — Она перевернула Софиатаун вверх дном. Она обошла все до одного дома.

— Но это невозможно! — воскликнул я.

— Мы тоже так думали. Но не для нее! Сейчас уже не установить, в каком доме Парктауна она нашла людей, видевших парня в лиловой рубашке. Нам удалось здесь, в Софиатауне, и в Александре разыскать много семей, у которых родственники работали в Парктауне. И если они знали, у кого прислуживает их дочь или сын, кто-то из нас сразу же шел туда. Но нам не везло: в тех домах, где мы побывали, никто не видел парня в лиловой рубашке. В первый день мы четыре раза приходили в Парктаун, и все впустую. Мы уже отчаялись найти кого-нибудь, кто докажет, что Том невиновен. Но мама Пондо не сдавалась. Она говорила: «Сплетницы кухарки по вечерам выходят поболтать с садовниками и другими слугами. Нет новости, которая бы не достигла их слуха. Мы

должны найти хоть одного свидетеля того, как все произошло». Так говорила мама Пондо, и это придавало нам мужества.

— Но уверенности, что мы сможем это сделать, у нас не было, — вмешалась тетя Гертруда.

— А тут еще за нами начала следить полиция, — продолжал дядя Чарльз. — Всех, кто ходил по домам, стали задерживать: видимо, полиция поняла наши намерения. Нам надо было также опасаться предателей. О Давид, теперь здесь совсем не так, как прежде. Повсюду полно предателей. Скажешь что-нибудь случайным знакомым, а на следующий день тебя арестуют. Не знаешь, кому можно доверять, а кому — нет. В Софиатауне теперь полно чужих. Они сидят в барах, бродят по улицам и слушают, о чем говорят люди. Мы подозреваем, что это платные предатели, подсылаемые полицией. Но, боюсь, и среди жителей Софиатауна появились подкупленные полицией. Все это мерзко. Как жить дальше, когда знаешь, что среди соседей, друзей и, может быть, даже родственников есть враги? Полиция нас все время шантажирует. Чуть что бьют, а тех, кого схватят вторично, сразу арестовывают. В нашей семье арестовали уже четырнадцать человек. Двое вернулись домой на прошлой неделе. Их

хотели отправить на принудительные работы куда-нибудь на ферму, но им удалось удрать. Полиция охотилась за мамой Пондо. Но поймать ее им не удалось. А она-таки нашла, кого искала. О да, она его нашла!

— Того, кто все видел?

— Да.

— И он согласился дать показания?

— О да, мама Пондо получила его согласие.

— Как же было дальше?..

Тетя Гертруда заплакала.

— Иди скорее домой, — сказала она.

— Да, да, — поддержал ее дядя Чарльз. — Мама Пондо сама тебе все расскажет.

— Это из-за предателей так тихо в Софиатауне? — спросил я.

— Отчасти и потому, — ответил дядя Чарльз.

— А еще почему?

— Да ведь ты ничего не знаешь! — сказал он тихо. — Это естественно, в тюрьме мало что известно.

— Да что случилось? — спросил я с тревогой.

— Мы все должны отсюда уехать.

— Как это? Что вы имеете в виду, дядя Чарльз?

— Мы должны освободить дома и выехать из Софиатауна. А они снесут наши дома и на их

месте построят новые — для белых шахтеров и техников из Европы.

— Не может быть! — закричал я в страхе. — Нас уверяли, что будут сносить только шалаши и лачуги. Какой же смысл ломать добротные кирпичные дома? Не проще ли на месте шалашей и лачуг построить приличные дома для африкантцев? Белым тоже места хватит.

— Весь квартал будут сносить, — пояснил дядя Чарльз. — Софиатаун должен исчезнуть.

— Это уму непостижимо!

Я знал, что есть закон, по которому правительство повсюду, где оно найдет нужным, может изгонять цветное население из городов и сельских местностей, предоставляя освобожденную землю белым… До сих пор от этого закона страдали индийцы в Натале и метисы в Капской провинции. Особенно цветные торговцы и ремесленники, которые держали лавки и мастерские. Теперь их перевозили в резервации, расположенные в отдаленных сельских местностях, где у них не было клиентов и где они не могли заниматься ни торговлей, ни ремеслом.

У правительства существовали также планы создания в удаленных местах специальных поселений для тех черных, которым, по мнению

администрации, не хватало места в пригородах. Нас уверяли, что эти меры предпринимаются с целью предотвратить пожары и эпидемии, сократить преступность и проституцию. Мы считали резонным решение властей снести шалаши и лачуги и дать доступ воздуху и свету в перенаселенные районы.

Но о том, чтобы сносить целые кварталы с современными домами, не было и речи, и никто, конечно, не предполагал, что такая печальная участь ждет Софиатаун.

Софиатаун был наш. С самого начала он принадлежал черным. Конечно, здесь могли селиться все, кто хотел, но как-то так получилось, что этот пригород стал африканским. Здесь нам принадлежали земля и дома, здесь были наши школы и церкви. Здесь мы родились, здесь прошло наше детство. Мы любили Софиатаун. Но дядя Чарльз сказал:

— Это решено. Мы должны убраться отсюда. Куда нас переселят, я не знаю, но здесь нам больше нет места.

С бьющимся сердцем бежал я домой. Наконец показалась маленькая площадь с фонтаном и двумя раскидистыми деревьями, за которыми скрывался наш дом.

Боже, как приятно было снова увидеть белую стену, увитую плющом, ворота, гончарную мастерскую, а рядом с ней цветник, лужайку, террасу, выходящую в сад. Навстречу мне выбежала Роза, добрая, верная Роза, всегда готовая в нужную минуту прийти на помощь.

— Бедный наш Том... — вымолвила она сдавленным голосом, обнимая меня.

Из дома вышел Джимми. Это был уже не прежний весельчак и балагур, а серьезный человек с суровым лицом.

— Беги быстрее к маме, — сказал он мне.

И вот я снова дома. О, эта загадочная сила материнской любви, которая оберегает и поддерживает нас!

Мама сидела у окна в черном платье и улыбалась мне. Она выронила вязанье на колени и протянула ко мне руки.

— Ты ли это?.. — воскликнула она. — Давид, ты снова с нами. Здравствуй, мой мальчик. Ты уже всех видел? Давид снова дома! Какое счастье, мы опять вместе!

Она обняла меня. Глаза у нее предательски блестели, губы дрогнули. Но она не заплакала. Я же не смог, как она, сдержать слез. Мама заметила это и мягко сказала:

— Нет-нет, мой мальчик, не надо.

Своей доброй, теплой рукой она смахнула слезы с моих щек. В это время вошел папа. Стройный, подтянутый, он держался так же спокойно, как и мама.

— Здравствуй, Давид, сын мой! — произнес пана радостно. — Вот ты и снова с нами. Это прекрасно!

Он положил мне руки на плечи и пристально вгляделся в лицо, он всегда так делал, встретившись с кем-нибудь из нас после долгой разлуки. Он по глазам угадывал, что творится в наших душах.

Я не выдержал его взгляда и зарыдал.

— Я вернулся, папа, а Том уже не вернется.

В глазах отца сверкнули слезы, мама озабоченно посмотрела на меня. Им было мучительно больно, они хотели знать все до мельчайших подробностей: как Том выглядел, что говорил… Они не торопили меня с рассказом. Казалось даже, старались оттянуть этот момент, с преувеличенным оживлением переговариваясь между собой и хлопотливо подавая на стол чай и сладости.

Но когда дом наполнился родственниками, я стал все чаще ловить на себе тайные, полные тревоги и страха взгляды папы и мамы. Гости,

несомненно, тоже замечали эти взгляды, но изо всех сил старались не обращать на них внимания и болтали о чем угодно, лишь бы избежать паузы.

Потом вдруг все невольно умолили и посмотрели на меня. Папа с мамой оказались рядом со мной. Они не могли больше притворяться. Остальные тоже. Ведь на самом деле они собрались, чтобы почтить память Тома, чтобы побыть всем вместе и поговорить о нем, как это принято у нас на похоронах. Это были похороны Тома.

И я рассказал им. Все. Они слушали не шелохнувшись. Слезы наворачивались им на глаза, когда я говорил, каким спокойным и мужественным он был в последние мгновения, как улыбался, сетуя на привычку всегда стоять на своем.

Я передал папе слова Тома о том, что ось у второго станка хорошая, а ремень надо сменить.

Я заколебался, стоит ли рассказывать, как он позвал на помощь, когда на него надели черный колпак, и как старался высвободиться из петли и не смог из-за сломанной ноги приподняться на носках. И все же я рассказал… чтобы они не истязали себя попыткой представить эту картину, а знали, как все произошло, и пережили

бы это и в конце концов забыли, как забывают страшный сон.

Я был уверен, что естественная минутная слабость Тома не запятнает его чести. В их памяти останется другой Том, тот, что, улыбаясь, говорил: «Я всегда настаивал на своем».

Папа и мама плакали, когда я это рассказывал.

Если вас когда-либо спросят, что для человека горше всего, ответьте: слышать крик своего дитя, зовущего на помощь.

Когда я рассказывал, каким спокойным и благородным было лицо Тома после смерти, папа и мама сидели неподвижно, держа друг друга за руки и глядя прямо перед собой, а потом начали тихонечко переговариваться, вспоминая Тома в детстве.

— Как серьезно он смотрел на меня из люльки, — говорила мама с улыбкой.

Потом вспоминали о Томе-юноше и Томе-взрослом. Мама сказала:

— Когда надо было подержать мне пряжу, вы все разбегались или чего-нибудь выпрашивали за эту работу. А вот Том бескорыстно помог мне перемотать больше тысячи мотков.

Мама рассказала, как она в тайне от всех учила Тома танцевать. Он очень боялся наступить

партнерше на ногу, боялся, что девушки будут над ним смеяться. По мнению мамы, никто из нас не смог так быстро научиться хорошо танцевать, как Том. Мама была права. Том танцевал отлично, лучше всех нас. Но мы никогда не думали, что это мамина заслуга.

Папа говорил о работе Тома в гончарной: о его новых моделях изделий, о различных изобретениях, о его усердии в работе, частенько приводившем в отчаяние учеников, из которых он сделал отличных мастеров.

— Я знаю шесть молодых горшечников, — продолжал он, — которые прошли выучку у Тома. Теперь они делают отличную посуду и живут со своими семьями в достатке.

Так текла беседа, и Том вставал перед нами как живой. Несколько часов подряд все по очереди говорили о нем, и он, казалось, снова был среди нас.

Мама вспомнила о своем отце, на которого был похож Том, а папа о своем брате Генри, который дружил с Томом.

Дядя Джон рассказал, что, когда родился Том, ему было двадцать семь лет. Его отец жил на землях пондо и имел много скота.

— В его хижинах была самая красивая посу-

да, — закончил дядя.

Потом мы стали рассказывать веселые семейные история. Все смеялись. И мама и папа тоже. Потому что остроумным и находчивым героем этих историй был Том.

Потом мама запела песню о Томе, а мы все подхватили.

К нам присоединились соседи. И вот уже толпа заполонила террасу, а потом и весь сад. Весть о моем возвращении разнеслась по округе, и люди пришли почтить память Тома. Вскоре вся площадь перед домом и прилегающие улицы запрудил народ.

Европейцы считают наши похоронные церемонии слишком длинными и утомительными. Мы говорим и поем, плачем и смеемся. Они находят такое проявление горя слишком экспансивным. Ах, они не знают, что это нужно нам, чтобы почувствовать свою близость к умершему, а через него и друг к другу. Мы словно заново проживаем с умершим всю его жизнь и сохраняем ее в памяти для него, для нас самих и наших детей. И как хорошо быть в кругу родных и близких, ощущать тепло их душ, когда на тебя пахнуло холодом смерти.

Поздно вечером, когда родственники и соседи

разошлись, родители рассказали мне, как проходили поиски свидетелей в Парктауне.

Папа мог привести около двадцати африканцев из числа болельщиков, видевших собственными глазами, как все произошло. Но следователь не пожелал их принять. Тем временем мама искала кого-нибудь, кто служит у белых в Парктауне. Через два дня и две ночи ей наконец удалось найти одну африканку, сестра которой служила горничной у престарелых супругов. Она слышала, как те говорили во время ужина в день нашего матча о «молодом черном парне в лиловой рубашке, который на площади у торгового центра сорвал юбку с белой девушки». На вторые сутки в два часа ночи маме удалось встретиться с этими людьми. Старичок позвонил следователю. Но тот так грубо с ним разговаривал, что старик разозлился и поехал вместе с мамой к следователю домой. Он барабанил в дверь до тех пор, пока ему не открыли. А выйдя от следователя, испуганно сказал маме, что ничего не может для нее сделать, и высадил ее из машины на окраине Софиатауна.

Тогда мама взяла у знакомых велосипед и поехала еще раз к следователю, чтобы самой поговорить с ним. Ее поймали и водворили в Со-

фиатаун. Но мама не успокоилась и попыталась незаметно добраться до тюрьмы. Это ей удалось. Но тут появились полицейские, задержали ее, и она пробыла под арестом до утра.

ГЛАВА VI

Как переменился Софиатаун! Мы встречались, разговаривали друг с другом, но внутренняя близость, связывавшая нас раньше, исчезла. Мы по-прежнему жили рядом, при встречах могли подолгу беседовать, но каждый держал свои мысли при себе.

Я вернулся в школу — добрый старый колледж святого Эдварда, обнесенный высокой, увитой плющом стеной из темно-красного кирпича. Передо мной вновь был немощеный дворик, классы со старыми черными партами, сплошь изрезанными именами; стрельчатые своды убогой, но такой дорогой мне церквушки.

Я встретился со своими учениками — милыми детишками, по которым так скучал в тюрьме, и с учителями, моими добрыми коллегами и друзьями. Но каждый день, проходя улицами Софиатауна, я с надеждой искал следы прежнего счастья и не находил их.

Да, счастье, которое нашло пристанище в нашем родном квартале и охраняло его от бед, покинуло Софиатаун. Все вместе мы были счастливы и сильны. Единство вселяло в нас уверенность,

согревало радостью наши сердца, в дружбе мы видели смысл жизни. Мы были счастливы, что мирно живем все вместе в нашем пригороде — родственники, друзья и соседи. Человек должен так жить в своем городе, стране, во всем мире. Без родных и друзей, без общения с людьми он словно лист, гонимый ветром.

А теперь жители Софиатауна боялись и избегали друг друга. Мы ходили по улицам боязливо, как в незнакомом городе. Может ли горе сплотить людей, избавить от чувства одиночества? Наверное, нет. Счастье — да, а горе, пожалуй, нет. Во всяком случае, меня горе делало более одиноким.

Даже в школе все стало иначе. Я по-прежнему был дружен с учениками, нас объединяли общие интересы, и все же я чувствовал себя подавленным, потому что всего боялся. Они тоже были подавлены, потому что страх царил в их семьях.

Иногда я спрашивал себя: а могут ли дети с их шаловливой беззаботностью быть по-настоящему несчастны? Могут, когда страх поселяется в душах их родителей. Его они чувствуют мгновенно и очень страдают от этого. Мне хорошо знакома боязливая пришибленность черных детишек, когда они становятся свидетелями уни-

жения родителей, которым преграждает путь надпись «ТОЛЬКО ДЛЯ БЕЛЫХ». Я сам испытал это чувство в детстве. И теперь у меня разрывалось сердце при виде того, что переживают дети, когда взрослые не могут скрыть страха.

Мы убедились, что ничего, совсем ничего не выиграли от кампании неповиновения. Это была широкая демонстрация, носившая национальный характер, но правительство не извлекло из нее никакого урока. Оно не собиралось отменить ни один из законов апартеида. Наоборот, стало ясно, что оно твердо решило довести задуманное до конца.

Альберта Лутули за активное участие в кампании неповиновения вызвали в Преторию. Министр по делам туземцев сместил его с должности главы резервации в Умвоти.

Нельсону Манделе запретили в течение двух лет посещать любые митинги и покидать район Йоханнесбурга. Пятнадцати руководителям кампании неповиновения навсегда запретили быть членами АНК или другой подобной организации. Их лишили права заниматься какой-либо общественной деятельностью. Около двадцати руководителей находилось под домашним арестом. Владельцам издательств и типографий

запрещалось печатать листовки и брошюры АНК и помещать на своих страницах заявления африканских лидеров. Был опубликован всеобщий запрет на проведение массовых собраний.

За нарушение всех этих постановлений приговаривали к необычайно длительному сроку тюремного заключения, часто до десяти лет. И в довершение ко всему кварталы черных были наводнены предателями.

Джеймса Омонго, племянника мамы, как-то утром арестовали и посадили в тюрьму. Никто не знал за что. Через три дня исчез Йозеф Мурлу, работавший клерком у адвоката Джонсона Абекве. Еще через день агенты Особого отдела напали на дом Конрада Солье и арестовали его вместе с двумя сыновьями.

Страх перед невидимым врагом стал настолько велик, что мы боялись разговаривать с малознакомыми людьми. Потом перестали полагаться на друзей и с трудом сохраняли доверие к родным.

Было ужасно противно постоянно думать, что человек, которому ты когда-то поверял свои сокровенные мысли, твой враг и теперь надо помнить, когда, где и что ты ему говорил.

Ходили слухи, что африканцы-предатели получают такое же жалованье, как и белые агенты.

Ни за какую другую работу черным не платили наравне с белыми.

Вербовщики из Особого отдела находили богатую добычу среди тысяч молодых африканцев, надеявшихся обрести в Йоханнесбурге счастье и разочарованных горькой действительностью.

И вот, к нашему ужасу, на смену кампании неповиновения пришел террор. Большинство африканцев осуждали совершенные провокаторами во время этой кампании акты насилия. Мы были за мирный характер выступлений и не хотели иметь ничего общего с насилием, кем бы оно ни совершалось. Власти вынуждены были признать это, когда доктор Морока, Уолтер Сисулу, Нельсон Мандела и другие руководители кампании неповиновения предстали перед судом. К нашему удивлению и радости, судья заявил, что эта кампания не может квалифицироваться как коммунистическая акция.

— Мне известно, — добавил он, — что вы всегда рекомендовали своим последователям проводить только миролюбивые демонстрации и ни в коем случае не прибегать к насилию.

АНК попытался вновь начать кампанию неповиновения, но на митинги приходило все меньше народу, невозможно было набрать добровольцев

для отсидки в тюрьме.

И в то же время люди действовали без ведома АНК и совсем иными методами — тайно, под покровом ночи.

Однажды стало известно, что несколько арестованных незадолго до ареста сидели в баре Мосса Хелли и толковали о новых драконовских законах.

Правительство только опубликовало закон об общественной безопасности, по которому премьер-министр мог собственной властью объявить чрезвычайное положение в отдельных районах или во всей стране.

Обсуждался и закон о преступных действиях, по которому для лиц, намеренно проявивших неповиновение, срок пребывания в тюрьме увеличивался в сто раз: раньше было четырнадцать дней, а теперь — три года или триста фунтов штрафа, которых никто не имел, плюс пятнадцать ударов плетью.

Новые законы вызвали возмущение по всей стране. Ведь теперь мелкие проступки приравнивались к серьезным преступлениям, стоило их расценить как направленные против апартеида. Иными словами, любое открытое выступление против политики правительства объявлялось

преступлением, наказуемым тремя годами тюремного заключения и пятнадцатью ударами плетью.

Подобный произвол вызывал негодование. Нас возмущало не наказание плетью. Чтобы удержать в повиновении черных батраков, плеть во все времена верно служила расистам. Возмущало то, что нас лишали права высказывать мнение о политике правительства.

Новые законы неустанно обсуждались. Конечно, осторожно и только с хорошо знакомыми людьми. И вдруг оказалось, что четырех посетителей бара Мосса Хелли арестовали.

Не верилось, что Мосс, толстый и добродушный парень с вечно улыбающейся потной физиономией, предатель. Он был довольно состоятельный человек. И все же подозрение могло пасть только на него, и за ним стали следить.

Однажды его увидели на другим конце города, на улице Джудифс Паарл, где жили белые. Он вошел в один из домов и пробыл там полчаса. Через адвоката Джонсона Абекве удалось выяснить, что в этом доме жил сыщик Особого отдела.

Тогда, чтобы утвердиться в подозрениях, молодой парень из Александры, сидя в баре Мосса Хелли, с издевкой отозвался о новых законах.

При этом он не забыл упомянуть, что его зовут Питер Бонко и он живет поблизости от улицы Доллистейх. В действительности он был из местечка Клермон, а звали его Беном, фамилию я уже не помню.

На следующий день вечером на Доллистейх появился хорошо одетый молодой африканец, который разыскивал Питера Бонко. Он говорил, что тот служит у него в конторе и нужен ему по делу.

Трое ребят, в том числе и парень из Клермона, который в баре Мосса назвался Питером Бонко, предложили ему показать дорогу. Они завели его в заброшенную хижину и повесили там, а тело закопали в саду.

Потом под каким-то предлогом вызвали из бара Мосса Хелли, затащили в ту же хижину и расправились с ним таким же образом.

Расправа с предателями началась повсюду еще до истории с Моссом Хелли. Мы знали, что существуют подпольные группы, выступающие за «жесткие методы» борьбы. Они требовали перейти от разговоров к активным действиям, настаивали на применении насилия. Однако нам это было не по душе. Жестокое насилие претило нам. Оно пагубно отражалось на всем обществе,

в том числе и на нас.

Огорчительной была весть и о том, что в АНК начались разногласия: там появилась группа сторонников создания новой организации под девизом «Африка для африканцев». Эта группа провозгласила лозунг «Сбросим белых в море».

Пока раскола в АНК не произошло, но о нем ходили упорные слухи, а как известно, нет дыма без огня. Поэтому в любой момент можно было ожидать, что так оно и будет. Мы вовсе не собирались вышвыривать белых в море. Мы хотели, чтобы в нашей стране все были счастливы.

Жестокие и коварные методы подавления кампании неповиновения подорвали у черных веру в возможность добиться своего мирным путем. Зверские расправы расистов с черными, презрение, с каким они говорили о нас, заставляли усомниться в их добрых намерениях. Это вызывало горечь, пробуждало жажду мести, но отмщение не приносило радости.

Никто не торжествовал, когда в один прекрасный день стало известно, что в саду рядом с Моссом Хелли закопали еще четырнадцать трупов казненных предателей.

Однажды поздно вечером, когда я сидел в колледже святого Эдварда в своей комнате и читал,

кто-то тихонько позвал меня со двора.

Я открыл окно и увидел через металлическую сетку — в колледже все окна, выходящие на спортплощадку, была защищены сетками — высокого молодого африканца. Сначала я не узнал его, но, когда он вышел на освещенное место, я увидел, что это Као, ученик из нашей мастерской, сидевший вместе со мной в тюрьме после баскетбольного матча в Парктауне. Он подошел вплотную к окну и прошептал:

— Пастор Тугела, вы не могли бы пойти со мной?

С виду он был спокоен, но потемневшие глаза выдавали внутреннее волнение. Настороженный, угрюмый взгляд не вязался с его веселым характером.

— Что случилось, Као? — спросил я обеспокоенно.

— Я прошу вас пойти со мной.

Он повернулся и отошел в тень. Я быстро надел пиджак, взял Библию и вышел. Као ждал меня неподалеку от калитки, выходившей на улицу. Едва я показался на пороге, он поспешно двинулся вперед.

— Подожди меня! — крикнул я, бросившись за ним следом.

Он быстро свернул на боковую улицу, там приостановился и, увидев, что я иду за ним, шмыгнул вправо.

Так мы пробирались лабиринтом коротких переулков между Софиатауном и Клермоном, и всякий раз, когда я почти настигал Као, он мгновенно скрывался в следующем переулке.

Наконец мы очутились в Клермоне. Я узнал маленькую церковь святой Клары, в которой мне как-то приходилось прислуживать пастору. Клермон был самым бедным пригородом и сплошь состоял из убогих, тесно лепившихся друг к другу лачуг. Обитатели их считали свое пребывание здесь временным, надеясь подкопить денег и переехать в Софиатаун или в любой другой благоустроенный пригород. Поэтому о поселке никто не заботился. Однако, попав сюда однажды, многие оставались здесь на всю жизнь.

Переулочки были так коротки, что порой я шел за Као по пятам. Однако он не давал мне подойти к нему вплотную и, когда я пробовал заговорить, не отвечал.

Свернув в очередной раз за угол, я нос к носу столкнулся с каким-то молодым африканцем.

— Мунго! — воскликнул я удивленно, узнав нашего спринтера.

Высокий, широкоплечий Мунго встретил меня таким решительным и суровым взглядом, что я испугался.

— Пастор Тугела! — сказал он глухим голосом. — Вас заставили присутствовать при казни вашего брата Тома. Но казнить надо было не его. — Показав на покосившуюся дверь соседней лачуги, он добавил: — Человек, который должен был тогда умереть, там. Мы хотим, чтобы вы присутствовали при его смерти.

— Нет, нет! — закричал я испуганно.

— Мы считали своим долгом пригласить вас.

— Ни в коем случае! Я не хочу! — воскликнул я в ужасе. — Мунго, я не хочу этого!

Но Мунго открыл дверь и за руку втащил меня в хижину. Мы оказались в маленьком затхлом помещении, слабо освещенном керосиновой лампой, висевшей в углу на гвозде.

Дыры в дощатых стенах хижины были закрыты кусками парусины и заплесневевшего картона. Крыша из рифленого железа держалась на ржавых металлических подпорках.

На скамейке у стены напротив входа сидели Као и еще один парень, которого я не знал, а между ними человек с мешком на голове.

Мунго подошел к нему и сдернул мешок.

Я отпрянул, увидев лиловую рубашку и голову с длинными всклокоченными вьющимися волосами.

— Вы узнаете его? — спросил меня Мунго, схватив парня за волосы и повернув ко мне лицом.

Парень, словно спеленутая мумия, был обкручен веревкой с головы до пят, во рту торчал кляп. От страха глаза его лезли на лоб. Он стонал и извивался, стараясь ослабить путы.

— Это он? — снова спросил Мунго.

— Что вы хотите делать? — с тревогой произнес я. — Мунго! Као! Это нехорошо.

Но Мунго еще раз спросил меня, тот ли это человек. Когда я, поколебавшись, ответил утвердительно, — сомнений у меня не было, я узнал его сразу же, — они поставили парня на ноги.

Мунго отодвинул на полу ящик, достал из тайника под ним толстую веревку и сделал петлю, Потом он выдвинул на середину комнатушки скамейку, встал на нее и закрепил веревку на железной перекладине под крышей.

Парень в лиловой рубашке начал вырываться так отчаянно, что Мунго пришлось поспешить на помощь товарищам. Втроем они подняли предателя, поставили на скамью, Мунго набросил ему на шею петлю и слегка затянул ее.

Я пытался уговорить Мунго не доводить дело до конца. Взывал к Као, заклиная его нашей дружбой, но их строгие лица оставались непоколебимы. Као просто меня не слушал.

Все трое они встали перед парнем в лиловой рубашке, и Мунго, глядя ему прямо в глаза, спросил:

— Твое имя Фредерик Масухи?

Парень, дрожа всем телом, кивнул.

— Тебя завербовал один из сыщиков Особого отдела и поручил сорвать матч в Парктауне попыткой изнасилования?

Лоб парня покрылся каплями лота.

— Да, — прохрипел он.

— Тебе за это заплатили?

Парень зарыдал, пытаясь опуститься на колени. Мунго поставил его на ноги и объявил:

— Фредерик Масухи, ты приговариваешься к смертной казни за убийство Томаса Тугелы.

Он выбил скамейку из-под ног предателя, и тот повис на веревке. Тело его несколько раз конвульсивно дернулось, потом он затих. Ноги не доставали до пола всего на ладонь.

Мстители подождали некоторое время, потом пододвинули скамью. Мунго встал на нее и начал развязывать веревку, а Као и третий парень

поддержали труп.

Спрятав веревку в тайник, Мунго водворил ящик на место. Потом ко мне подошел Као и предложил показать дорогу.

С трудом разлепив губы, я ответил, что доберусь до дома сам. Они подняли труп и вынесли его из лачуги. Когда немного погодя я тоже вышел на улицу, они уже скрылись.

Иногда мне кажется, что в ту ночь, когда я пробирался среди лачуг Клермона к себе в колледж, я впервые в жизни был совсем одинок.

Сразу после нашего освобождения из тюрьмы я чувствовал себя просто потерянным, видя, как добрые соседи притворяются, будто не знают друг друга. Я бродил среди этих перепуганных людей в поисках прежнего счастливого содружества. Но все же я не был одинок. Ведь существовал наш дом — доброе, надежное пристанище. В нем были папа и мама, теплые камни в саду, где я играл ребенком, камин, возле которого папа рассказывал нам истории, мамино кресло, моя комната и моя кровать, большой старый стол, за которым мы всегда обедали, водопроводный кран, под которым умывались, золотистый солнечный лучик, заглядывавший в полдень в боковое окошко. Правда, появилась какая-то неуверенность.

Сандра и Джессе уехали. Том был мертв. Наш дом уже не был таким уютным, как раньше. Я видел, какими озабоченными стали папа и мама, и мне казалось, что их руки, всегда поддерживавшие нас, ослабели.

К тому же меня неустанно терзал страх, что однажды нам придется покинуть Софиатаун. Именно эта мысль беспокоила меня больше всего.

Кто же может без боли в сердце смириться с тем, что место, где он родился и провел детство, место, с которым он связан всем своим существом, навсегда перестанет существовать и все следы памяти о нем будут стерты.

По ночам меня мучили кошмары, я видел один и тот же сон: наш дом исчез, а на его месте появился другой, в котором живут незнакомые люди.

В то время я был молод и меня обижало, когда пожилые люди говорили: «Ах, что им, молодым…» Но ведь молодости не столько присуще легкомыслие, сколько быстротечность. Эта прекрасная, пора, к сожалению, пролетает стрелой. Поэтому людям преклонного возраста не следует пренебрежительно относиться к порывам юности, видя во всем детские шалости да капризы и требуя уважения к старческим недугам. Дет-

ским огорчениям не поможет ни разум, ни опыт. Прежние невзгоды не притупят страданий, никакая мудрость не принесет ребенку облегчения. Дети огорчаются так же часто, как и радуются. Но только в своих несчастьях они более беззащитны, чем взрослые.

В юности человек менее одинок. Одиночество — удел зрелого возраста. Страх перед одиночеством — это страх перед чем-то, что может ожидать нас в будущем, но чего, во всяком случае, пока еще нет.

Такие чувства владели мной в первые дни после смерти Тома. Но в ту ночь, когда я брел переулками Клермона, я чувствовал себя настолько одиноким, что готов был звать на помощь.

На следующий день ко мне в колледж зашел Майкл. Он принес книги, которые брал в нашей библиотеке. Я рассказал ему обо всем, что пережил в прошедшую ночь.

Он сидел и слушал, потом, как всегда, серьезно задумался и сказал:

— Человек может существовать только совместно с другими людьми, в своем доме или в своей стране. Это действительность. Жизнь. Когда с ним рядом люди, он чувствует себя в безопасности. Разрушьте дом у человека, выгоните его из

страны, и он пропадет. Это хорошо знают там, в правительстве, и потому так с нами и поступают: разрушают наши дома, сгоняют с наших земель, чтобы мы погибли. С изгнанниками можно сделать все, что угодно. Их можно переселять с места на место, можно истреблять. Им так холодно и голодно, они так напуганы, что не в состоянии понять, что с ними происходит. Мы должны драться за свой дом, Давид! — И добавил с тревогой во взгляде: — Мы должны драться за свой дом, иначе они развеют нас по ветру, как пепел.

ГЛАВА VII

До сих пор я отчетливо помню тот день, когда мы получили первое официальное уведомление о том, что наш квартал ликвидируется, а жителей отправляют на поселение. Мы участвовали в митингах, организовывавшихся Комитетом защиты Африканских западных пригородов, устраивали демонстрации, направляли правительству петиции с многочисленными подписями, которые собирали повсюду, даже вдали от Йоханнесбурга. Наш большой друг белый пастор Хадлстон произносил вдохновенные речи в защиту Софиатауна. Мы сопротивлялись изо всех сил, но нас никогда не покидал страх, почти уверенность, что эту борьбу мы проиграем.

И поэтому вывешенный на улицах роковой указ, предписывающий жителям покинуть дома до конца месяца, не был для нас неожиданностью. Как ни странно, но больше всех этот указ поразил Майкла, моего хладнокровного, выдержанного брата, марксиста, революционера.

Никогда не забуду его испуганного взгляда, когда, прочитав указ, он быстро зашагал домой, нервно дергая головой, что с ним бывало в мину-

ты крайнего потрясения.

Я вновь вижу перед собой правильные черты его лица, очки, черные как смоль, почти прямые волосы, делавшие его похожим на индийца, и темные беспокойные глаза.

Его страх, а затем ярость удивили нас. От кого угодно можно было ждать взрыва, только не от него. Папа очень любил наш дом, потому что здесь осуществилась мечта всей его жизни: он стал свободным, обеспеченным ремесленником, имеющим возможность дать детям образование.

По тем же причинам любила дом и мама. Кроме того, он когда-то принадлежал ее отцу. Но больше всего она была привязана к нашему дому, потому что здесь вырастила всех нас. Мама говорила: «Нет большего счастья, чем жить в своем доме с мужем и детьми».

А для нас дом был убежищем от бед, тихой гаванью, очагом, пристанищем, где мы чувствовали себя в безопасности. Без него мы не могли жить, как листья без дерева.

Когда я говорю «мы», то, само собой разумеется, имею в виду и Майкла. Хотя в действительности он с нами бывал очень редко.

По сути, уже с четырнадцати лет Майкл жил один, самостоятельно. Так он сам захотел.

Во время учебы всего несколько месяцев Майкл прожил у дяди Джонатана в Фаирфиве. А потом снял себе комнатушку и пошел работать, чтобы оплачивать ее самостоятельно. С тех пор так и повелось — дома он не жил. Говорил, что там ему мешают учиться, не дают сосредоточиться.

Мне было известно только, что Майкл живет один и часто меняет адреса. Обычно мы даже не знали, где именно он обитает, что очень огорчало маму. Она была убеждена, что чаще всего он ютится в лачугах, где дует изо всех щелей и протекает крыша.

Майкл был среди нас самым способным. Сандра тоже училась очень легко, но Майкл к тому же обо всем имел собственное мнение. Он был не по летам серьезен и развит и в том возрасте, когда мы еще носились по улицам, вел непринужденные беседы со взрослыми.

Его целеустремленность не знала границ. Если он решал что-либо сделать, ни болезнь, ни усталость не могли помешать ему.

Когда Майкл был маленьким, мама говорила, что он станет министром. Папа, улыбаясь, отвечал ей, что в ЮАР министры-африканцы появятся бог знает когда, но он согласен и на то, чтобы Майкла избрали хотя бы в парламент.

При этих словах глаза у папы озорно блестели, а мы так любили, когда папа шутил.

Вся наша родня гордилась Майклом, считала, что он далеко пойдет, и ревниво следила за его успехами в учебе.

Но жизнь Майкла сложилась совсем по-иному. Еще в колледже он увлекся марксизмом. Сначала многие наши родственники встревожились, а потом, когда Майкл заявил, что он коммунист, пришли в ярость.

Маму с папой тоже не очень обрадовало такое известие. Я надеялся, что это у Майкла временное увлечение. Студенты довольно часто бравируют своей принадлежностью к компартии. Но оказалось, что папа и мама знали Майкла лучше, чем я. Они не сомневались в твердости его политических убеждений и огорчались его выбором, будучи людьми глубоко религиозными. В нашей семье уже несколько поколений исповедовало христианство, и эта вера наложила на нас свой отпечаток. Папа с мамой и все наши родственники относились к религии с благоговением. Один Майкл составлял исключение.

Когда он однажды признался дома, что не верит в бога, родители не стали с нами спорить, не стали разубеждать.

— Если таков его путь, пусть идет им, — печально сказала мама. — Человек не может идти путем, предназначенным другому.

Они не рассердились на Майкла, не стали его меньше любить. Но я знаю, это причинило им боль, которая осталась на всю жизнь.

Майкл вступил в коммунистическую партию. Это было еще до ее запрета. Он был убежденным марксистом и вскоре стал видным деятелем левого крыла АНК. Он сопровождал Уолтера Сисулу и Дума Нокве[32] в международных поездках, в том числе в Советский Союз и другие страны социализма, откуда Майкл вернулся полный восторга. Его поразили достижения в этих странах, где народ сам решает свою судьбу. Впервые в жизни ему был открыт доступ в отели и рестораны для белых. Белые принимали его у себя дома как почетного гостя, он беседовал с министрами. С большим теплом он рассказывал также об Индии и Индонезии, где народ прогнал тиранов и вновь все свободно вздохнули, сбросив вековое рабство. После этих поездок он с удвоенной энергией громил алчность и лицемерие западного капитализма.

---

[32] Примечания: 32

Дума Нокве (1927—1978) — видный деятель АНК, долгое время его Генеральный секретарь.

Родня была явно разочарована и даже осуждала его, когда он после окончания университета решил стать профсоюзным деятелем. «Прежде всего это не профессия, — говорили родственники. Никакого почета, заработки низкие, а учитывая обстановку в Претории, в будущем, кроме тюрьмы, ждать нечего».

Майкл невозмутимо слушал и кивал головой, — я как сейчас вижу его правильный профиль на фоне темного окна, — затем тихо сказал:

— Тюрьма, да... Надо только постараться как можно позже попасть туда и заранее позаботиться, чтобы было кому заменить меня в профсоюзе.

Реакция мамы и папы была иной, чем у остальных родственников. Я думаю, что они с самого начала поняли, почему Майкл не заботился о своей карьере. Они были не столько огорчены, сколько растроганы, и, наверное, как и другие, немного разочарованы, ведь все наше семейство лелеяло мечту о триумфе Майкла. Но родители не стали его отговаривать, когда он поделился с ними своими планами идти работать к шахтерам и организовать там профсоюз, настоящий, а не такой, какие находятся под контролем белых и в критический момент предают интересы рабочих.

Но в душе папе и маме нравилось решение Майкла, и они гордились сыном. Они одни понимали, что значат для него справедливость и правда. Только им он рассказывал о своих планах. То, что мне известно о Майкле, я узнал от родителей, а не от него самого.

Однажды вечером, спустя года три после того, как Майкл начал работать среди шахтеров, он как-то пришел домой, поужинал с нами и остался посидеть поболтать. Майкл был худ, как скелет, глаза ввалились. Но он бодро сказал, что у него все в порядке, только очень устал. Когда Майкл ушел, мама с нежностью проговорила:

— Он заботится о своих шахтерах, как о маленьких детях. Майкл заменил им отца с матерью. Он живет в комнатушке еще меньшей, чем у них. Разрешает приходить к нему в любое время. Внимательно выслушивает их и всегда старается помочь. Гроши, что он зарабатывает, отдает тем, кто имеет еще меньше, и когда мы даем ему что-нибудь, он и этим делится с шахтерами. Некоторые говорят, что подлые мошенники ввели Майкла в заблуждение и пользуются его добротой, что из-за общения с пропащими людьми и чтения вредных книг он и сам пропадет. Но они ошибаются. Может быть, он и пропадет, но

не по чьей-то вине. Он сам избрал этот путь. И очень хорошо, что он оказался в гуще народа. Человек должен знать, как живут другие. Майкл призван нести счастье людям. Это его предназначение в жизни. Иной цели у него нет и не будет. Надо делать лишь то, что считаешь правильным. Когда Майкл говорит о человеческой несправедливости, у него горят глаза. Он жаждет ее уничтожения. Но он считает, что несправедливость порождают люди. Она не возникает сама собой. «В том, что несправедливость существует, вина каждого из нас, — говорит Майкл, — и незачем перекладывать ответственность за это на плечи других. Несправедливость начинается в человеке. Но почему мы носим ее в себе? — спрашивает Майкл, страдая от боли и не зная против нее лекарства. — Почему мы такие? Как можем мы быть счастливы, когда у нас в душе царит несправедливость? Как можем мы есть, когда утроба полна несправедливости? Почему нас не вырвет, если мы больны и нас тошнит? Мы не страдаем, когда кто-нибудь голодает, даже если у нас хватает пищи и мы могли бы ею поделиться. Нас это не трогает. О нет, мы загораживаем свою тарелку руками, чтобы голодный не посягнул на нее. На каждом шагу мы встречаем этих несчаст-

ных, читаем страх в их глазах, видим их лица, морщинистые и серые, слышим их робкие, неуверенные голоса. Но нас это совсем не огорчает. У нас есть великолепное свойство: мы не замечаем того, что нам не хочется замечать, забываем все неприятное. А если кто-то настойчиво напоминает нам о нем, показываем ему на дверь. Но это случается не так уж часто. Мы живем в безопасности, как личинки в коконе, там тепло и уютно. Холод и невзгоды нас не коснутся. Единственная наша заслуга в том, что мы хотя бы осознаем всю меру нашей подлости».

Майкл страдал от того, что человек так подл. Страдал физически, становился больным.

Тогда я не мог себе этого представить. Майкл и страдания казались мне несовместимы. Он всегда был таким уверенным, спокойным, таким хладнокровным, сильным и неуязвимым.

У него были подруги, то одна, то другая. Иногда он жил вместе с какой-нибудь девушкой, но не очень долго, и ни одна не стала его женой. Мы думали, что у него нет потребности в семейном очаге, он не жаждет семейного тепла.

Вот почему мы не могли понять его бурной реакции на принудительное выселение жителей Софиатауна. Нам казалось, что его это задевает

гораздо меньше, чем других. Нас не удивило бы, если он вообще не обратил на это событие никакого внимания. Но вышло совсем наоборот. Он словно обезумел.

Только мама не удивилась. Теперь я понимаю почему. Она — наверняка и папа тоже, ведь родители всегда единое целое — знала, что Майкл совсем не так хладнокровен и неуязвим, как кажется.

Я хорошо помню то утро, когда мы в толпе людей, пугливо жмущихся друг к другу на углу улицы, прочли только что приклеенное на заборе постановление властей. Дядя Джереми, открывая свою лавку, видел, как двое полицейских что-то наклеили на забор, и пошел прочесть. В мгновение ока возле постановления столпился народ.

Папа, обняв нас за плечи, с угрюмым видом пробормотал:

— Все же они решились на это. — И, повернувшись к маме, стоявшей рядом, сказал: — Сара, мы надеялись, что нас пугают, чтобы утихомирить, но они все же решились на это.

— Правительство уверяло, что будет ликвидировать только трущобы, — проговорила Роза, — чтобы предотвратить эпидемии в городе, а у нас здесь стоят добротные кирпичные дома.

— Они хотят выселить нас подальше от себя, — перебил ее Джимми. — Мы негры. Они желают, чтобы в здешней округе жили люди только с белой кожей.

Я видел, как папа успокаивающе положил руку ему на плечо. Джимми очень изменился после смерти Тома. Он почти не улыбался, часто бродил в одиночестве с задумчивым видом.

— Ну, раз они так нас боятся, надо позаботиться, чтобы у них были причины для этого, — продолжал Джимми.

Роза испуганно посмотрела на папу.

— А что мы можем сделать? — спросила она. Улицу заполнили толпы черных. Они скандировали лозунг, выдвинутый АНК: «Мы не уйдем».

Тут к нам подошел Майкл и спросил, что случилось.

— Дело серьезное, — сказал папа мягко.

— Что ты имеешь в виду?

— Нас выселяют.

— Как! В самом деле? Навсегда? — Майкл бросился расталкивать толпу, чтобы самому прочесть указ.

— Мы не уйдем отсюда, — со злостью сказал Джимми.

— В постановлении говорится, что в прави-

тельство внесено предложение, по которому недвижимое имущество чернокожих не должно передаваться наследникам, — сказал дядя Джереми. — А на новом месте нам не разрешают строиться. Там мы сможем только арендовать жилье. Таким образом, лет через двадцать — тридцать по всей ЮАР ни один чернокожий не будет иметь ни своего дома, ни своего клочка земли. Пока это еще предложение. Но что помешает им принять его? Все предложения подобного сорта до сих пор принимались. Им никто из нас не нужен. Они сами вносят такие предложения и сами их принимают.

— Да, так оно и есть! — раздались голоса в толпе.

Вернулся Майкл. Он был бледен.

— Мы не допустим этого! — воскликнул он. — Мы не позволим изгнать нас отсюда!

— Есть надежда, что нам удастся сохранить дом? — спросила мама. — Джон, есть хоть малейшая надежда?

— Не знаю, — ответил папа подавленно.

— Никакой надежды, — сказал Джимми. — Уж если ни отец Хадлстон с епископом Ривзом, ни

Альберт Лутули и Алан Пейтон[33], несмотря на все свои усилия, не смогли этому воспрепятствовать, что можем сделать мы?

— Пойдемте, надо собраться всем вместе и подумать, что можно предпринять, — сказала мама. — Майкл, ты куда? Майкл! Майкл, вернись!

Но Майкл снова устремился в толпу и, пробравшись к забору, со злостью сорвал постановление. Потом разорвал его на мелкие кусочки, растоптал ногами и крикнул:

— Где еще висят такие бумажки?

— Там! Там! — раздались в толпе возбужденные голоса.

— Кто пойдет со мной? — спросил Майкл.

— Мы! Мы! И мы! — ответила толпа.

— Нет, не делай этого! — закричала мама. — Майкл! Майкл, не надо!

Она стала отчаянно протискиваться к нему сквозь толпу, а папа принялся уговаривать людей.

— Идите по домам! Пожалуйста, расходитесь. Не надо срывать постановления. Этим не поможешь. Вы только все усложните. Ступайте домой.

---

[33] Примечания: 33

Алан Пейтон (род. в 1903 г.) — известный южноафриканский писатель.

Маме удалось пробраться к Майклу. Она схватила его за руку.

— Нет, они не сломают наши дома! — твердил он, вырываясь. — У них нет такого права…

Он повернулся к толпе и крикнул:

— Давайте покажем тем, кто собирается ломать наши дома, что мы сделаем с их бумажками!

— Да! Да!

Толпа с воплями устремилась за Майклом через площадь на соседнюю улицу. Мама силой удержала Джимми на месте. Мы с папой попытались образумить Майкла. Никогда прежде я не видел его таким возбужденным. Он резко оттолкнул нас, сорвал и растоптал постановления еще в трех местах.

— Вот-вот появится полиция, она уже в пути, — с тревогой говорил папа. — Я убежден, что предатели уже известили ее…

Мы старались втолковать это Майклу, но он не слушал нас. Он был невменяем и так яростно отбивался, что к нему невозможно было подступиться.

И тут произошло то, чего мы так опасались. Раздались револьверные выстрелы, толпа бросилась врассыпную, в переулке послышался шум приближавшейся автомашины.

— Надо увести его домой, — сказал папа испуганно. — Я постараюсь свалить его, схватив за ноги. Потом мы оттащим его вон в тот двор.

Но Майклу удалось вырваться от нас и замешаться в толпе. Укрывшись в узком проходе между домами, мы слышали, как одна за другой пронеслись две полицейские машины.

«Вряд ли они сумеют схватить его в такой давке», — утешал я себя.

Чтобы узнать, не арестовали ли Майкла, мы с папой пошли в ту сторону, откуда слышался шум и выстрелы, и стали расспрашивать встречных. Некоторые видели, как за Майклом гнались полицейские, но никто не знал, поймали ли его.

Один старик сказал, что ему встретился Майкл, когда полиция уже уехала. У нас появилась надежда, что ему удалось скрыться. Но поиски зачинщиков не прекращались. Подъехал грузовик, полный полицейских с пистолетами в руках. Они рассыпались по соседним улицам.

По дороге домой нас не раз останавливали и требовали паспорта. А один раз полицейский, проверив наши паспорта, задержал нас и отвел к грузовику, в котором сидел капитан. На вопрос капитана папа ответил, что мы не знаем, где находится Майкл. Капитан не очень ему поверил

и сначала даже хотел отправить нас в тюрьму, но в конце концов все же отпустил.

Когда мы подходили к дому, мама выбежала навстречу.

— Его арестовали? — спросила она взволнованно.

— Никто не знает, — ответил папа, — а это уже неплохо.

Но им, так же, как и мне, было известно, что Майкл плохо ориентируется в Софиатауне. Ребенком он не любил играть на улице, а позже, когда пошел учиться, сидел дома за книгами. Он мало общался с соседями и редко ходил в гости к сверстникам. Майкл всегда был домоседом. Поэтому мы очень о нем беспокоились.

Все утро мы со страхом ждали дурных известий, уверенные, что, если Майкла арестуют, кто-нибудь нам немедленно сообщит.

Но когда и в полдень никто не пришел, у нас появилась надежда.

— Он где-то спрятался, — сказал папа. — Отсиживается в укромном месте, и его не могут найти.

После обеда я пошел в колледж. Там у меня было три урока и репетиция в хоре, которым я руководил. Наспех проведя занятия, я помчался

домой.

— Все еще никаких известий, — сказал папа, как только я вошел в комнату. — Он в надежном месте.

Тут с обыском явилась полиция. Они побывали у нас еще утром, до того, как мы с папой вернулись домой. А теперь явились вторично. Трудно было получить лучшее подтверждение тому, что Майкл на свободе.

Это известие мигом облетело всю округу. И сразу же к нам собрались друзья и родственники, чтобы разделить нашу радость. В тот страшный день это был самый счастливый момент. Когда все разошлись, Роза сказала:

— Я вот сижу и думаю… Вы не обратили внимания, что Майкл последние месяцы стал чаще, чем прежде, появляться дома?

Я удивленно посмотрел на нее.

— Да, — продолжала Роза. — Он приходил не надолго, иногда всего на несколько минут. Но приходил часто. Я помню, что как-то про себя подумала: смотрите-ка, опять пришел, и радовалась его приходу. Но это было так непривычно. Я заметила, что он все время бродит по дому. Заходит то в гостиную, то в спальню, то на кухню, то в мастерскую.

— Наш мальчик одинок, — задумчиво произнес папа.

— Мне так хотелось, чтобы у него как-то закрепились отношения с Мари, — сказала мама.

Мари работала на одной шахте с Майклом медицинской сестрой. Я знал ее. Это была красивая, стройная девушка из племени зулу. Родилась она в Питермарицбурге. Воспитывалась в миссии, потом окончила курсы медсестер в Йоханнесбурге и поступила работать на шахту Сандорф. Там же работал и Майкл. Они вместе стали заниматься профсоюзными делами.

Вскоре до нас дошли слухи, что и свободное время они проводят вместе. Мама отправилась познакомиться с Мари и, вернувшись, сказала:

— Она очень любит Майкла. И мне кажется, он тоже ее любит. У него даже голос меняется, когда он говорит о Мари. Без конца рассказывает о ее собранности и аккуратности. Видно, ему приятно говорить о девушке.

Теперь, когда мы все тревожились за судьбу Майкла, мама снова сказала:

— Мне очень хочется, чтобы он по-настоящему полюбил Мари. Ему было бы легче строить свою жизнь.

— Сейчас важнее найти его и спасти от поли-

ции, — возразил Джимми.

Он стоял, прислонившись спиной к шкафу и скрестив руки на груди.

— Да, — согласилась мама, и голос ее дрогнул от тревоги. — Это самое главное. Но если мы найдем Майкла, ему придется долгое время скрываться.

Она повернулась к папе и спросила:

— Ты не знаешь, какое наказание дают за уничтожение постановлений?

Папа задумался, но за него ответил Джимми:

— Сейчас они дают сколько хотят, когда хотят и кому хотят.

Эти слова снова напомнили нам о жестокой, тупой силе, словно пришедшей из другого мира, чтобы уничтожить наше счастье. Она была подобна страшному чудовищу, которое без разбора крушит все вокруг и от которого некуда укрыться.

О, как хорошо вдруг я понял Майкла. Он пришел к нам, когда повсюду воцарился страх. Он шел, колеблясь, нерешительно, стыдясь своей слабости. Но все же пришел домой, как делали мы все в детстве, когда нам угрожала какая-нибудь беда, малая беда нашего веселого детства.

Я тоже, как Майкл, последние недели стал чаще бывать дома. Так же, как он, я хотел найти

убежище, быть в безопасности, обрести добрый, утешающий и от всего укрывающий покой, который существует только под родительским кровом.

Я спрашивал себя: а заметили ли наше возвращение папа с мамой? Пожалуй, да. И больше всего их тревожило то, что над пристанищем, где мы все искали убежище, нависла угроза, что дом, где они хотели бы укрыть нас, скоро будет покинут, открытый всем ветрам и дождям. Беда войдет в него и рассыплет в прах.

О боже, чего стоит мир, мир, в котором нет убежища от бед, мир, где люди живут в страхе и одиночестве?

Мы не могли сами разыскивать Майкла, ибо этим подвергли бы его большей опасности. Но мы по очереди не спали ночью, на случай, если кто-нибудь принесет о нем весточку.

В полночь я сменил Розу и уселся в кресле с книгой. Вдруг мне послышался какой-то шорох в саду, будто треснула сухая ветка. Потом я отчетливо услышал быстрые шаги.

Я открыл дверь в сад и увидел в темноте двух мужчин, согнувшихся под тяжестью какой-то ноши. Они несли человека.

— Это Майкл? — испуганно спросил я, подбегая

к ним.

— Да, он ранен, — ответил один из мужчин.

Я узнал Питера и Мики, сыновей Леонарда Аманзи, шахтера, дом которого стоял за нашим садом.

— Давайте, я помогу вам.

— Откройте шире двери, — распорядился Питер. — Распахните их совсем, чтобы Майкл ни к чему не прикоснулся. Его ищут с собаками.

Тело Майкла казалось безжизненным. Он был без сознания. Я быстро открыл двери и впустил их в дом.

— Ну вот, так лучше, — сказал Питер. — В саду собаки собьются со следа.

Папа и мама, услышав шум, выбежали в прихожую.

— Майкл! — испуганно воскликнула мама.

— Не волнуйтесь, мама Пондо, — успокоил ее Питер. — Он ранен, рана несерьезная. Он долго бежал раненый и, видно, потерял сознание от потери крови. Пуля попала в бедро.

— Как все это произошло? — спросил папа.

— Полиция знает, что он ранен. Они видели, как он упал. Агенты пустили по его следу собак. Майкл добежал до Африканских западных пригородов, там он упал обессиленный. Старый Баки

поднял его и на руках перетащил через улицу Пертлаан. Таким образом собаки сбились со следа. Потом Майкла переносили из дома в дом, пока он не попал к нам. Сегодня ночью повсюду рыщут полицейские. Но Майкла нигде не опускали на землю, так что собаки наверняка потеряли след.

— Спасибо, Питер! Спасибо и тебе, Мики, — произнес папа растроганно. — Я всех обойду и поблагодарю.

— Труднее всего пришлось Баки, — прервал папу Питер. — Пертлаан широкая и ярко освещенная улица. Полиция могла увидеть его издалека. Там постоянно ездит автопатруль.

— Завтра же пойду к нему и поблагодарю, — ответил папа.

Сплоченность людей, их сочувствие и помощь приободрили его морально и физически.

— Ну, мы пошли, — сказал Питер. — Полицейские где-то здесь на площади. Лучше, если они не заметят у вас в доме никакого движения.

Как только прибежали Джимми и Роза, я помчался к доктору Мбабете. Несмотря на свой возраст, добрый старый доктор, безотказно спешивший по первому же зову, работал за троих.

Он сам открыл мне дверь и озабоченно посмотрел на меня, седой сгорбленный старик с

морщинистым лицом. Выслушав мой рассказ, доктор начал поспешно собирать свой чемоданчик.

— Ты ступай домой, — сказал он. — А я приду вслед за тобой. Для Майкла безопасней, если нас не увидят вместе. Я войду в дом Клариссы, а потом через ее сад к вам. Только предупреди Клариссу. Надо соблюдать осторожность.

— Хорошо, благодарю вас, доктор Мбабете.

На обратном пути меня задержал полицейский патруль, но, увидев по паспорту, что я священник, отпустил. Вот почему, если нужно было куда-то выйти ночью, всегда отправлялся я.

Возле ворот я увидел Джимми, он вел наблюдение за площадью. Джимми сказал мне, что они разбудили дядю Джереми и тот караулит неподалеку от нас в переулке.

Майкл был еще без сознания. Его положили на кровать, в комнате родителей. Здесь когда-то прятали Бенго и многих других. Альков плотно закрывался платяным шкафом. Сейчас шкаф отодвинули, но так, чтобы его можно было быстро поставить на место, если Джимми подаст сигнал с улицы.

Роза разрезала Майклу брюки и смыла теплой водой кровь с бедра.

— Здесь, — прошептала она, — здесь вошла пуля. Боюсь, что она осталась в теле. Я не вижу выходного отверстия. Мама, вскипяти побольше воды и приготовь чистые полотенца.

Вернувшись в комнату, мама спросила:

— Очень скверно, что пуля не вышла?

— Все зависит от того, где она засела, — ответила Роза. — Если в мышцах — беда невелика.

— Он много потерял крови?

— Думаю, что да. Пульс слабый, но ритмичный.

Минут через пятнадцать появился доктор Мбабете. Когда Роза сообщила ему, что пуля, вероятно, не вышла, он сказал:

— Мне потребуется много горячей воды.

— Вода уже готова, — ответила Роза. — А вот чистые полотенца.

— Умница, Роза, — похвалил ее доктор Мбабете, — вижу, тебе ничего не надо подсказывать, так же было, когда ты проходила у меня практику. Этот шкаф в случае необходимости можно придвинуть?

— Да, конечно, но вам трудно будет оперировать в алькове.

— Ничего, кровать широкая. Я сяду с этой стороны, а ты, Роза, там в ногах. Будешь подавать

инструменты и лекарства. Если еще повесить лампу над кроватью, чем не операционная!

Он осмотрел Майкла, померил кровяное давление.

— Если потребуется переливание крови, — сказала Роза, — то имейте в виду, у нас с Майклом одна группа.

— Нет, думаю, что обойдемся без переливания. Давненько я не видел этого вашего сына, мама Пондо.

— Он работает в профсоюзе на шахте Сандорф.

— Молодой человек, сдается мне, много работает, мало спит и много курит.

— Вы правы. Мы не раз говорили ему об этом.

Доктор Мбабете помассировал руки и начал прощупывать бедро Майкла. В это время в комнату вошел Джимми и знаком вызвал папу.

— Баки! Наш добрый друг Баки! — услышал я голос папы.

Я тоже поспешил в гостиную и увидел в дверях старого Баки. В молодости они с папой трудились на одной шахте и с тех пор дружили. В последние годы Баки частенько работал у нас в саду. Это был маленький, приветливый и добродушный старичок, которого мы все очень любили.

— Ты спас его, — говорил папа, пожимая руку

Баки.

— Он дома? — спросил Баки.

— Да, у него доктор Мбабете.

— Хорошо. Я пришел узнать, здесь ли Майкл. Он просил нас отнести его домой.

— Он был в сознании, когда ты его подобрал? — удивился папа.

— Да, но так обессилел, что не мог встать. Он подполз к моему дому, и тут силы оставили его. Я услышал шум и вышел. Майкл попросил меня: «Пожалуйста, отнесите меня домой».

Баки взглянул на маму и, поколебавшись, продолжал:

— Он плакал, когда говорил со мной, у него совсем не было сил. А потом он потерял сознание. Я очень рад, что теперь он дома.

— Ты перетащил его через Пертлаан, — проговорил папа, — хотя эта улица ярко освещена и в любую минуту могла появиться полиция.

— Я отнес его к моему брату Мозесу. Он прятал его около часа под кроватью. Но повсюду шли обыски, и брат отнес Майкла к Бюццу, нашему племяннику. Так и перетаскивали его, пока не добрались до вашего дома.

— Да благословит тебя бог, Баки. Да благословит всех нас.

— Утром я загляну справиться, как он себя чувствует.

— Заходи.

Когда я снова вошел в комнату, Майкл метался на кровати и стонал. Рядом стояла мама и, держа его за руки, что-то тихо говорила. Майкл открыл глаза и мутным, неподвижным взглядом уставился в потолок. Из его груди с хрипом вырывалось дыхание, он со стоном что-то бормотал, словно его мучил страшный сон.

Мама положила ему руку на лоб, но Майкл продолжал метаться.

О, какой же он был худой! Каким выглядел слабым, беспомощным и беззащитным…

Мы все были в пижамах, у Джимми из-под плаща тоже выглядывала пижама. Мы предусмотрительно расстелили постели, чтобы быстро в них улечься, если нагрянет с обыском полиция. Дом был погружен в темноту. Свет горел только в спальне родителей, где мы все собрались.

В ногах у Майкла Роза примостила столик, поставила на него таз с горячей водой и положила стопку полотенец.

Моя руки, доктор Мбабете сказал ей:

— Если придет полиция, подашь мне флакон с хлороформом и вату. Надо сделать так, чтобы

Майкл из расшумелся, когда задвинем шкаф.

Он забрался в альков и уселся у стены. Пока доктор раскладывал инструменты и расставлял флаконы с лекарствами, Роза принесла второй тазик с кипятком и тоже устроилась в алькове.

Мама светила доктору лампой с ночного столика, а мы с папой стояли наготове, чтобы в случае опасности задвинуть шкаф на место.

Доктор Мбабете сделал Майклу два укола и занялся поисками пули. Он был так поглощен своим делом, что ничего не видел и не слышал вокруг. Мы знали, что в такие минуты с ним бесполезно разговаривать. Время от времени он что-то бормотал Розе, и та подавала нужный инструмент.

Через час его лоб покрылся капельками пота, а спустя еще полчаса, когда Роза не сразу поняла его, он крикнул раздраженно:

— Эфир!

Потом, вздрогнув от звука собственного голоса, поднял голову и проговорил:

— Не волнуйтесь, мама Пондо. Это трудная и кропотливая работа. Важно не задеть артерию. Будьте терпеливы. — И добавил, весело подмигнув: — Будьте терпеливее меня.

— Пуля засела в бедре или мышцах?

— Думаю, что в мышцах.

— А не в позвоночнике, вон в том месте? — обеспокоенно спросила мама.

— Нет, нет, это ушиб. Наверно, след от сапога. Такие кровоподтеки мне частенько приходилось видеть. Наверное, они поймали нашего мальчика, но ему удалось вырваться и убежать.

Прошло два часа, а доктор все не находил пулю. Он очень устал. Я заметил, что он все чаще проверяет пульс Майкла. Доктор расширил рану, настойчиво продолжая поиски. Вдруг у него заблестели глаза.

— Есть! — воскликнул он. — Я нащупал ее. Она сидит вот здесь. Длинные ножницы, Роза!

Прошло несколько минут, пока он миллиметр за миллиметром вводил в рану инструмент на нужную глубину. И тут мы услышали с улицы короткий тихий свист — сигнал Джимми.

— Нет! Только не сейчас! — испуганно воскликнула мама.

— Это нестрашно, — успокоил ее доктор Мбабете. — Я знаю, где сидит пуля. Это самое главное. Надеюсь, что обыск будет длиться недолго.

Он вытащил из раны инструмент и накрыл ее марлей. Роза схватила пузырек с хлороформом и вату и протянула доктору Мбабете. Мама поста-

вила лампу на столик, а мы с папой задвинули шкаф на место. В комнату вбежал Джимми и, стащив с себя плащ, запыхавшись, сказал:

— Машина Особого отдела. Возможно, к нам.

Мы разбежались по своим комнатам и улеглись в постели. Когда машина остановилась у ворот, в доме было темно и тихо. Полицейские сначала позвонили, а потом стали барабанить в дверь кулаками. Затем раздался звон разбитого стекла, треск досок, а вслед за этим что-то упало.

Они сломали стеклянную дверь в сад, подумал я со страхом. Видно, здорово злы на нас. Может быть, доктор прав: Майкл был у них в руках, но сумел убежать.

Я встал, намереваясь подойти к двери, но в этот момент два агента ворвались в коридор, куда выходили наши спальня. Они закричали, чтобы все оставались на своих местах. Стул, стоявший на дороге, от удара ногой отлетел в конец коридора. Столик с красивой старинной вазой оказался перевернутым, ваза вдребезги разбитой.

Сначала пришельцы учинили погром в гостиной, а потом послышался грохот и звон стекла в мастерской. В мою комнату вошел дюжий детина с бледным тупым лицом. Он стащил с кровати одеяла и простыни и бросил их на пол. Затем

перевернул кровать. Распахнув дверцы гардероба, одним взмахом вышвырнул с полки белье, за бельем полетели костюмы. Ограничившись этим, он вышел, не проронив ни слова.

Дверь в мою спальню осталась открытой, и я слышал, как полицейский прошел в комнату родителей. Вероятно, он и там принялся раскидывать вещи, потому что раздался возмущенный голос мамы:

— Эй, что вы делаете? Вы можете обыскивать, не швыряя все на пол.

Я вышел и увидел, что сыщик выкидывает вещи из шкафа, загораживавшего альков. Мама пришла в ярость и гневно спросила:

— Может быть, вам больше придется по душе выкинуть все в окно?

— Хорошая идея, — сказал сыщик и сгреб в охапку кучу простыней и одеял.

Мама схватила кувшин с водой и крикнула:

— Если вы выбросите вещи, я вылью вам на голову этот кувшин с водой!

— Только попробуй, — пригрозил сыщик, открывая окно и намереваясь выкинуть вещи.

Через мгновение он стоял мокрый — вода стекала с него ручейками.

— Как ты смеешь? — заорал сыщик, краснея

от ярости.

Мама вцепилась в белье, пытаясь вырвать его из рук агента.

— Может, пойдем с этими тряпками к вашему капитану? Или мне сразу министру подать жалобу?

— Оставь ее, Виктор, — сказал второй агент, появляясь в дверях.

— Не могу же я позволить обливать себя водой, — кипятился первый. — Вдобавок какой-то черномазой!

— Еще не пришло время выбрасывать их вещи из домов, — ответил второй.

А когда первый что-то хотел возразить, второй повторил многозначительно:

— Еще не пришло время!

Потом спросил, все ли тот осмотрел. Напарник кивнул удовлетворительно, и они ушли.

Когда в алькове кто-то прятался, мама всегда разыгрывала подобные сцены, стоило полицейским добраться до шкафа. Она старалась отвлечь внимание сыщиков на себя и тем самым мешала обыску.

Номер с кувшином воды исполнялся не впервые. За это не могли наказать строго. Правительству без конца досаждали жалобами на

полицейских, которые повсюду злоупотребляли властью. Ходили слухи о случаях изнасилования черных девушек белыми полицейскими и сотрудниками тюремной охраны.

Подобные слухи очень раздражали правительство, к тому же жалобы населения отрицательно влияли на продвижение полицейских чинов по службе.

Сыщики ушли, но через полчаса явились снова, желая застать нас врасплох. Но и этот трюк нам давно был известен. Мы ждали их.

Через четверть часа, после вторичного ухода сыщиков, доктор Мбабете извлек наконец пулю. Когда он вместе с Розой заканчивал перевязку, мама обеспокоенно спросила:

— А разве не пора ему прийти в сознание?

— Он в сознании, — ответил доктор Мбабете, — но спит. Я сделал ему укол морфия. Он проспит весь завтрашний день. Если начнется рвота, не беспокойтесь. Это от морфия, нестрашно также, если рана будет кровоточить. Роза знает, что надо делать. Ай-ай, — кряхтел он, когда мы помогали ему выбраться из алькова. — Как у меня затекли ноги!

Доктор Мбабете кивнул на Майкла и сказал:

— Этому молодому человеку необходимо поле-

жать несколько недель. Надо, чтобы у него вот это место отдохнуло, — доктор постучал пальцем по лбу Майкла.

Он собрал инструменты, выписал рецепт и добавил:

— Это для сердца, по три таблетки в день. Пусть принимает, как только проснется. Давайте ему бульон, молоко, если захочет. И покой, покой… Роза, я оставлю вам пузырек хлороформа на случай, если эти парни заявятся еще раз.

— Уходить вам лучше через сад Леонарда Аманзи, — сказал папа, — я договорился с ним. Если потребуется, он подтвердит, что у него было плохо с сердцем и вы приходили сделать укол. Его каждый день колют, так что он всегда может показать на руке свежий след от иглы.

ГЛАВА VIII

На следующий день мы узнали, как ранили Майкла. Нам рассказал дворник Босиго. Он услыхал выстрелы, когда подметал переулок Пандора. Потом увидел Майкла, который бежал от полицейских. Едва Майкл спрятался в одном из домов, как из-за угла выскочил полицейский. Он подбежал к Босиго и спросил, в каком доме скрылся этот парень.

— Ни в каком, — ответил Босиго. — Он удрал из переулка.

Полицейский не поверил и стал избивать Босиго дубинкой.

— Говори, в каком доме он спрятался, или забью до смерти! — орал полицейский.

И тут из дома выскочил Майкл и бросился на полицейского, между ними завязалась борьба. Потом раздался выстрел и через мгновение — второй. Майкл вскочил, а полицейский остался лежать на мостовой.

— Быстрее прячься, пока не подоспели другие, — крикнул Майкл Босиго. Держась за бедро и хромая, он выбежал из переулка. Босиго последовал совету Майкла и юркнул в дом. В окно он

увидел, как два полицейских вбежали в переулок, остановились у лежавшего на земле товарища и начали свистеть. Подоспели еще несколько человек и унесли раненого.

— Он был жив, — сказал Босиго. — Я видел, что он шевелился.

Потом пришли агенты с собаками и дали им понюхать следы. Собаки натянули поводки, приготовившись ринуться по следам Майкла. Один из агентов обмакнул платок в кровь на мостовой и дал понюхать собакам. Те с такой силой стали рваться вперед, что агенты с трудом удерживали их на поводках.

Это были доги. Мы знали этих догов Особого отдела, огромных псов с злобными глазами и слюнявыми мордами. Нам доводилось видеть, как они преследовали воров на золотых и алмазных приисках. Псы были натасканы не только преследовать свою жертву, но и рвать ее на куски.

Поэтому-то всю дорогу до нашего дома Майкла и пронесли на руках. Слишком хорошо черные знали этих свирепых собак.

И все же тот день оказался для нас добрым: доктор Мбабете извлек пулю, нам стало известно, что Майкл спас Босиго, хотя сам был в беде, а друзья с риском для собственной жизни принесли

его домой.

Днем шкаф отодвинули так, чтобы можно было видеть больного. В родительской спальне постоянно кто-нибудь находился. На улице и в саду тоже все время дежурили. Чаще всего это были Джимми и я или один из наших кузенов, живущих на этой улице.

Майкл проспал всю ночь. Утром он зашевелился, открыл на мгновение глаза, но потом опять уснул.

В полдень Майкл проснулся и уставился в потолок. Около больного сидела Роза. Она схватила его за руку и позвала:

— Майкл!

Он улыбнулся и слабо пожал ей руку. Она бросилась за родителями, но, когда они пришли, Майкл опять уже спал.

— Он видел тебя? — спросила мама.

— Да, конечно, — ответила Роза, — он улыбнулся и даже пожал мне руку.

— Тогда он знает, что находится дока, — обрадовалась мама. — Это хорошо! О, это очень хорошо!

Вечером Роза забеспокоилась, не слишком ли долго Майкл не просыпается. Но пришел доктор Мбабете, осмотрел раненого и сказал:

— Сон — самое лучшее для него лекарство.

Когда доктор ушел, я остался с родителями в комнате. Мама сказала:

— Помните позапрошлое воскресенье? Майкл пришел и сказал, что забежал всего на минутку. Я пошла поставить чай, а он сел в кресло у окна. Когда я вернулась с чаем, он спал. И так в кресле проспал полдня. Проснулся, когда ребятишки на улице начали играть в футбол, и, улыбаясь, сказал: «Мне приснился сон, что я сижу на солнышке и вырезаю узор на палке, а рядом лежит наша старая кошка Мика. Ты помнишь это, Джон?»

Папа с улыбкой кивнул, а потом вдруг воскликнул:

— Майкл!

Мы с радостью увидели, что Майкл смотрит на нас, и быстро отодвинули шкаф.

— Как ты себя чувствуешь, мой мальчик? — спросила мама, взяв его за руку.

— О мама, — прошептал Майкл. Глаза у него засветились счастьем, и тут он увидел папу и меня.

— Папа… Давид…

— Ты спасен, — проговорила мама с глазами, полными слез. — Доктор Мбабете вынул пулю. Теперь ты должен только отдыхать.

Прибежали Роза с Джимми. Следом за ними

пришли дядя Джереми и дядя Чарльз с тетей Гертрудой, потом — соседи. В доме стало тесно. Пришлось папе попросить всех разойтись, чтобы не привлекать внимания полицейских.

Когда мы остались одни, Майкл с испугом спросил:

— Что делать? Папа, мама, что делать?

— Ты о чем, мальчик? — подошел к нему папа.

— Что делать, чтобы сохранить наш дом?

На улице послышался предупреждающий свист. Мы подвинули шкаф на место и поспешили убрать подарки, принесенные Майклу родней и соседями.

Немного погодя вошел Джимми и успокоил нас. Оказывается, проезжала полицейская машина, остановилась у церкви Христус-Конинг, а потом двинулась дальше.

Когда мы снова открыли альков, Майкл взволнованно заявил, что не хочет подвергать нас опасности.

— Я могу спрятаться у рабочих на приисках, — сказал он, — достану паспорт на вымышленное имя. Это нетрудно. Я постоянно снабжаю документами людей, которым приходится скрываться.

— И речи быть не может, что ты уйдешь отсюда, — заявила мама.

Майкл с тревогой посмотрел на папу и спросил:

— Что нам делать? Нигде в мире не выгоняют людей из домов просто так, ни за что. Что нам делать?

Так непривычно, но радостно было слышать от него это «нам».

— Мы скоро получим инструкции от АНК, — ответил папа. — И будем делать, как рекомендует конгресс. Альберт Лутули мудрый человек. Он позаботится о нас.

Не так давно, к нашей радости, Альберт Лутули, мой добрый учитель, был избран президентом АНК. Так народ ответил на решение правительства сместить его с поста главы резервации Умвоти.

В день выборов, несмотря на свою занятость, Лутули выбрал минуту и заскочил к нам в Софиатаун. О, как было приятно вновь ощутить его крепкое рукопожатие, увидеть добрую лучезарную улыбку. Он вновь всех нас очаровал своей скромностью и непосредственностью.

Правительство поспешило наложить на него домашний арест, теперь он не мог ездить по стране и выступать на митингах. Но он тайно продолжал свою работу, использовал любой по-

вод, чтобы появиться перед людьми, и делал все, чтобы народ знал, что он жив, и чтобы эта весть придавала людям силы.

Было больно смотреть, как трудно папе напускать на себя беззаботный вид, когда все ясно понимали, что он готовится к самому худшему. Он не видел выхода, не знал, что предпринять, чтобы спасти наш дом. Это прорвалось у него как-то вечером, несколько недель тому назад.

— Единственное, что нам остается, — сказал он безнадежно, — это надеяться, что указа о переселении не будет!

Но указ все же появился. Джимми первым узнал об этом. Он с горечью сказал:

— Альберт Лутули может сделать столько же, сколько и мы, то есть ничего. Никто не сумеет спасти нас. Сдаваться мы не хотим, а устраивать демонстрации нецелесообразно. К нам подсылают провокаторов, и все оканчивается кровавой дракой. Сопротивляться с оружием в руках бесполезно: в распоряжении властей полиция и армия. Кто устоит против таких сил?

— И все же надо что-то делать! — вмешался Майкл. — Нельзя сидеть сложа руки.

— Не расстраивайся, мальчик, — ласково ответил папа. — Нам не придется сидеть сложа руки,

когда мы уедем отсюда.

— Но мы никуда не уедем! — воскликнул Майкл. — Папа, ну пожалуйста, не думай об отъезде! Умоляю тебя! Не будем говорить о том, что мы станем делать на новом месте. Давайте подумаем, что предпринять, чтобы остаться!

Прибежал Пауль, старший сын дяди Джереми, и сказал, что полчаса тому назад к церкви Христус-Конинг на «фольксвагене» подъехали два незнакомых молодых африканца. По пути к нашему дому они уже побывали в двух барах. Сейчас сидят в заведении, которым владел предатель Мосс Хелли. Теперь там новый хозяин — Диззи Воортинг, мулат из Александры. Он был почти всегда пьян и поэтому не вызывал у нас доверия.

Из окон его бара наш дом был отлично виден. Поэтому дядя Джереми не без оснований решил, что это шпики, которые будут следить за нашим домом, и послал Пауля предупредить нас, что в случае опасности он опустит жалюзи в витрине своего магазина. Они так скрипят, что не услышать их скрежета невозможно. В то же время этот условный знак не вызовет подозрения у тех двоих. Мы уже не раз пользовались подобным сигналом.

Приход Пауля оказался кстати. Он прервал

тягостный разговор. Роза принесла бульон и заставила Майкла поесть.

Потом снова явились те же агенты, что были у нас в позапрошлую ночь. Они перерыли весь дом, а потом один из них сказал папе, пытливо глядя ему в лицо:

— Твой сын в последнее время приходил сюда каждую неделю.

— Это правда, — согласился папа.

Значит, предатели уже донесли об этом в полицию.

Агент добавил:

— Для вас будет лучше, если потом не окажется, что он был здесь и сегодня.

Счастье, что Майкл давно не жил с нами и всей округе об этом было известно. Иначе полицейские арестовали бы кого-нибудь из нас и стали бы пытать.

В последнее время у них вошло в моду арестовывать близких родственников разыскиваемого человека и пытать до тех пор, пока кто-нибудь не скажет, где скрывается нужный им человек.

Излюбленная пытка полицейских — «статуя». Эту пытку они позаимствовали у португальцев в их колониях. Заключается она в следующем: мелом чертится маленький круг, в него ставят

пытаемого человека, и сутки, а то и двое не дают ему шевельнуться. Те, кто испытал эту пытку на себе, говорят, что от нее можно сойти с ума.

Когда агенты ушли, мама потребовала, чтобы мы задвинули шкаф, хотя Майкл просил еще с ним побыть. Но мама заявила, что он устал, и оказалась права. Уже через несколько минут Майкл спал.

Папа вышел на улицу разведать обстановку. Он вернулся через полчаса и рассказал, что два неизвестных парня все еще сидят в заведении Диззи Воортинга за столиком у самого окна и не спускают глаз с нашего дома.

Так как нам предстояло дежурить всю ночь, папа распределил время, когда чья очередь. А меня тем временем послал в поселок шахты Сандорф, где последнее время Майкл снимал комнату, и велел расспросить о нем, делая вид, что я не знаю, где он находится.

— Сначала постучи в его комнату, — учил он меня. — Если увидишь кого-нибудь на лестничной площадке или внизу, спроси, где Майкл. Скажи, что тебе нужно с ним поговорить, потом потолкуй с соседями, не видели ли они его. И всякий раз не забудь назвать себя.

Я понял. Возле квартиры Майкла наверняка

крутились осведомители. Они побегут сообщить в полицию, что я приходил и у всех расспрашивал о брате.

— Конечно, в полиции не очень-то поверят, что мы не знаем, где Майкл, — сказал папа, — но все же наблюдение за нашим домом ослабнет.

Шахта Сандорф находилась недалеко от Софиатауна. Проехав полчаса на мотоцикле, я увидел большие бело-желтые отвалы пустой породы. Около золотодобывающих шахт всегда высятся терриконы. Немного подальше виднелись темные, четко очерченные при свете ярких звезд силуэты лифтов.

Через несколько минут я был уже на месте. Поселок располагался на обширной площадке, окруженной забором метровой высоты. За ним тянулись длинные ряды серых бараков, между которыми пролегли широкие песчаные полосы без всяких признаков растительности. Возле бараков не было ни деревьев, ни кустарника.

Я хорошо знал такие поселки. Ведь до того, как я получил место учителя в колледже святого Эдварда, мне пришлось долгое время быть священником в одном из шахтерских поселков. Отсутствие растительности в них объясняется очень просто — на голом месте легче держать

под прицелом взбунтовавшуюся толпу. По той же причине бараки строились на большом удалении друг от друга, а ряды домов были отделены песчаными полосами в пятьдесят метров шириной, и нигде ни единого забора или какой-либо хозяйственной пристройки, за которой можно было бы спрятаться.

Кое-где виднелись бараки побольше, в два, иногда три этажа. Это были казармы для одиноких мужчин, семьи которых остались в сельской местности или в городе. А в центре поселка стояла церковь, публичный дом, больница и грязный бар, битком набитый по вечерам.

При въезде на территорию поселка пришлось предъявить паспорт полицейскому-африканцу, восседавшему на стуле с ружьем на коленях. Обычно в поселки пропускали беспрепятственно, а паспорта проверяли только по вечерам у незнакомых лиц. Увидев, что я священник, полицейский махнул рукой: проходи.

Мне удалось поговорить со многими жителями. Сначала в казарме для одиночек, где у Майкла была комната, потом в баре и в нескольких бараках. Я старался, чтобы меня видели как можно больше людей. Потом я отправился в поселок, где жила Мари Нтули, подруга Майкла.

Я легко нашел больницу, где она работала. Швейцар сказал, что она занята, накладывает повязку шахтеру, сломавшему руку.

Пришлось подождать минут пятнадцать. Я сразу узнал ее по характерным для племени зулу прекрасным задумчивым глазам. Мари тоже узнала меня. Мы радостно поздоровались. Потом я заметил на ее лице беспокойство и страх.

— Вы, конечно, знаете, что случилось с Майклом?

— Да. Это правда, что он стрелял в полицейского?

— Да.

— Вы знаете что-нибудь о нем? Пожалуйста, скажите.

— Майкл в безопасности.

Слезы радости заблестели в ее глазах.

— Вы можете… вы можете сказать, где он? Если нельзя, не надо, я не настаиваю.

— Он дома.

— Дома! — воскликнула она с радостью и тут же встревоженно спросила: — Но разве ему можно быть дома?

— У нас есть укрытие. Очень надежное. В нем многие спасались. Мама и Роза выхаживают его, а мы по очереди охраняем дом.

— Представляю, как он рад, что находится дома, — произнесла она тихо.

— Он говорил вам что-нибудь о доме?

— Да. Он говорил: «Нельзя отнимать у человека дом. Пусть лишат всего, но только не дома». Расскажите, почему он стал срывать постановления, — попросила она жалобным голосом. — Наверное, он очень разнервничался?

Я рассказал ей очень подробно обо всем, что произошло.

Было уже половина одиннадцатого. Я стал прощаться, так как мне предстояло миновать район, где нам после одиннадцати запрещалось появляться.

— А не могли бы вы завтра вечером приехать в Софиатаун? — спросил я. — Например, к церкви Христус-Конинг? Я узнаю у папы, можно ли вам навестить нас, и приду за вами.

— А это не опасно? Они не следят за домом?

— Следят, конечно. Но я отведу вас к соседям. А потом через сады проберемся к нам.

— Хорошо! Я приеду! Я, конечно, приеду.

Ночь Майкл провел относительно спокойно. Утром, пока доктор Мбабете перевязывал рану, он немного поболтал с нами, а потом опять уснул.

Я на несколько часов съездил в колледж, а вер-

нувшись, заступил на дежурство в спальне.

Вдруг я почувствовал, что Майкл на меня смотрит. Он лежал не шевелясь, и я подумал, уж не спит ли он с открытыми глазами. Но он спросил:

— Давид?..

— Да, Майкл.

— Это правда, что никого из-за меня не арестовали?

Он спрашивал об этом еще утром.

— Конечно, правда, — ответил я.

— Но если арестуют, ты скажешь мне? Я предпочту тогда сдаться полиции.

— Я не слышал, чтобы собирались брать заложников.

— Но если это все же случится, ты скажешь? Обещай мне, Давид!

— Ладно, обещаю.

Тут в комнату вошел папа и сказал:

— Лучше, если мы закроем альков.

— Что, полиция поблизости?

— Да.

— Хочешь, я останусь с тобой, Майкл?

— Нет, нет, не надо.

Мы пододвинули шкаф, и я убрал со стола все лишнее. Папа ждал меня в коридоре. Он не мог скрыть беспокойства.

— Баки арестовали, — сказал он. — Пришли к нему прямо в дом и увели.

— Это работа предателя?

— Несомненно.

— Полиция этим не ограничится, не так ли?

Папа с тревогой взглянул на меня и сказал:

— Они опять ищут с собаками.

— Это не так опасно. Они уже раз искали с собаками.

— Да, но…

— Что?

— Сейчас они заходят в дома.

— О небо… Значит, им что-то известно.

— Они начали с того места, где Баки перешел Пертлаан. Обходят с собаками все дома подряд. У них с собой платок, смоченный кровью Майкла.

В гостиной мама и Роза спешно мыли с мылом софу, на которой лежал Майкл, чистили ковер.

Я помогал папе протирать полы в комнате и коридоре. Он глухо проговорил:

— Четверть часа назад они были на Элмерси-лейн. Я послал Джимми предупредить всех, кто помогал Майклу. Он попросит их тоже вымыть полы, а потом спрятаться, пока полиция не уйдет.

— Что будет с Баки?

— Его до полусмерти изобьют плетью, а потом, как опасного преступника, сгноят в тюрьме, — сказал папа с горечью.

Мы вошли в спальню и протерли пол и мебель. Мама обрызгала все вокруг нашатырем, чтобы отбить запах.

И тут мы услышали вдали лай собак, хриплый, захлебывающийся лай громадных догов. Мы с ужасом замерли.

Соседи успели сообщить нам, что Мозес, брат Баки, тоже арестован. А когда полицейские зашли в дом Генри Клоко, собаки сразу бросились под кровать, где лежал Майкл.

— Они каждую минуту могут появиться здесь, — сказал папа с изменившимся от боли и страха лицом. — Как только поймут, что след ведет сюда, бросят всех и придут к нам.

И это произошло. Автомашина остановилась у наших ворот… Из нее вышли полицейские, держа на поводках собак, и сыщик, низенький толстяк с красным лицом и маленькими глазками. В руке у него был окровавленный носовой платок. Полицейские пошли на террасу, дали собакам понюхать платок и, не сказав ни слова, направились в дом.

— Искать! — скомандовали они псам, отпустив

поводки. — Искать, искать!

Собаки так стремительно бросились вперед, что перевернули на пути стул и уронили настольную лампу. Они рыскали во всех углах и под шкафом. Потом стали вертеться вокруг кожаной софы, сопя и фыркая. Одна из собак попыталась пролезть за софу. Полицейские отодвинули ее и заглянули за спинку. Вторая собака вспрыгнула на софу и принялась скрести лапами, стараясь просунуть морду между сиденьем и спинкой. Вдруг она завизжала и начала рвать зубами обивку.

Коротышка сказал:

— Кажется, клюет, Яаап. — Указав на софу, он добавил: — Он лежал там.

— А может, он сейчас сидит в ней? — предположил полицейский. — Не проверить ли?

— Конечно, — ответил сыщик, решительно кивнув. — Надо посмотреть.

Полицейские вытащили ножи и принялись кромсать софу. Они распороли сиденье, спинку, разбросали по всей комнате вату. Потом коротышка сказал:

— Нет, его там нет, но он смог бы в ней спрятаться.

— Он где-то поблизости, — ответил второй. — Они так далеко тащили его не для того, чтобы

потом унести в другое место.

— Нет, конечно, это не имеет смысла.

Мы стояли у открытых дверей и видели их равнодушные, тупые лица, слышали безразличные хриплые голоса. Мама застыла рядом с отцом, не спуская глаз с собак.

Когда полицейские открыли дверь в спальню и псы устремились туда, папа положил руку маме на плечо.

— Все кончено, — прошептала Роза дрожащим голосом.

У папы покраснели глаза.

— Почему мы не защищаем свое дитя? — спросил он тихо. — Почему мы даже не пытаемся спасти его?

И тут мы услышали то, чего больше всего боялись, — злобное рычание догов.

— Они почуяли его, — сказала Роза. — Боже, что теперь будет?

Мы вошли в коридор и увидели, как обе собаки с яростью царапают гардероб в спальне родителей.

Полицейские открыли его, и собаки ринулись внутрь. В момент они перемешали там все в кучу. Затем полицейские вышвырнули из шкафа его содержимое, посмотрели под шкафом. Один из

полицейских подставил стул и заглянул наверх.

— Может, его одежда висела здесь? — подумал вслух сыщик.

Они отвернулись от гардероба, и в нас затеплилась слабая надежда. Но тут одна из собак сунула нос в щель между стеной и шкафом и начала громко фыркать.

Толстяк насторожился и приказал полицейскому:

— А ну-ка, берись!

Они ухватились за гардероб и отодвинули его от стены.

— Я думаю, мы у цели, Яаап, — заявил он удовлетворенно.

Бешено толкая друг друга, собаки бросились на кровать в алькове. Я слышал, как закричала мама, а папа метнулся в спальню. Мы с Джимми последовали за ним. Полицейские пытались удержать нас, но папа отбросил их, и мы схватили собак, которые топтались на распростертом теле Майкла, яростно рыча и вцепившись ему в горло.

Одну из собак мы отшвырнули. Она полетела кувырком на пол, увлекая нас за собой. Мне удалось схватить ее за ошейник, но собака укусила меня сначала за ногу, потом за руку, и я выпустил

ошейник.

Полицейские набросились на нас и стали бить резиновыми дубинками. Собака, которую нам удалось оттащить, снова прыгнула на кровать.

— Держите их! — кричал папа. — Пожалуйста, уберите собак!

Но ни один из полицейских не остановил псов, не шелохнулся, чтобы взять их за поводки.

Я видел, как папа упал, сраженный ударом резиновой дубинки. Полицейские били и маму, и Розу. На какое-то мгновение они оглушили и меня. Придя в себя, я увидел, что Джимми лежит на земле, а полицейские колотят его дубинками.

Когда Джимми перестал шевелиться, коротышка крикнул собак, и они выскочили из алькова. Он сказал:

— Яаап, это произошло потому, что они на нас напали.

— Конечно, — ответил полицейский.

— Они первые набросились на нас.

— Так оно и было.

В это время папа очнулся. Он подошел к алькову, с ужасом глядя на тело Майкла.

Мама и Роза сидели на краю кровати и рыдали. Джимми скорчившись лежал на полу. Я увидел на кровати лужи крови, алые пятна на стенах

алькова и растерзанное горло Майкла.

Это зрелище запечатлелось в моей памяти навсегда. Стоит мне закрыть глаза, и я снова вижу его. Так же отчетливо встает передо мной посеревшее от горя лицо отца. Но самым страшным был хруст раздираемого собакой горла. И теперь, когда я вспоминаю ту картину, я прежде всего слышу этот ужасный хруст. Он преследует меня по ночам, и я вскакиваю, обливаясь холодным потом. Наверное, родители тоже слышали его, хотя в комнате стоял невообразимый шум. Они об этом никогда не говорили, Роза и Джимми — тоже, а у меня не хватало мужества спрашивать. Возможно, с каждым из них происходило то же, что со мной: они не знали, слышали ли этот звук другие, и поэтому в страхе молчали.

Сыщик ткнул пальцем в сторону Майкла и сказал папе:

— Он выстрелил в живот моему другу Дарку, и мы не уверены, выживет ли он. Я поклялся Дарку, что поймаю этого парня, даже если на это потребуются годы.

— Мой сын помешал вашему другу забить старика до смерти, — произнес отец глухим голосом. — Потом они схватились. Пистолет был только у вашего друга. Во время борьбы разда-

лись два выстрела. Первым был ранен мой сын, а вторым — ваш друг. Вот как это было.

Сыщик посмотрел на Майкла и, побледнев, сказал:

— Сегодняшнее происшествие случилось потому, что вы напали на нас. Не так ли, Яаап?

— Да, конечно, — ответил тот.

— Так мы и укажем в рапорте, — продолжал коротышка, направляясь к двери. — А все, что не совпадет с нашей версией, — это ложь.

Не знаю, может быть, полицейские совершили это преступление непреднамеренно. Просто дали псам волю, не двинулись с места, чтобы спасти Майкла. Я не могу утверждать, что они хотели затравить Майкла собаками. Скорее всего, они действительно решили, что мы хотим на них напасть, когда мы устремились в альков, и в панике забыли оттащить собак. Ведь большинство белых в ЮАР думают, что в один прекрасный день черные всех их перебьют. Наверное, и на этот раз страх сделал свое дело.

После ухода полицейских мы нашли на полу запятнанный кровью носовой платок, который навел собак на след.

Вскоре и Джимми пришел в себя. На руках у него были глубокие порезы, на щеке — ссадина.

У папы кровоточила правая рука.

Мама увела их в гостиную и там перевязала. Тем временем мы с Розой обмыли тело Майкла, забинтовали шею и отнесли его в комнату, где он спал, когда жил дома.

Вечером я пошел рассказать обо всем Мари. Она слушала меня, окаменев от горя. Затем мы пришли к нам домой. Мари долго молча стояла у тела Майкла. Потом провела кончиками пальцев по его щеке, прикоснулась к закрытым глазам, потрогала очки, лежавшие на ночном столике, погладила белую повязку на шее. А после поцеловала Майкла и крепко сжала его руку.

Она была спокойна. У нее только дрожали руки. Но когда мама подошла к ней и обняла, девушка вдруг громко и безутешно зарыдала.

ГЛАВА IX

Родители пытались сделать все, чтобы освободить Баки и его брата Мозеса. Но нам не удалось даже узнать, в какой тюрьме они находятся.

Многие из тех белых, которые раньше нам помогали, отшатнулись от нас. Даже Стенхоупы, охотно игравшие с папой в бридж, перестали его принимать.

Ян ван Баарле был в Кении, а попытки Билла Хормана посодействовать нам оказались безуспешны.

— Все переменилось, — говорил он. — Стоит неосторожно шевельнуть пальцем — и попадешь в тюрьму.

До нас дошли слухи о новом законе, пресловутом законе о девяноста днях, дававшем полиции право задерживать любого, кто в настоящий момент осуждает апартеид словом или делом, кто подозревался в совершении подобного преступления в прошлом и мог совершить его в будущем, а также всякого, кто знал людей, выступавших против апартеида. Все эти лица могли быть немедленно задержаны без ордера на арест и содержаться в тюрьме в течение трех месяцев

без суда и следствия. Согласно этому закону сотни прогрессивно настроенных белых были упрятаны за решетку.

— Стоит выйти на улицу, как за тобой увязывается шпик Особого отдела, — сказал Билл Хорман. — И никто не смеет говорить об этом громко.

Через неделю после похорон Майкла район Александры, населенный черными, был насильно эвакуирован. Под дулом автоматов полиция заставила жителей собрать домашний скарб и убраться до наступления вечера.

— Как только зайдет солнце, мы подожжем дома, — предупредили полицейские.

И они выполнили свою угрозу. Многие жители не поверили им и не вынесли на улицу вещи. Потом им пришлось выскакивать из горящих домов, а большая часть их вещей погибла в огне. Пострадали и дома, прилегавшие к этому кварталу, так как полиция не приняла достаточных мер безопасности.

Сожженный квартал был районом убогих лачуг. Поэтому у многих сложилось мнение, что выселение жителей проводилось исключительно в санитарных целях. Конечно, это не облегчало положение пострадавших, которым мы глубоко

сочувствовали. Но в то же время подобные действия властей не давали основания считать, что белые приступили к повсеместному выселению африканцев из пригородов Йоханнесбурга.

В то же утро по Софиатауну разнеслась поразительная весть, что Альберт Лутули будет выступать перед народом на той площади, где доктор Иллово объявил о начале кампании неповиновения.

Представители АНК сновали по улицам и переулкам, созывая народ на площадь. Известие о выступлении Лутули обеспокоило нас, так как ему было запрещено выходить из дому и выступать на митингах. Следовательно, он нарушал запрет. Что же предпримет полиция, думали мы.

Вскоре мы это узнали. Примерно за час до митинга Альберт Лутули был арестован, и митинг не состоялся.

Эти сообщения вызвали такое волнение в Софиатауне, что казалось, вернулись те дни, когда мы жили как одна семья, деля друг с другом и радость, и горе. Все были на ногах.

А как мы обрадовались, когда руководство АНК призвало народ идти к месту, где Альберт Лутули содержался в ожидании высылки. Этот призыв всколыхнул весь Софиатаун, и, когда мы

с Джимми пришли к указанному месту, там уже собрались тысячи людей.

Мы не могли пробраться сквозь огромную толпу, которая скандировала: «Лу-ту-ли! Лу-ту-ли!» Потом все запели: «Господи, благослови Африку!» — и вскинули вверх сжатый кулак с поднятым большим пальцем.

Члены руководства АНК выстроили людей в колонну, и не меньше получаса демонстранты шли мимо дома, где находился арестованный Альберт Лутули.

Вдруг раздались оглушительные аплодисменты. Это Альберту Лутули удалось на секунду показаться в дверях. Я не дошел тогда еще до той улицы, а когда наконец добрался туда, двери были уже плотно закрыты и перед ними стояли четыре белых полицейских с автоматами в руках.

Те, кто видел Альберта Лутули, были горды и счастливы, но говорили, что он выглядел усталым и озабоченным. Вильям Коси, старик, живущий неподалеку от нас, рассказывал:

— Альберт Лутули крикнул, что сделает все для спасения Софиатауна, и просил не терять надежды. Он старался держаться спокойно и уверенно, но это ему было нелегко.

Другие очевидцы, с которыми мы беседовали,

рассказывали то же самое.

— Понимаешь, в чем дело? — спросил Джимми, когда мы возвращались домой. — Он прекрасно знает, что мы обречены, знает это так же хорошо, как и мы.

Папа бежал нам навстречу. «Что он сказал? Что посоветовал делать, чтобы спасти наш дом?» — с надеждой спрашивал его взгляд, больно отзываясь в наших сердцах.

В полдень появились листовки АНК с призывом не готовиться к отъезду, не паковать вещи, не подчиняться никаким требованиям покинуть дома.

Это был прекрасный призыв. Читать его было наслаждением, но в нем ни слова не говорилось, кто и как нас защитит, если мы последуем этому совету.

Несколько дней спустя разнесся слух, что власти арестовали и посадили в тюрьму еще более двадцати человек из руководства АНК. А через неделю мы узнали, что в Африканских западных пригородах полиция насильно выселила чернокожих жителей двух кварталов и сровняла их дома с землей.

Мы жили в те дни словно в тюрьме, постоянно терзаясь страхом.

Однажды в полдень к нам прибежал необычайно взволнованный дядя Джереми.

— Они забрали Розу и Питера, — кричал он. — Они увезли их в бюро регистрации вместе с Андре и Пенни.

Мама вскочила:

— С Андре и Пенни? — воскликнула она с тревогой.

— Да.

— Неужели детей тоже повезли в бюро регистрации?

— Да. Полицейские задержали их, когда они играли на улице. Привели в дом, там была Роза. Немного позднее явился полицейский, который ездил за Питером на работу. Потом их всех увезли. Я поспешил за ними на велосипеде, чтобы узнать точно куда. Я догадывался, но мне хотелось убедиться. Потом я прибежал сюда.

— Нет, только не это… — произнесла мама тихо, изменившись в лице.

Мы знали, чего она боялась. Муж Розы, Питер Банга, был не чистокровным пондо. Его отец происходил из племени пондо, а мать из тех, кого в ЮАР называют «капскими цветными». Когда-то в этой колонии чернокожие женщины произвели на свет детей от голландских фермеров, а позднее

от рабов, привезенных из Азии для работы на плантациях и фермах буров. От этих смешанных браков и произошли «цветные».

Новый закон о безнравственности запрещал браки не только между европейцами и африканцами, но также между европейцами и индийцами, африканцами и индийцами или одной из этих групп с цветными. Смешанные браки считались преступлением. За это сажали в тюрьму. Чудовищный закон, подобного которому нет ни в одной стране мира, был издан много лет спустя после того, как Роза и Питер поженились. Поэтому, казалось, им опасаться нечего.

Но затем пошли слухи, что и все существующие смешанные браки объявлены незаконными и подлежат расторжению. Мы не поверили этому. Мы не могли себе представить, что подобная дикость возможна. Мы пытались разубедить в этом Розу и Питера до тех пор, пока не получили подтверждение, что действительно их брак считался незаконным.

Роза и Питер были людьми сдержанными и рассудительными. Они делали все возможное, чтобы папа и мама, которым и без того хватало неприятностей, не волновались за них. И все же родители не могли не тревожиться.

До сих пор все шло хорошо, потому что Роза и Питер не были зарегистрированы как смешанная пара. Они не вызывали подозрений, так как по внешности мало чем отличались друг от друга. Роза была типичной женщиной племени пондо, разве что чуть повыше и постройнее, а Питер никак не походил на цветного. У него была блестящая черная кожа, яркие толстые губы и крепко сбитая фигура пондо из сельской местности.

Поэтому никто не опасался, что Питеру и Розе, как, впрочем, и нам всем, придется явиться в бюро регистрации, чтобы зарегистрировать свою расовую принадлежность. На вопрос, есть ли у них документы, подтверждающие принадлежность к племени пондо, они при регистрации в прошлом ответили «нет». Питер сжег все, что могло напомнить о его происхождении, в том числе и метрику, где было написано имя его матери Анны Ваес. Буры, имевшие детей от черных женщин, иногда, правда очень редко, давали детям свои имена. Всякое упоминание голландского имени матери было теперь для Питера опасно.

Он мог спокойно сказать, что у него нет документов, потому, что многие черные их действительно не имели. Чиновники посмотрели на Розу и Питера и, не колеблясь, решили, что оба

они явно выглядят как пондо, и записали им в паспортах в графе «национальность» — «пондо».

Но вот их дети — Андре и Пенни — были типичными цветными. Когда они родились, это не бросалось в глаза, но с возрастом становилось все очевиднее. Оба светлокожие (а Пенни даже почти белый), с тонкими губами и прямыми носами. Они были необыкновенно красивы. «Мои аристократики», — называла их Роза с гордостью. Но порой с тревогой и грустью говорила: «Хоть бы они были не такими красивыми...»

Роза и Питер старались не показываться вместе с детьми. Никогда не гуляли вчетвером, разве только далеко от Йоханнесбурга, среди холмов Ваале, куда мы все вместе ездили на пикники или в отпуск. По воскресеньям дети часто бывали у нас, где их внешность не так бросалась в глаза. Ведь у папы и Сандры тоже был светлый цвет кожи, узкий нос и продолговатый, как у европейцев, разрез глаз.

Эти предосторожности помогали. До сих пор все обходилось, и никто не задавал вопросов об Андре и Пенни. Но Роза да и мы все знали, что рано или поздно кто-нибудь обратит на детей внимание. Возможно, это будет один из предателей, которые теперь окружали нас со всех сторон. Он

внимательно присмотрится к двум ребятишкам со светлым цветом кожи и донесет в полицию.

Роза и Питер уже подумывали, не отправить ли детей к родственникам Питера в Кейптаун, куда он ездил довольно редко, поскольку путь туда неблизкий. По рождествам родственники обязательно присылали Питеру и Розе поздравительные открытки. Они, несомненно, позаботились бы о детях. Но Роза и Питер боялись это сделать, так как по закону о расселении по группам никто не имел права покидать «район своей группы» без разрешения. Кроме того, усложнилась процедура выдачи паспортов и всякие поездки стали особенно опасны.

Африканцы, которым был определен «район проживания», покинув его, рисковали попасть в тюрьму. А те, кто подлежал переселению и уезжал из дому более чем на один день, каждый раз страшились, что их не пустят обратно.

Дядя Джереми на своем фургончике довез нас до улицы, где находилось бюро регистрации. Подъехать к зданию мы не смогли, так как вся улица была запружена народом. Мы с большим трудом пробрались сквозь толпу. У входа дежурили два полицейских, один из них с автоматом. Толпа возмущенно шумела и поносила полицей-

ских на чем свет стоит.

В здание нас не пустили. Через открытую дверь было видно, что приемная забита людьми. Вдруг на пороге появилась Роза вся в слезах.

— Нас разлучают! — крикнула она. — Папа! Мама! Нас разлучают!

Полицейские втолкнули Розу в здание. Папа попросил разрешения поговорить с дочерью. Мама требовала, чтобы нас впустили, и наконец мы добились своего.

— Нас разлучают! — рыдала Роза, когда мы вошли в приемную.

Питер был совершенно подавлен. Мы никогда не видели его таким. Он занимал в газовой фирме солидный пост, был там единственным сотрудником, знавшим, помимо голландского, английского и пондо, еще два африканских языка. Питер возглавлял отдел по приему жалоб и выполнял эту трудную работу с большим тактом. Кроме того, он подрабатывал по вечерам, ведя бухгалтерию у многих африканских торговцев Софиатауна.

Сейчас этот человек был в полной растерянности.

— Что нам делать? О, что же нам все-таки делать? — твердил он в отчаянии, держа ребятишек

за руки. Андре тогда исполнилось шесть лет, а Пенни четыре. На Пенни было серое платьице с белым воротничком, а на Андре темно-синяя тенниска.

До чего же они были прелестны, большеглазые, с прекрасными тонкими чертами лица! И впрямь маленькие «аристократики», как называла их Роза. Но как они отличались, о да, как разительно отличались от Розы, Питера и всех нас…

— Что случилось? — спросила мама. — Скажи же, что случилось?

— Мы погибли, — плакала Роза.

— Да нет же!

Она отвела Розу в сторону, чтобы дети не слышали.

— Не говори так. Ведь вы зарегистрированы как пондо.

— Словно это теперь поможет, — всхлипнула Роза. — Нас предали! Кто-то нас выдал. Это совершенно ясно. Донесли, что дети на нас не похожи. Полицейские задержали Андре и Пенни на улице. А потом пришли за нами. Как могли они узнать, что Андре и Пенни наши дети? Кто-то показал полицейским, где они живут.

Пока отец разговаривал с Питером, я увел Андре и Пенни в глубь приемной.

— Почему мама плачет? — спросил Андре, смотря с удивлением на Розу. — Ведь мы уедем не надолго, а потом вернемся. А может быть, еще и не уедем. Или поедем все вместе. Папа сказал, что он еще не знает.

Я понял, что Роза и Питер уже поговорили с ними.

— Я не хочу уезжать, раз мама плачет, — заявил Андре, и у него задрожали губы. Увидев слезы в глазах Андре, Пенни неожиданно громко расплакалась.

Я сел на стул, посадил ее на колени и успокоил сказкой. Пенни очень любила сказки, и, когда я навещал их, мне приходилось всякий раз рассказывать самые длинные сказки, потому что девочка никак не хотела расставаться со своими любимыми героями. Когда в конце сказки я говорил, что главные герои поженились и у них было много детей, Пенни всегда спрашивала, как их звали и в какие игры они играли.

Приемная была полна таких же семейных пар, как Роза и Питер: сами они выглядели типичными африканцами, а дети были явными метисами. В толпе оказался и индиец с молодой черной женой.

Вероятно, предателям дали специальное за-

дание выискивать детей от смешанных браков, потому что большинство родителей трудно было заподозрить в смешанном происхождении.

Успокаивая Пенни, я не сводил глаз с папы и мамы. Они были очень встревожены, и разговор с Розой и Питером явно не клеился. Беседа перемежалась томительными паузами, когда никто не знал, что сказать.

В глубине души каждый предчувствовал, чем это кончится. Вопрос был лишь в том когда. Сколько у нас еще времени?

И все же люди не могли не цепляться даже за малейшую надежду. Хотя все говорило, что надеяться бессмысленно, в этой пугающей неизвестности они рассчитывали на непредвиденный оборот дела.

В последние недели появился слух, что смешанным семьям иногда предоставлялась возможность уехать из страны. Супруги получали выбор: или развестись, или эмигрировать. Однако было неизвестно, имели ли эти слухи под собой почву. Мы не знали никого, кто бы уехал из страны.

Роза и Питер, очевидно, уже обсуждали в семье этот вариант. Иначе откуда бы Андре пришла в голову мысль, что они, может быть, поедут все вместе.

Неужели после Сандры в чужую страну уедет еще и Роза? Конечно, она будет оттуда писать, но никогда не сможет вернуться на родину.

Итак, Роза и Питер стояли в приемной бюро регистрации и ждали своей очереди. Время от времени в дверях появлялся чиновник и кого-нибудь вызывал.

Я подошел к ним с детьми. Роза взяла на руки Пенни, а Питер обнял Андре.

— Она уже умеет рисовать, — сказала Роза дрогнувшим голосом, прижавшись щекой к щечке девочки. — Ей всего четыре, а она может нарисовать все что угодно.

— Мы уедем отсюда, папа? — спросил Андре.

— Я точно еще не знаю, малыш, — ответил Питер ласково, — скоро узнаем.

— Мы поедем все вместе? Если Пенни и я останемся дома, мама не будет плакать?

— Ну конечно, — ответил Питер. Его лицо побледнело от горя.

Роза, тихо заплакав, прижала мальчика к себе.

— Не беспокойся, милый. Лучше всего, если никто никуда не поедет. А если и расстанемся, то не надолго. Потом мы снова соберемся все вместе, и я напеку вам вафель, так много, что тебе придется забраться на стул, чтобы достать самую

верхнюю вафлю.

— Ой, как здорово! — воскликнула Пенни, и глаза ее загорелись.

Вышла очередная пара вызванных. Мы спросили, как проходил допрос.

— Чиновники уточняли происхождение, — ответили они. — Мы должны были подтвердить, что происходили из одного племени, указать, где родились и кто наши родители.

— И больше ничего? — спросила мама.

— Ничего.

Она посмотрела на отца и сказала озабоченно:

— Это подозрительно.

Дверь открылась, и служащий бюро прокричал:

— Тугела Роза.

— Иди, — сказала мама.

— Одна? — спросила Роза у служащего.

Он кивнул. Роза вошла, и служащий закрыл за ней дверь.

— По-моему, почти всех вызывают поодиночке, — сказал Питер. — Или мужа, или жену. Иногда одного из супругов с детьми. Может быть, для того, чтобы проверить, сходятся ли показания мужа и жены?

— Возможно, — согласилась мама. — Но ты

должен придерживаться той версии, о которой договорился с Розой.

Зарегистрировавшись первый раз как пондо, Роза и Питер условились впредь придерживаться своего первого показания: говорить, что и отец, и мать Питера были из племени пондо, они давно умерли, а воспитывал его Эдмунд Банга, брат отца, который жил в Либоде. Они с ним списались, и он был готов подтвердить эту версию.

Выбор пал на Эдмунда потому, что он был единственным братом отца, жившим в Пондоленде. Другие родственники отца жили в Порт-Элизабете, намного ближе к Кейптауну. Проживающих в этом районе скорее можно заподозрить в принадлежности к капским цветным, чем жителей Либода, расположенного в центре Пондоленда.

Питер и Роза продумали свои показания до мелочей, чтобы они звучали как можно достовернее. Например, они должны были рассказать, что Питер учился в школе в Либоде у старого учителя Джозефа Голвени, который без конца простуживался и чихал на уроках так часто, что не выпускал из рук носового платка. Эдмунд был другом старого учителя и обо всем предупредил его. Рассказал, как выглядел Питер в школьные годы, какие у него были привычки.

Мама шепнула Питеру:

— Если тебя сейчас вызовут и спросят про детей, скажи, что, может быть, кто-то из твоих дальних предков был мулатом, но ты об этом ничего не знаешь. Твой отец и мать, вне всякого сомнения, происходили из племени пондо. Это ты знаешь точно. А о дедах и прадедах тебе неизвестно.

— Хорошо, я так и сделаю, — ответил Питер.

— Было бы лучше, если бы они стали расспрашивать Розу о разных мелочах, — заметила мама.

— Да, это было бы лучше, — согласился Питер.

Его голос звучал глухо и безжизненно. Он не верил в то, что так будет. Если бы чиновник бюро начал допрашивать их с пристрастием, задавая массу вопросов, это означало бы, что у властей есть сомнение, которое только на руку подозреваемому, что они не имеют доказательств его цветного происхождения. Но какие могут возникнуть сомнения, глядя на их детей? Позднее мама говорила мне, что Роза и Питер понимали, что рано или поздно им придется предстать перед чиновником бюро регистрации. Они готовились к допросам, но им ни разу не пришло в голову, что их могут вызвать вместе с детьми.

— Они несомненно решили допрашивать нас

порознь, иначе не вызвали бы на допрос Розу первой, и одну, так ведь? — спросил Питер.

— Это, возможно, хороший признак, — тихо произнес папа.

Дверь открылась, и Роза снова очутилась в приемной.

— Ну как там? Что они спрашивали? — бросилась к ней мама.

— Мало, почти ничего, — сказала Роза. — Они посмотрели мои документы и спросили, действительно ли я Роза Тугела. Потом спросили, кто мой отец и мать, живы ли они и где проживают. Вот и все.

Питер ожидал, что наступила его очередь идти к чиновнику, но служащий бюро прокричал другое имя.

Вызвали жену индийца. Когда дверь за ней закрылась, Питер проговорил:

— Обо мне они ничего не спрашивали?

— Ни слова. Это плохо, пожалуй? — сказала Роза обеспокоенно.

— Перестань, — нервно одернула ее мама. — Мы ничего не знаем и пока не будем делать выводов.

Мы пали духом. Слабая, едва теплившаяся надежда снова угасла. Допроса, как такового, не

было. Никто не задавал мелких, детализирующих вопросов. Противоречий в показаниях не искали. У них не было сомнений.

Служащий выходил еще дважды, затем в третий раз вызвал:

— Банга Питер, Банга Андре, Банга Пенелопе.

— Ни в коем случае не признавайся, что твоя мать была капской цветной, — шепнула Питеру мама еще раз.

Питер кивнул и вместе с детьми направился за чиновником. Роза со страхом смотрела им вслед. Мама взяла ее за руку.

— Теперь скоро все выяснится, — произнесла она.

Полицейский, впустивший меня с родителями в приемную, попросил нас выйти. Мы вышли и стали ждать на тротуаре, откуда через открытую дверь была видна Роза.

Тем временем возле здания бюро скопилось столько народу, что движение транспорта приостановилось. Толпа в основном состояла из африканцев, но были в ней и индийцы, и несколько белых.

У второго полицейского в руках тоже появился автомат. Мне хорошо запомнились их неподвижные фигуры, каменные лица и холодные

глаза, блеск кожаных ремней и сапог. Они олицетворяли угрюмое, неотвратимое насилие, в которое мы по простоте душевной не верили. Это насилие исходило откуда-то издалека, из больших белостенных домов, входить в которые нам запрещалось. Два представителя этого мира насилия стояли перед нами словно чужеземцы, не знавшие нас. Такими же чужеземцами мне всегда казались проезжавшие в шикарных автомобилях коротконогие чванливые буры, многие из которых походили на Крюгера и Фервурда; элегантные, невозмутимые англичане с прилизанными волосами и массивными подбородками. Мы всю жизнь прожили рядом с ними, но они все больше становились нам чужими. Они хотят, чтобы так было вечно, думал я с болью в сердце. Они всегда стремились к этому отчуждению, но мы не догадывались. Мы верили, что сможем жить мирно одной большой семьей, полагали, что когда-нибудь станем членами этой семьи. Все было иллюзией. Счастливая страна, в которой мы мечтали жить с ними вместе, оказалась утопией. Теперь они ясно показали, что мы чужие друг другу и нн одна дверь не ведет из их мира в наш.

С улицы нам было видно, как чиновник выглянул из своей комнаты в приемную и Роза

кинулась к нему, но Питер и дети не появились. В бюро пригласили другую женщину с тремя уже взрослыми детьми и несколькими минутами позже отдельно вызвали ее мужа.

— Они, вероятно, беседуют со многими одновременно, — сказала мама. — Ты помнишь, Джон, когда мы регистрировались, было так же? Стоял длинный стол, и за ним сидел целый ряд чиновников.

В конце улицы появилась полицейская машина. Из нее выскочили четыре полицейских и принялись разгонять толпу. Нам удалось укрыться в магазинчике Хораке Тембу, нашего друга, жившего в переулке неподалеку от бюро. Затем, когда полицейские укатили, мы вернулись. Другие ожидавшие, видно, сделали так же, и скоро толпа снова окружила здание бюро.

Роза по-прежнему стояла у дверей, откуда появлялся чиновник, и ждала. Всякий раз, когда дверь открывалась, она подбегала и пыталась заглянуть внутрь.

После того как вызвали еще четырех человек, а Питер все не возвращался, мама нетерпеливо произнесла:

— Что-то это слишком долго тянется… Может, они выспрашивают все подробности?

Еще дважды выходил служащий и выкликал допрашиваемых.

— Как странно, — недоумевала мама, — нас вызывали с папой вместе.

Приемная уже почти опустела, а Питера с детьми все не было.

— Посмотрите-ка! Здесь совсем не осталось детей, — вдруг воскликнула мама. — А ведь их было полным-полно. Куда же они подевались? Да и половины взрослых нет! Вы видели, чтобы кто-нибудь выходил из здания через другую дверь?

— Я не видел, — сказал папа.

— А ты, Давид?

— Нет, — ответил я удивленно. — Никого не видел.

Мы стали думать, не выпустили ли их, когда мы прятались в магазинчике Хораке Тембу. Но в таком случае они должны были выйти почти все одновременно. Это было маловероятно.

— Так где же они тогда? — спросила мама. — Если вызываемых допрашивали всех разом, там должно было сидеть не меньше двенадцати чиновников. Вряд ли это было так. Нас допрашивали всего четверо, а пропускали по нескольку сотен в день.

— Все это непонятно, — произнес задумчиво

папа.

Мы стали расспрашивать окружающих, не видели ли они, чтобы допрашиваемые выходили на улицу. Но и они никого не видели.

Потом у входа появился служащий и кивнул полицейским. Те вошли за ним в дом. Мы бросились к входу и услышали, как один из полицейских приказал собравшимся в приемной:

— Освободите помещение.

Затем они принялись выталкивать всех на улицу. Служащий исчез за внутренней дверью и запер ее изнутри на ключ.

— Что происходит? — спросил папа.

— О боже! — вдруг испуганно закричала мама.

— Что с тобой? Что случилось, Сара? — всполошился папа.

— Все кончено…

— О чем ты?

— Уже поздно.

Она устремилась в дом. Мы с папой кинулись за ней и увидели Розу, колотившую кулаками в дверь, за которой скрылся чиновник.

— Питер! — рыдала она. — Андре! Пенни!

Один из полицейских пытался оттащить ее, но Роза судорожно цеплялась за дверную ручку. Она стучала в дверь ногами и звала:

— Андре! Пенни! Где вы? Питер! Питер!

Папа спросил у полицейского, что все это значит, тот угрюмо буркнул:

— Выходите на улицу.

— Где мой муж? — рыдала Роза. — Где мои дети?

— Выходите! — твердил полицейский, стараясь вытолкать ее силой.

Увидев нас, Роза крикнула задыхаясь:

— Они заперли дверь изнутри и гонят нас прочь.

Собравшиеся в приемной недоуменно галдели. Они тоже не хотели выходить на улицу. Один высокий широкоплечий мужчина схватился с полицейским, пытавшимся вытащить его на улицу за руку… Я увидел индийца, но уже без жены. Не было видно и супруги широкоплечего мужчины, и, как уже заметила мама, исчезли все дети.

— Боже мой… — шептал папа.

— Может, их увезли? — спросил я испуганно. — Других, наверное, тоже? Может, их…

— Побежали, — крикнул папа. — За домом есть внутренний двор и ворота.

Оставив Розу с мамой, мы устремились за угол. В переулке позади дома служащий запирал железные ворота.

— Скажите, пожалуйста, что случилось? — спросил папа, подбегая к нему. — Куда делись люди, которых вы вызывали из приемной.

Но служащий, словно нас и не было, молча прошел мимо, сел в «фольксваген», стоявший чуть поодаль на улице, и уехал. Папа ошеломленно смотрел ему вслед.

— Их здесь нет, — сказал он. — Нет Питера, Андре, Пенни и всех остальных… Их увезли. Чиновники тоже уехали, а вон покатил служащий бюро. Они собрали их в этом дворе, а потом загнали в грузовики и увезли. Тех из супругов, кто, по их мнению, нечистокровен. И, конечно, детей. Ведь ребенок от родителей нечистых кровей — тоже ублюдок. Поэтому всех детей увезли.

Его лицо исказилось от боли.

— Как ловко! — произнес он. — О, какие они хитрецы, как они все предусмотрели! Никаких криков, никаких сцен… Дескать, побегают немного, покричат, потом разойдутся, и дело с концом.

Я не раз слышал в голосе отца приглушенную боль, но теперь в нем впервые звучала с трудом сдерживаемая ярость.

Когда в семье возникал горячий спор, отец всегда успокаивал страсти, вносил примирение и покой. Я никогда не слышал в голосе отца злобы.

Когда мы вернулись к приемной, входную дверь уже закрыли, полицейских нигде не было видно, а Роза стояла, прислонившись лбом к стене и закрыв лицо руками, и плакала. Рядом с ней рыдала мама.

Меня больно поразило, какой беспомощной она выглядела. Такая же беспомощность была в ее глазах, когда она сидела у постели Майкла и когда слушала мой рассказ о смерти Тома.

Нестерпимо тяжко было видеть, как она переменилась. Особенно нам, хорошо знавшим ее жизнерадостность, энергию и силу духа, охранявшие нас от всех невзгод. Мама не сдалась, но что-то в ней надломилось. Всем существом она ощущала пугающую неодолимость насилия, жертвами которого мы были. Она боялась его и тщательно скрывала от нас свой страх.

Супруги, выдворенные из приемной, с рыданиями метались по улице. Теперь уже все поняли, что произошло. Кто-то пробовал стучать в дверь бюро, другие барабанили в окно и карабкались на подоконник, заглядывая внутрь.

На шум отовсюду стали сбегаться люди. Но в это время на углу улицы снова появилась полицейская машина, на этот раз сопровождаемая большим голубым фургоном с решетками на

окнах. Увидев всем хорошо знакомый фургон, толпа в испуге отпрянула.

Папа остался стоять. Он зло смотрел, как полицейские с резиновыми дубинками в руках выходили из машины. Они не торопились. Степенно покинув автобус, они перегородили улицу и двинулись шеренгой. Толпа бросилась врассыпную.

— Смотрите, что они делают, — сказал папа. — Они хотят все в этой стране прибрать к своим рукам. Они уже решили: «Вот это, это и это для нас». А тех, кто против такого решения, они уничтожают. Так поступают только тигры в джунглях.

И я снова услышал в его голосе нескрываемую ярость.

— Они никого ни о чем не спрашивают, — продолжал он. — Не задумываются над тем, что совершают преступление. Они просто не желают терять своих привилегий. Они захватили все, что хотели, и защищают это с дубинками и автоматами.

— Пойдем домой, папа, — сказал я, испугавшись его дикого взгляда. — Давай уйдем домой.

— Они убили моих сыновей Тома и Майкла, а Сандра вынуждена жить на чужбине. Теперь

они увезли мужа и детей нашей Розы, лишили ее семьи. В других странах такие преступления караются властями. А здесь их творят сами власти. Они приказывают своим гражданам совершать преступления. Это страна, где закон предписывает чинить злодейства, а священники проповедуют, что так хочет бог. «Это божья воля», — говорят те, кто правит страной, чтобы удержать народ в повиновении. Они возносят богу молитвы за то, что он даровал им власть, позволяющую творить преступления. Они безнаказанно убивают людей и разрушают семьи.

Мимо нас бежали люди, но их твердой размеренной поступью настигали полицейские.

Я потащил отца за собой. Когда мы поравнялись с мамой, я услышал, как она говорила Розе:

— Питер обязательно даст о себе знать. Куда бы их ни завезли, он непременно сообщит. Напишет, позвонит или пришлет с кем-нибудь весточку. Ты же знаешь Питера. Он человек рассудительный и сделает все возможное. Никто не сможет ему помешать. А мы тоже будем их искать. Станем всех расспрашивать и наверняка нападем на след.

— Все кончено, — твердила Роза, всхлипывая. — Надо было бежать в Родезию, пока была возможность. Сандра уговаривала нас в своих

письмах. Но мы все откладывали, думали: еще есть время, успеем убежать, когда опасность станет реальной. А теперь уже поздно. Мы обязаны были предвидеть это.

— Питер непременно сообщит о себе, — повторяла мама и, повернувшись к нам, спросила: — Ведь правда же, Джон? Разве Питер не даст о себе знать?

— Конечно, даст.

— И, наверное, скоро?

— Думаю, очень скоро. На него можно положиться. Уж он найдет способ сообщить, где Они находятся.

Папа взял Розу за руку.

— Не плачь, моя девочка, — произнес он ласково. — Все будет хорошо.

И снова в его голосе появились доброта и ласка, исцеляющие душевные раны.

Родители никогда не бросали слов на ветер и, вернувшись домой, сразу отправились к отцу Тревору посоветоваться, как можно разузнать, куда увезли Питера, Андре и Пенни. Потом они обратились к Уолтеру Сисулу в Исполнительный комитет АНК. По его рекомендации на следующий же день побывали у епископа Ривза. Затем отправились на прием к Якобу Хейнсу, началь-

нику службы регистрации населения по району Софиатауна. Они умоляли его обратиться в правительство с ходатайством пересмотреть решение о разводе, послали прошение премьер-министру и через генерал-губернатора — ЮАР тогда еще была членом содружества наций — направили прошение английской королеве.

Родители делали все это, мало рассчитывая на успех. Они сомневались, стоит ли мне ехать к Яну ван Баарле и просить помощи прессы, а Джимми — к друзьям Джессе с последнего курса университета, имевшим очень влиятельных родителей. Но все же мы всюду шли и просили, чтобы успокоить Розу, вселить в нее уверенность, что мы болеем душой за судьбу Питера и детей и прилагаем столько усилий, что не может не остаться надежды. Можно было, например, терпеливо ждать ответа на прошение английской королеве. И Роза, да и мы все цеплялись за эту хрупкую надежду. Она поддерживала в нас силы, мы жили ею, как живут несбыточной мечтой.

Ян ван Баарле не стал меня обнадеживать, когда я пришел к нему на квартиру на Смэтс-лаан. Он сидел с угрюмым видом, как всегда неряшливо одетый, в кожаном кресле в своей библиотеке и курил трубку. Молча выслушав меня, он поднял

голову:

— Ты своими глазами все это видел? — спросил он.

— Да.

— Ты хочешь сказать, что они собираются увезти…

— Да нет же! Они уже увезли Питера и детей. А куда, мы не знаем.

— Только его или кого-нибудь еще?

— Человек десять взрослых и около двадцати детей.

— Если бы это рассказал мне кто-то другой, я не поверил бы.

Он выглядел постаревшим и усталым. Покачав головой, Ян продолжал:

— До какой только мерзости не опускается человек, когда возникает угроза его центам… И к каким только уловкам не прибегает, чтобы оправдать свою подлость.

В то время когда мы познакомились, Ян ван Баарле занимался изучением быта черных в ЮАР. Он хотел знать, что мы думаем и чувствуем, как относимся к своему бесправному положению. Около двух недель подряд Ян ван Баарле приходил к нам в дом, разговаривал с нами, обо всем расспрашивал, изучал наш образ жизни. А потом

месяцами занимался тем же самым в других африканских семьях, колеся по всей стране.

— Я хочу знать, в чем причина вашего недовольства, — пояснял он. — Если вы просто завидуете белым и хотите выгнать их отсюда, чтобы завладеть всеми богатствами этой страны, меня ваши заботы не интересуют.

После длительной поездки по стране он вернулся удивленный и такой счастливый, словно нашел драгоценный самородок.

— Оказывается, вы не собираетесь выгонять белых и вовсе не заритесь на их богатства. Вы хотите, чтобы они остались здесь и были вашими друзьями.

Только спустя много времени я понял, как важно было для него, отравленного ядом лживой пропаганды расистов, это открытие. Ян ван Баарле остался в ЮАР, чтобы, как он выразился, участвовать вместе с нами в борьбе. Позднее он стал одним из наших лучших друзей и помощников.

Но сейчас он чувствовал себя бессильным что-либо сделать.

— Зачем ты пришел ко мне? — спросил он.

— Мама хочет знать, не можете ли вы чем-нибудь помочь Розе?

— Роза прекрасная женщина, — сказал он задумчиво. — Спокойная, мудрая, жизнерадостная. Такую женщину я взял бы в жены. — Он помолчал и продолжал: — В самом деле мама Пондо надеется, что я могу чем-то помочь? Или это делается для успокоения Розы? Скажи им, что я предприму все, что могу. Но это немногим больше, чем ничего. Расисты обложили меня, как дикого зверя. Правда, у меня есть друзья в Кейптауне. Там живет большинство цветных. Может, Питера и детей увезли туда? Передай своим, что я попрошу друзей поискать Питера с детьми в новых поселениях. Скажи им также, что в Претории есть знакомые, которые еще от меня не отвернулись. Я им позвоню. Не премини повторять это почаще при Розе.

— Неужели нет никакой надежды? — спросил я робко.

Ян ван Баарле встал, подошел к окну и задумался. Он долго смотрел на серые здания Йоханнесбурга, потом ответил с яростью в голосе:

— Разве можно рассчитывать на то, что богачи, идущие на любые подлости ради сохранения награбленного, вдруг станут добренькими?

Он повернулся и уже спокойно сказал:

— Я помню сынишку Розы, а девочку нет.

Затем, затянувшись трубкой, продолжал:

— Странно. Когда-то давным-давно бур по имени Ваес переспал с негритянкой. Его кровь вот уже сотню, а может быть и две сотни лет, переходит из одного черного тела в другое, и всякий раз на свет появляются дети, которые должны расплачиваться за его грех. Они должны страдать, потому что необходимо скрыть, что когда-то буры спали с негритянками.

Он спросил:

— Ты уже слышал, что теперь объявлено, будто капские цветные вовсе не являются потомками буров? Фервурд заявил, что это потомки негров, азиатов и «проезжих матросов». А то, что они веками говорят по-голландски, ничего не значит. То, что они веками считают себя потомками буров, тоже не в счет. Так же как и то, что у них не только часто встречаются голландские имена, но сплошь и рядом голландские фамилии.

Показав на улицу за окном, он сказал:

— Посмотри, как они разгуливают, чистенькие и аккуратные. Они считают, что достигли такой стадии развития, когда непозволительна уступчивость. Ведь она ведет к потерям. То, что они дадут вам, уплывет из их рук. Поэтому они ничего не хотят уступать: ни капли власти, ни цента

денег, так как за эту власть и деньги они продали свои души. Договор заключен, цена уплачена. А чтобы жить без души, нужно быть жестокими и очень-очень богатыми.

Он снова прошелся по комнате:

— Я сделаю для Розы все, что обещал.

— Но это же бесполезно…

— Да, но все же лучше, чем ничего. Роза теперь одинока. И ничего не изменится до конца ее жизни.

ГЛАВА X

Софиатаун был похож на растревоженные улей, когда стало известно о случившемся в бюро регистрации. Народ высыпал на улицы. Вслед белым неслись ругательства, в окна их домов бросали камни.

Полицейские патрулировали пригород, но как только они уезжали, народ вновь собирался. Многие белые, проживавшие постоянно в Софиатауне, закрыли дома и уехали. Некоторые из этих домов были разгромлены.

Ночью молодежь устремилась в район белых Вестдене и побила стекла во многих домах. А на следующий вечер там был похищен белый. В оставленном похитителями письме говорилось, что этот итальянец, черноволосый и смуглокожий, не может жить с женой немкой, у которой светлые глаза и волосы.

Похищенный пропадал целую неделю. Правительственная печать умолчала как об этом событии, так и о том, что произошло в бюро регистрации Софиатауна. Зато газеты англичан поместили статью Билла Хормана под заголовком: «Преступление в бюро разводов на Хилл-стрит»

и сообщение об исчезновении итальянца. После этого официальная печать вынуждена была опубликовать кое-какую информацию.

«Банту украли белого человека», — кричали газеты буров, умолчав, что этому предшествовало.

Тогда английские газеты напечатали подробные статьи о событиях в бюро регистрации, закончив их вопросом: «Есть ли совесть у наших представителей власти?»

После этого в «Ди Трансваалер» появилась малоубедительная заметка о вредных последствиях смешанных браков.

> «Смешение рас, — утверждалось в ней, — как это доказано историей, приводит к деградации и способствует беспорядкам в стране».

Билл Хорман в комментарии к этой заметке подчеркнул, что подобные идеи, несомненно, позаимствованы из «Майн кампф». Как история, так и биология, утверждал он, доказывают, что смешение рас, напротив, способствуем возрождению нации. Что же касается беспорядков, то именно в ЮАР, где так усиленно борются за чистоту расы, их больше, чем в любой другой стране мира.

Полиция безуспешно искала пропавшего

итальянца. И только после того, как были подвергнуты пыткам пятьдесят черных заложников, полиция получила письменное сообщение о том, где находится похищенный. Его нашли запертым в одном из подвалов.

Правительственная пресса подняла крик, что над ним издевались, что он искалечен, но это было ложью. АНК опубликовал свидетельские показания людей, беседовавших с ним после освобождения. Свидетели опровергли эти обвинения. Однако заложники так и не были освобождены. Их судьба осталась неизвестна.

Власти задержали восемь подростков в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, обвинив их в том, что они якобы били стекла в домах белых в Вестдене. Этих подростков больше никто никогда не видел.

Нельсона Манделу и Уолтера Сисулу обвинили в принадлежности к компартии и запретили быть членами АНК.

Та же участь постигла еще шестьсот человек, в том числе Ньонгве[34], епископа Мэттьюза и лидеров Индийского национального конгресса.

И снова Софиатаун был объят страхом. Де-

---

[34] Примечания: 34

Джеймс *Ньонгве* (род. в 1910 г.) — один из деятелей АНК в 50-е годы.

монстрации прекратились, люди перестали собираться на улицах.

Пока мы ждали вестей от Питера, Роза жила у нас. Каждое утро и в полдень она караулила почтальона. Иногда часами сидела у телефона.

Время от времени Роза ходила к себе домой на небольшую улицу позади церкви Христус-Коннинг. Ее тянуло посидеть там за столом, потрогать костюм Питера, подержать в руках детские книжки.

Она очень боялась, что сообщение от Питера не успеет прийти до нашего отъезда из Софиатауна. Слухи о том, что нас собираются переселить в Мидоулендс, ходили еще до того, как Питера увезли. Безусловно, он был в курсе дела. Но никто из нас толком не знал, что это за место. Говорили, что-то вроде лагеря.

Отец и Джимми решили туда съездить. От стариков, батрачивших на фермах у буров, они слышали, что приблизительно в двадцати километрах от Йоханнесбурга лежит безлюдная долина под названием Мидоулендс, на которой остались развалины старинных ферм.

И вот однажды отец с Джимми отправились туда на велосипедах. Подъезжая к долине, они встретили на тропинке между полями ребяти-

шек. Те рассказали, что в миле от поля находится большая долина, окруженная колючей проволокой, за которой строится «много, много домиков».

Однако дальше дорогу им преградили полицейские на «джипе» и велели возвращаться. Папа и Джимми попытались подъехать к лагерю с другой стороны, но и там их постигла неудача.

Тогда они забрались на вершину одного из близлежащих холмов и наконец увидели долину с длинными рядами домишек, окруженную высокой извилистой оградой из колючей проволоки.

— Вот видите, — сказала Роза испуганно, когда они вернулись домой. — Это не поселок, а лагерь. Там будут контролировать каждый наш шаг, вскрывать письма. Никого посторонних туда не пустят, и, конечно, там у нас не будет телефона.

Изо дня в день Роза жила в страшном напряжении. Мы старались успокоить ее, говорили, что Питер, несомненно, даст о себе знать до нашего отъезда, а уж если не успеет, то найдет способ прислать нам весточку в лагерь. Но вот в одно прекрасное утро Роза исчезла. На ночном столике в ее комнате мы нашли письмо.

«Я не могу жить без детей, — писала

она, — *и люблю своего мужа. Ухожу искать их. Не беспокойтесь. У меня есть немного денег, как-нибудь обойдусь. Я люблю всех вас и буду очень скучать, но я должна найти детей и мужа».*

Письмо было написано безукоризненным Розиным почерком, которым мы все так гордились, в особенности мама.

С тех пор я больше никогда не видел Розу и не знаю, жива ли она. Может быть, все эти долгие, долгие годы она бродит в поисках мужа, который уже стал стариком, и детей, которые выросли и вряд ли ее узнают. А может быть, она умерла. Разве можно вынести такие страдания?

В то утро в феврале, за двое суток до рокового дня, когда согласно указу мы должны были покинуть Софиатаун, шел проливной дождь. Серые облака заволокли небо.

Перед этим в субботу разнеслась весть, что ООН официально осудила апартеид в ЮАР, что правительство напугано и рассматривает возможность отмены или смягчения в угоду общественному мнению таких мер, как, на пример, принудительное переселение цветных.

Позже выяснилось, что слух об испуге прави-

тельства преувеличен и что не было и речи об отмене или смягчении законов апартеида. Но в ту субботу в Софиатауне царило приподнятое настроение, которое возросло еще больше, когда на следующее утро весь Софиатаун оказался засыпан цветными бумажками с надписью: «Мы не уйдем». Бумажки были похожи на конфетти, и создавалось впечатление, что наступил праздник.

Потом прошел слух, что по всей стране белые приняли решение протестовать против «насилия над Софиатауном», а АНК постановил в день выселения Софиатауна призвать все африканское население Йоханнесбурга окружить те кварталы, которым угрожает выселение, и устроить сидячую манифестацию.

Мы знали, что это постановление обсуждалось на многочисленных митингах и всюду принимались решения поддержать призыв конгресса.

Мы не очень рассчитывали, что подобное мероприятие заставит правительство отменить указ, но надеялись таким путем хотя бы приостановить выселение и разбудить общественное мнение, что могло бы вызвать более решительные действия противников выселения.

Это была слабая, пугливая надежда, но она все же спасала нас от страшной мысли, что нам пред-

стоит уехать в чужие края, а наши дома будут снесены.

Не думаю, чтобы в то сумрачное, дождливое утро, предпоследнее перед роковым днем, хоть кто-нибудь начал упаковываться. Мысль сдвинуть вещи с мест в доме, в который мы больше не вернемся, была так ужасна, что мы все гнали ее прочь.

И все же люди потихоньку запасались ящиками и мешками и договаривались о перевозке. Мы тоже. «На всякий случай», — говорили мы. Соседи понимающе кивали. Мы тоже кивали, когда соседи начинали оправдываться.

Не хотелось верить, что неизбежный конец наступит. Вопреки всему в каждом из нас теплилась надежда, что в самый последний момент что-то случится. Свершится чудо, все происходящее окажется ночным кошмаром, и одним прекрасным утром наступит исцеляющее пробуждение, Мы мечтали о волшебном пробуждении, сознавая, что оно невозможно. Однако человеку свойственно надеяться на лучшее, и страх в конце концов отступал. Поэтому в то утро у меня не возникло никаких подозрений, когда около половины восьмого по дороге в колледж я увидел четыре огромных крытых брезентом военных грузовика,

въезжавших на площадь у церкви Христус-Конинг.

Шел проливной дождь, и небольшая площадь была пустынна. Машины двигались сквозь плотную завесу дождя, словно сквозь туман, и с брезентовых крыш стекала ручьями вода.

Грузовики остановились у церкви. Я подумал, что начались военные учения. В нашем районе это бывало довольно часто, потому что неподалеку находилась казарма.

Вслед за грузовиками к церкви подъехал «джип» с установленным на нем пулеметом. К этому мы тоже привыкли. Однако мне показалось странным, что из грузовиков вместо солдат выпрыгнули полицейские и у многих из них в руках были автоматы.

Четверо полицейских перекрыли улицы, выходившие на площадь, по одному встало на углах площади, а остальные, разбившись на группы, направились в глубь улиц. Я наблюдал, как они шли не торопясь, пока в конце каждой улицы не встал полицейский с автоматом.

И тут я увидел колонну военных грузовиков, таких же, как и первые четыре, двигавшуюся по шоссе в двухстах метрах за церковью. Я почувствовал неладное и побежал домой. Полицейский

на углу задержал меня.

— Идите домой, — буркнул он, не слушая моих объяснений.

Только после проверки паспорта, убедившись, что я действительно проживаю в этом переулке, он пропустил меня.

Навстречу мне из дома выбежал дядя Чарльз и закричал:

— Давид, что это значит? Они говорят, что мы сегодня должны уехать! Но ведь в постановлении сказано: послезавтра!

— Да, конечно, послезавтра.

— А полицейские уверяют, что сегодня. Они требуют, чтобы мы упаковывали вещи и переносили их к машинам.

В это время папа тоже вышел на улицу.

— Джон! — крикнул дядя Чарльз. — Ты слышал, что они говорят?

Из дому выбежал дядя Джереми и другие наши родственники и соседи. Они возбужденно кричали, перебивая друг друга.

Папа подошел к одному из полицейских и спросил:

— Скажите, пожалуйста, где ваш капитан?

— Тут какое-то недоразумение, — уверял дядя Джереми.

— Нет никакого недоразумения, — ответил полицейский.

— Нет, есть! — настаивал дядя Чарльз. — Ведь в постановлении…

— Нечего разговаривать, — прервал полицейский, — Лучше поскорей пакуйте свое барахло!

— Но в указе написано: послезавтра, — пытался убедить полицейского папа.

— Дату перенесли, — ответил тот. — Скажите спасибо, что вам грузовики подали. В постановлении об этом тоже не говорится.

Он повернулся и пошел прочь. Когда я рассказал, что видел на площади у церкви Христус-Коннинг, папа, растерянно оглядываясь по сторонам, пробормотал:

— Сегодня, уже сегодня…

— Они не имеют права, — продолжал горячиться дядя Чарльз. — Джон, неужели они это сделают?

Полицейские принялись загонять в дома перепутанных жителей. К нам тоже подошел один и приказал идти в дом. Папа попытался получить у него разъяснение, но тот оборвал его:

— Принимайся за дело. Мы не намерены возиться с вами до ночи. Не соберете вещи в положенное время, останетесь без вещей.

В дверях появилась мама и крикнула:

— Телефон уже не работает. Я хотела позвонить отцу Тревору, но в трубке глухо, гудка нет.

— Все ясно! — услышали мы голос Джимми. — Электричество отключено. Посмотрите, лампочки не зажигаются… Газа тоже нет!

Мы хотели пройти через сад на соседние улицы, посмотреть, что там творится, но наткнулись на полицейского, который прогнал нас обратно. Вдалеке мы увидели пастора Тревора, возбужденно спорившего с полицейским, и хотели подойти к нему, но полицейские нас не пустили.

Один из них, который уже раньше прогонял нас, разозлился не на шутку. Он записал нашу фамилию и предупредил, что, если еще раз увидит кого-нибудь из нас на улице, отправит в тюрьму.

Может быть, подумал я, власти решили в целях безопасности пронести выселение под надзором полиции, не из-за нехватки полицейских делают это поэтапно: одну часть выселят за два дня до назначенного срока, другую за день, а остальных в назначенное время?

Это предположение кое-что объясняло. Но тут с чердака мастерской раздался мамин голос:

— Идите сюда! Идите скорее!

Мы с папой поднялись по лестнице на чердак.

Мама сидела около окна. Она взволнованно повернулась к нам и сказала:

— Посмотрите-ка туда.

Ее губы дрожали. Я высунулся из чердачного окна. Наш дом стоял на холме, с чердака был виден почти весь Софиатаун, и повсюду, насколько хватал глаз, улицы заполнили вооруженные полицейские.

Никогда в жизни мы не видели их в таком количестве. Это напоминало картину военных действий.

— Боже мой, — прошептал папа. — Сколько же их? Тысяча? Две тысячи? Куда ни глянь, везде полицейские и военные грузовики…

Жители сновали между домами как муравьи. На каждом углу улицы стоял полицейский с автоматом, не позволяя покинуть свой квартал.

— Они выселяют не по этапам, — сказал Джимми, — а всех сразу. Они надули нас, как маленьких детишек. А мы-то объявили, что все черное население Йоханнесбурга соберется здесь в Софиатауне. Наивные простаки! Они выселяют нас на два дня раньше, и все наши планы летят к черту.

— И ведь как все организовали! — воскликнул папа. — Никто ни о чем и не подозревал. Подключили армию и сотни полицейских отделений,

выработали подробный план, кому что делать. Они, наверное, уже давно этим занимались. Каждый водитель грузовика знал, куда ему ехать, каждому полицейскому было известно, на каком углу встать. Все расписали и показали на плане Софиатауна.

— Так можно выселить целый город, — сказал Джимми мрачно. — Нет ничего проще. Надо только разделить его на сто маленьких квадратиков, на углу каждого квадратика поставить человека с автоматом, чтобы не было беспорядков, и приехать на два дня раньше положенного срока.

— Значит, они давно решили приехать на два дня раньше? — спросила мама. — Чтобы не допустить демонстрацию черных, которая назначена на послезавтра?

— Это несомненно так, — ответил папа.

Мы были потрясены не столько холодной жестокостью властей, сколько их коварством.

— Конгрессу надо было молчать, — сказал Джимми, — и готовить демонстрацию втайне. Или придумать какую-нибудь хитрость. Нам еще многому нужно учиться.

Дождь лил не переставая, когда мы вытаскивали из мастерской ящики, заготовленные папой. Затем молча начали упаковываться: мама —

одежду и посуду, а папа и Джимми гончарные станки.

Я разбирал мебель. Когда я принялся за кровать родителей, мама остановилась у бельевого шкафа, и я увидел, что плечи ее вздрагивают. Мне понадобилась большая отвертка, и я вошел в мастерскую. Там был папа. Он отвернулся, избегая моего взгляда.

По мере того как мы упаковывали вещи, дом пустел и все больше казался чужим. Голубые фарфоровые тарелки и папина коробка с табаком уже не стояли на камине. Вскоре в комнатах остались одни голые стены, я никогда не видел их такими. А когда в гостиной с окон сняли шторы, они стали походить на окна чужого дома.

Мои ботинки были в грязи, потому что мне без конца приходилось выбегать на улицу. Входя в дом, я каждый раз по привычке вытирал их. Но когда убрали половики, в замешательстве остановился у двери: мне не обо что было вытирать ноги, а пачкать пол я не привык, хотя теперь это уже и не имело никакого значения.

Когда через несколько часов дом опустел, мы распахнули двери настежь. Так было приказано в расклеенных повсюду объявлениях: «После освобождения домов оставить двери открытыми».

В этом была полная мера пренебрежения к нам и свидетельство обреченности нашего жилища. А я по-прежнему боялся ступить на пол в грязных ботинках, словно опасаясь осквернить наш дом!

Я видел, что Джимми тоже нерешительно остановился в дверях, растерянно глядя на грязные следы на полу.

Мы были побеждены, стали бездомными. «Человек беззащитен, если у него нет дома», — говорил Майкл.

Папа и мама подошли к дверям и долго с грустью смотрели на заляпанный грязью пол в гостиной.

Какими беспомощными они выглядели и как смутились, когда заметили, что я смотрю на них. Когда-то они обещали друг другу подарить нам счастье и безопасность. Но чужие люди лишили их пристанища и выставили напоказ их бессилие. Я не сдержался, подошел к ним и обнял.

— У нас будет новый дом, — горячо произнес я. — В другом месте мы снова построим хороший дом.

— Да, да, конечно, — ответил папа ласково и вернулся в мастерскую.

Я пошел с мамой в спальню. Она улыбалась, но я знал, чего ей это стоило. О, как хорошо я

понимал ее. «Мы бросаем вас на произвол судьбы, — говорили ее печальные глаза. — Вы верили в нас, а мы вас обманули».

На ночном столике я увидел мамину заветную шкатулку с сувенирами. Мы часто добродушно подшучивали над маминым необыкновенными сувенирами. Она терпеть не могла банальных, нередко уродливых безделушек, которые обычно привозят из путешествий, покупая их в лавках. Мама собирала совсем другие сувениры, «вещи из жизни», как она говорила, которые напоминали ей кого-то или что-то.

Она хранила самые обыкновенные камешки. Человек поленится поднять их, но для нее они были дороже драгоценных камней. Один из них она привезла с берега реки позади фермы бура Хендрика Вассенаара, у которого ее дедушка служил управляющим. Камешек казался ей частицей того мира: фермы и окрестных земель, где работал дедушка. Он принадлежал к тем местам, когда-то лежал в лоне речки за фермой, а потом весенним потоком его выбросило на берег.

О втором камешке мы знали, что он взят с пастбища на холме, где мама впервые увидела папу. Этот обыкновенный камень лежал на холме, и овцы, которых пас папа, наверное, наступали на

него. Но когда-то папа каждый день видел его, был рядом с ним. Камень напоминал ей первую встречу с папой, давно минувшее время их молодости.

А третий, светло-зеленый, камешек мама нашла в нашем саду на том месте, где ее отец, будучи еще мальчишкой, посадил деревце. С тех пор оно разрослось в огромное ореховое дерево, на которое мы в детстве забирались человек по десять сразу и рассаживались в его широкой кроне, как сороки. Теперь под этим орехом стояли четыре скамейки.

Мама берегла камешки как самую большую драгоценность и не разрешала нам их трогать. Я вспоминаю, как однажды в детстве, роясь в шкафу, мы нашли эти камешки и спрятали их в ящик с углем, а маме сказали, что играли ими и потеряли. Мы договорились, что хотя бы полчаса будем молчать, куда мы их спрятали. Но, о боже, мы не продержались и десяти секунд. Мама набросилась на нас как фурия, угрожала таким страшным наказанием, что мы с плачем помчались к ящику с углем и извлекли оттуда ее сокровище.

Между страницами старого молитвенника мама хранила засохшие цветы. Об этом мы тоже

знали. Мама говорила, что хранит их лишь потому, что они красиво цвели. Но мы догадывались, что дело тут совсем не в том.

А еще в шкатулке хранились ключ и старая кисть. Однажды нам здорово досталось от мамы: она решила, что мы куда-то спрятали этот ключ; а Джессе влетело за то, что он швырнул кисть на террасу.

Мы не знали, почему мама держала эти вещи в шкатулке, но было очевидно, что они ей очень дороги.

И вот теперь открытая шкатулка стояла на ночном столике. В ней лежали камешки, старый молитвенник, ключ, кисть, старинные монеты, обрывки обоев, пучок луговых трав, клубок выцветших ленточек, старый карандаш, пустая чернильница, деревянные шарики о дырочками и еще какие-то мелочи, которые я не запомнил.

Я не видел эту шкатулку лет десять. Но все же сразу узнал светло-зеленый камешек из нашего сада и плоский с черно-белыми полосками с берега реки за фермой Вассенаара, и еще один, коричневый, с луга, где папа и мама впервые встретились.

Но сейчас там был и четвертый, маленький, плоский, розового цвета с серыми крапинками.

Его я видел впервые. Мама улыбнулась, когда я спросил о нем.

— С ним Сандра играла в классики, когда была маленькой, — сказала мама. — Помнишь эту игру? На земле чертят квадраты, а потом, прыгая на одной ноге, передвигают камешек из квадрата в квадрат. Сандра всегда играла с этим плоским розовым камешком в классики на террасе. Я нашла его в саду, когда она уже выросла.

Я взял в руки пачку бумажек. Это были кусочки обоев, некоторые совсем выцвели. Коричневые с зелеными цветами я сразу узнал.

— Эти обои когда-то были в гостиной, — сказал я.

— Да, — подтвердила мама. — Ты их помнишь? Сейчас такие не в моде, а тогда ими все восхищались. А эти помнишь?

Она показала другой кусочек, на котором едва виднелись птички среди цветов.

— Да, конечно, — ответил я, удивленный. — Это из моей спальни, маленькой, где я спал с Джимми.

— Такая птичка была у твоей подушки. Ты утром, как только открывал глаза, улыбался ей и говорил: «Здравствуй, птичка!»

У мамы на лице блестели слезы, но она с улыб-

кой перебирала обрывки обоев.

— У меня здесь собраны почти все обои, — произнесла она. — История нашей семьи в кусочках обоев… Когда я перебираю их, мне вспоминается вся моя жизнь.

— А что это за ключ?

— О, это было очень давно. Когда мой отец переехал сюда, здесь стояла маленькая ферма. Этот ключ от нее. Он служил нам недолго. Уже через несколько дней папа сделал другую дверь, а потом пристроил еще одну комнатушку. Сейчас это часть спален. Стена с альковом в нашей спальне — это остаток старой фермы. Но папа хранил ключ от первой двери. Он всегда носил его в кармане жилета. Детьми мы любили, вскарабкавшись к нему на колени, забираться в его карманы и неизменно находили там этот ключ. Когда мы спрашивали, почему он его хранит, папа отвечал: «Потому, что с его помощью я пришел к вам».

Мне очень понравились эти слова. Не исключено, что мама сама их придумала. Когда я взял в руки кисть, она сказала:

— Этой кистью я выкрасила в зеленый цвет Уолдерса по прозвищу «Исходная сумма».

— Что, что?

— Уолдерс был нашим участковым полицейским, когда вы все были еще маленькими. Этот жирный, как свинья, нахал вымогал у всех деньги. Взимая налоги, он никогда не выдавал квитанции и поэтому обирал нас дважды или требовал больше, чем значилось в документах. И при этом говорил, что в документах якобы стояла «исходная сумма», а теперь произошло повышение. Вот его и прозвали «Исходная сумма». Мы ничего не могли с ним поделать. При малейших возражениях следовали штрафы. Он вымогал у каждого не так уж много, но в итоге основательно наживался на всех нас. И вот однажды я не выдержала. Как сейчас помню, я красила ворота в темно-зеленый цвет. Смотрю, идет Уолдерс. Подошел, показал документы на получение налога за ручную тележку и, как всегда, завел песню об «исходной сумме» и повышении налога. А у нас в это время сидел Сэм Вудворд, англичанин, владелец магазина в Ньютауне. Он всегда покупал у нас горшки. Лет десять назад Сэм уехал в Америку, а потом вернулся. Я сделала вид, что не очень хорошо понимаю Уолдерса, и ему пришлось дважды громко повторить все сначала. Тут я хорошенько макнула кисть в краску, и не успел Уолдерс сообразить, в чем дело, как весь

живот у него стал зеленым. А потом позвала Сэма и спросила, слышал ли он, что Уолдерс сказал о повышении налогов, и не может ли он объяснить мне, что такое «исходная сумма» и почему так часто повышаются налоги. Увидев Сэма Вудворда, полицейский страшно покраснел, пробормотал что-то невнятное и бросился наутек. С тех пор он старался как можно реже появляться на нашей улице и никогда больше не заикался о повышении налогов.

Мне на мгновение показалось, что вернулись старые добрые времена. Мы с мамой улыбались. Мы были дома, были счастливы.

Потом мама показала мне засушенный желтый крокус. Это был первый цветок, расцветший в нашем саду после их свадьбы с папой.

Старый карандаш оказался тем самым карандашом, которым Том учился писать. Деревянные шарики с дырочками остались от счетов Розы. Ей купили их, когда она училась считать в детском садике.

Монеты были из Китая, их привез брат маминого дедушки. Он был матросом и много лет плавал в Тихом океане.

Потом мама спросила:

— А ты помнишь красивое кресло со светлой

обивкой? Оно стояло около камина.

— Да, очень хорошо помню.

— Знаешь ту историю с ним?

— Какую историю?

Она указала на чернильницу. Я сразу вспомнил.

— Чернильное пятно!

— Скажем, чернильная лужа, — улыбаясь, произнесла мама.

— Да, помню. О небо, как мы тогда перепугались. Прямо до смерти. Огромное чернильное пятно в самой середине твоего нового бежевого кресла! Нам было ясно, что ты моментально дознаешься, кто из нас это сделал. Но, к нашему удивлению, ты не ругалась. Даже как будто и не рассердилась. Сказала спокойно и ободряюще: «Дети, я знаю, что вы не могли намеренно сделать что-либо подобное, поэтому не буду спрашивать, кто в этом виноват. Соорудим на кресло чехол и не будем больше говорить об этом». Мы ничего не понимали. Удивительно, что мы и потом не узнали, кто испортил кресло. Могу с уверенностью сказать, что это сделал не я, но до сих пор не догадываюсь, кто был виновником. Обычно виновный быстро находился.

— В тот раз вы не могли его найти, — таин-

ственно сказала мама.

— Но мы всегда тайком признавались друг другу.

— Однако на этот раз признаться никто не мог.

— Почему?

— Потому что это сделали не вы.

— Так кто же? Кто-нибудь из наших друзей?

— Нет.

— А кто?

— Я, — сказала мама виновато.

— Что? — воскликнул я со смехом.

— Я, хорошо помню все, что сказала вам. Я тщательно подбирала слова, чтобы не лгать. Я сказала, что вы ничего подобного преднамеренно не сделаете. Это была правда, и таким образом я никого из вас не обвиняла. Затем я сказала, что не буду допытываться, кто виноват. Это выглядело благородно. Но единственной причиной, почему я так поступила, было желание избежать папиных расспросов. Папа всегда доверял мне расследование, и, если бы его пришлось проводить, справедливости ради я должна была бы поднять палец и признаться, что это сделала я.

— А почему тебе было бы не признаться? Ведь ты сделала это не нарочно.

— Ха… вот тут-то и зарыта собака, — сказала

мама.

— Ничего не понимаю…

— Я сделала это нарочно.

— Нарочно опрокинула чернильницу на свое новое кресло?

— Да.

— Не могу поверить.

— Конечно, не для того, чтобы испортить кресло, но я не уронила, а именно швырнула ее.

— В раздражении?

— Еще в каком!

— О боже мой! Да, такое случалось.

После моего замечания мама растерянно посмотрела на меня, потом сказала:

— Это был очень неудачный день. Я встала уже раздраженная. Бывают такие дни.

— Да-да.

— В тот день мы получили сообщение о повышении налогов. Роза болела, и мне самой пришлось заняться подсчетами, а я это ненавижу.

— Да, я знаю.

— Давид Тугела, не смей так охотно подтверждать мои недостатки. Я могу о них говорить, а ты нет.

— Но я не хотел тебя обидеть, — ответил я, смеясь.

— Так вот, я не любила всю эту бухгалтерию, — повторила мама. — А в тот день мне пришлось пять часов подряд просидеть за расчетами. Я делала это с отвращением, но делала! Где-то я ошиблась в счете, а обнаружила это лишь после того, как все записала в бухгалтерскую книгу. Надо было работать еще целый час, чтобы исправить ошибку. И когда я это сделала, оказалось, что я опять занесла в книгу свой первый ошибочный подсчет. Уже наступил полдень, обеда не было, да еще Джимми крикнул из ванной, чтобы я подала ему носки. За десять минут до этого он просил принести бритву, а потом новый кусок мыла. Носки переполнили чашу терпения. Я завопила, что готова работать для каждого из вас, но не желаю быть ничьей рабыней. Я изо всех сил отшвырнула от себя чернильницу и ручку, рассчитывая, что чернильница упадет на пол и чернила потом легко будет отмыть водой. Так нет же. Ручка шлепнулась на пол, а чернильница угодила прямо в середину моего прекрасного бежевого кресла… Если когда-либо карающая рука господа и настигала меня, так это было в тот день. Я готова была сама себя выдрать.

Я достал из шкатулки старинную чернильницу и спросил:

— Это она?

— Да, — ответила мама. — Она небольшая, но ты не представляешь, сколько чернил выливается из нее, если ее швырнуть в кресло со светлой обивкой.

Я грустно произнес:

— В наш новый дом мы купим такое же кресло. Точно такое же!

Мама закрыла шкатулку, повернулась ко мне и спросила, глядя на меня глазами, полными страха:

— О Давид, как мы будем жить на новом месте? Ведь это лагерь, обнесенный колючей проволокой… Как жить в лагере?

— Не волнуйся. Мы совсем не знаем, как там будет.

— Да, это правда. Мы все должны надеяться. Ты тоже, Давид.

— Да-да.

Мы всегда так говорили, когда кто-нибудь из нас надолго уезжал. Тоска терзала сердце, но, чтобы не причинить боли другим, каждый делал вид, что весел, и пытался утешить и ободрить другого, вселить в него мужество, которого не было в нем самом.

ГЛАВА XI

Мы промокли до костей и вконец перепачкались, пока запаковали и перетащили к воротам все имущество. У большинства наших соседей не было ручных тележек, и сборы у них шли медленнее. Мы отправились к ним с тележкой и помогли подвезти вещи к грузовикам.

Наши спальни и кухня были уже пусты. А в гостиной еще стоял стол и стулья. Мы сели там все вместе перекусить. Мама приготовила на костре во дворе немудреный обед.

У многих соседей мужчины были на работе в шахте. Их семьи просили разрешения остаться до вечера, но полицейские ничего не хотели и слушать. Шахтеры приедут позже, говорили они.

Кое-кто пытался получить разрешение вместо Мидоулендса поехать к родственникам в Йоханнесбург. Но им ответили, что все жители Софиатауна должны переселиться в Мидоулендс.

Погрузив вещи в машину, мы, не сговариваясь, собрались у дома.

Мама погладила болтавшуюся ручку двери.

— Я целый год собиралась закрепить ее, — сказала она.

Я думаю, что каждому из нас хотелось в последний раз пройтись по дому и попрощаться с ним.

Но папа сказал:

— Пошли, нам пора.

Он взял маму под руку, и они вышли из ворот, ни разу не оглянувшись. Джимми и я поплелись следом. За воротами я не смог преодолеть искушения и обернулся. На лужайке у террасы прыгал черный дрозд, «наш дроздишка», который каждый год вил гнездо на тисовом дереве позади дома. Может быть, когда мы уйдем, дрозд влетит в дом? Он всегда так делал. Мне пришла в голову странная мысль: заметит ли он перемены в доме? Способны ли вообще на это птицы?

Мы уезжали в числе последних. Улица опустела. Во всех домах входные двери были распахнуты. От покинутых жилищ веяло тоской и холодом. В нашем доме двери тоже остались открытыми. Папа сделал так, как было предписано.

Он уважал законы. Папа мог страдать, сетовать, что все кругом нехорошо, но законы уважал. Таким он оставался до самого конца.

Мы забрались в кузов грузовика, крытого зелено-коричневым пятнистым брезентом. На солдате, сидевшем за рулем, был костюм такой же расцветки.

Мы сели между ящиками с мебелью около старика Йао Нлели, жившего в лачуге позади нашего сада. Он спрятался под кроватью, чтобы не ехать. Полицейские вытащили его и впихнули в грузовик. Джимми и я быстро перенесли в машину его кровать и весь его жалкий скарб. Один из полицейских сел к нам в кузов и закрыл задний борт. В кузове каждого грузовика ехал полицейский, вероятно, для охраны, чтобы никто не убежал по дороге. Полицейский спросил угрюмо, но не враждебно, готовы ли мы. А потом, видимо, чтобы утешить нас, сказал, что все домовладельцы получат компенсацию и что в Мидоулендсе нам дадут очень хорошие дома, даже лучше тех, которые были в Софиатауне.

— Вас переселяют потому, что вы стали слишком требовательны, — добавил он.

— Мы хотим только, чтобы нас оставили в покое, — возразил Джимми. — Белых не трогают. Их не выселяют в лагеря.

— Мидоулендс не лагерь, — ответил полицейский. — Это поселение.

— Бесконечные ряды бараков, вокруг колючая проволока и сторожевые вышки, вот что такое Мидоулендс, — не унимался Джимми. — И не говорите, что это неправда. Я сам видел.

— Ну и нахал, — разозлился полицейский. — С ним по-человечески, а он…

Проезжая по улице, мы видели через открытые входные двери затоптанные полы и непривычно опустевшие комнаты. Это было похоже на страшный сон, когда человеку снится, будто он приходит в свой дом, но там никого нет, все мертво, покинуто. Он остался один и не знает, что случилось. В страхе он спрашивает: кто я, где я? Наверно, даже праведник не смог бы побороть этого страха, ибо как избавиться от него в пустоте и одиночестве, когда не знаешь, кто ты, где ты.

Полицейских на улицах уже почти не было. Лишь кое-где они входили в дома, наверное, чтобы проверить, не остался ли кто-нибудь, подобно старому Йао.

Вскоре мы уже ехали среди холмов, прилегавших к Софиатауну. Жители лачуг, прилепившихся на склонах, видимо, еще не получали приказа о выселении. Они стояли на пороге своих домов и удивленно смотрели на нас.

Затем мы выехали на широкое шоссе за городом, и грузовики, влившись в поток автомашин, прибавили скорость. Мне запомнилось монотонное шуршание колес, проносившиеся мимо, роскошные лимузины, в которых сидели белые,

фургоны с названиями голландских и английских фирм на бортах, грузовики с белыми водителями, гаражи и заправочные станции. И нигде на этом широком прекрасном шоссе ни одного черного.

С болью в сердце смотрел я на этот мир белых, и мне казалось, что Софиатаун в нем всего лишь маленький, существовавший веками островок, черная точка. Он был у них как бельмо на глазу, и теперь его уничтожили.

Грузовик притормозил и свернул с шоссе налево. Я заметил, как мама вопросительно посмотрела на папу. Здесь, подумал я, мы расстанемся с миром цивилизации и поедем в глушь, впереди нас ждут джунгли.

Мы въехали на узкую асфальтовую дорогу, которая сначала шла стрелой по полям, а потом запетляла в холмах. Никакого транспорта на ней уже не было. Справа виднелась новая железнодорожная ветка. Кое-где на ней еще работали строители. Холмы покрывала скудная растительность, жилья поблизости не было видно.

Минут через двадцать грузовик остановился. Дорогу перегораживал шлагбаум. На обочине стояла деревянная будка, из которой вышел полицейский. Наш конвоир кивнул ему, и тот нас пропустил.

Километров через десять мы снова остановились. В этом месте шоссе и железная дорога ныряли в узкую расщелину между двумя скалами. Здесь снова был шлагбаум с будкой для постового. Впереди дорогу по обеим сторонам огораживала металлическая сетка высотой около трех метров, тянувшаяся до холмов на горизонте. На левом холме виднелась сторожевая вышка.

К нам подошли два полицейских. Они поздоровались о нашим сопровождавшим, заглянули в кузов и пошли открывать шлагбаум. Грузовики двинулись дальше.

По нашим расчетам вскоре должна была показаться долина, где находился лагерь. Дом в Софиатауне навсегда перестал быть нашим домом. Мы потеряли его уже тогда, когда начали выносить мебель.

Какой же барак из бесконечно длинного серого ряда будет наш, думал я. Поместится ли в нем мастерская или придется просить разрешения на пристройку? А может быть, нам позволят арендовать два домика? В последние недели мне много раз приходилось слышать, как родители вполголоса обсуждали это.

Они твердо решили начать жизнь сначала, а мы все должны были им помогать. Их реши-

мость восхищала, и все же мы строили планы для жизни в тюрьме. Я не сомневался, что родители материально себя обеспечат. Папина смекалка и мамина энергия были тому порукой. Но как страшный призрак маячил у меня перед глазами голый, пыльный лагерь, окруженный вооруженными часовыми. Это зрелище преследовало меня в грузовике. Хотелось поскорее узнать, действительно ли придется жить в тюрьме.

Машина остановилась, и мы увидели лагерь. Он был огорожен металлической сеткой высотой с дом, сквозь которую в несколько рядов тянулась колючая проволока. На ней белели фарфоровые изоляторы, такие же, как на столбах с высоким напряжением. Джимми показал на них и спросил испуганно:

— Неужели через эту ограду будут пропускать электрический ток?

Высокие двойные ворота, также из металлической сетки с колючей проволокой, были широко распахнуты. Около них стояли, беседуя, четверо полицейских. Наискосок на деревянных столбах метров по пятнадцать высотой вздымалась сторожевая вышка с пулеметом.

Металлическая ограда тянулась от ворот вправо и влево, уходя за холмы. Вдали виднелись

такие же сторожевые вышки, что и у ворот.

Мама застывшим взглядом смотрела на вышку и направленный на нас пулемет.

— Это временные меры предосторожности, — сказал папа обеспокоенно. — Власти встревожены волнениями последних месяцев. Не стоит обращать внимания.

Машина миновала ворота, и нашим взорам представилась долина. Папа и Джимми говорили, что она большая, что однотипные домики стоят длинными рядами друг возле друга. Так оно и было. Но мы не представляли себе, что лагерь так огромен.

Он был необозрим. Ряды бараков уходили вдаль, насколько хватал глаз. Пыльная светло-серая почва была похожа на цемент. Так выглядят окрестности цементных заводов. И нигде в этом бесконечном сером пространстве не было ни деревца, ни кустика, ни цветочка. Лишь пыльная земля, галька да сорняки и ряды маленьких серых продолговатых домиков, начинающихся от ворот, через которые мы въехали.

Стены бараков были сложены из неоштукатуренных и некрашеных цементных блоков, швы и трещины не заделаны, а многочисленные дыры небрежно замазаны известковым раствором. Ок-

на и двери были покрашены в ядовито-зеленый цвет, всюду одинаковый.

Между домиками валялись рваные бумажные мешки из-под цемента, обрезки досок и строительный мусор. Рядом зияли ямы, поросшие чертополохом.

Мама плакала. Смотрела на огромную, серую долину и тихо плакала. Она старалась взять себя в руки, но не могла. Слезы катились по ее лицу.

Мы ехали между домиков, в которых уже жили. Через километр наш грузовик остановился рядом с двумя другими машинами. Около них мы увидели соседей из Софиатауна. Они разгружали вещи и вносили их в дома. Детишки уже возились в песке.

— Пойдем, Сара, — сказал папа ободряющим тоном. — Посмотри, ребятишки уже играют. Значит, это место благословляет господь.

Соседи помогли нам выгрузить вещи и показали на барак дальше по улице, где мы должны были предъявить документы. В этом бараке, сказали они, потом будет школа, но пока в нем нет ни одной парты. Барак рядом служил «церковью», а напротив была «пивная».

Проходя по улице, мы обратили внимание на множество пней. По всей вероятности, тут росли

большие деревья, но их спилили. Джимми кивнул на пни.

— Смотрите, — воскликнул он, — точно так же, как в шахтерских поселках, все предусмотрено, чтобы легче было нас расстреливать, если мы взбунтуемся. Нигде ни единого деревца, за которым можно укрыться.

В доме, предназначенном под школу, еще не было пола. Стол стоял прямо на земле. За ним сидели двое чиновников — белый и африканец. Отец подал им сначала паспорт старого Йао. Белый чиновник внимательно просмотрел его и поставил печать. Потом что-то буркнул черному. Тот дал Йао бумажку и сказал, чтобы он ждал со своими вещами у барака номер 1244. Туда подъедет машина и отвезет его к месту, где он будет жить.

Чиновник-африканец, полный человек в очках, смотрел на нас безразличным взглядом, пока белый занимался нашими бумагами.

— В документах указано, что ты не работаешь на шахте с тысяча девятьсот тридцать восьмого года, — сказал белый чиновник.

— Да, это так, — ответил отец.

— Ты гончар?

— Да, мой сын Джимми работает со мной.

Давид — учитель колледжа святого Эдварда в Йоханнесбурге. Я надеюсь, что у него будет возможность вернуться завтра в Йоханнесбург.

— Никто не вернется в Йоханнесбург, — отрезал чиновник, продолжая разглядывать наши паспорта.

Папа и мама в то утро советовали мне уйти в колледж и там остаться. Но я хотел помочь им переехать и посмотреть, где они будут жить.

— Давид живет в колледже, — продолжал отец. — У него там своя комната, как и у всех преподавателей. Он вчера случайно заночевал у нас. Он предупредил полицейских, что поедет с нами, только чтобы помочь. Они не возражали.

— Они не имели права разрешить ему остаться, — ответил чиновник, не взглянув на нас.

— Что вы имеете в виду? — спросил отец.

Чиновник промолчал. Тогда мама сказала!

— Давид, кроме того, прислуживает пастору церкви святого Эдварда. Он должен жить рядом с церковью. Не можете же вы держать его здесь?

— Это зависит от вашего решения, — пробурчал чиновник.

— Какого решения?

— Останетесь ли вы здесь.

Мы не поняли. Чиновник посмотрел на нас и

спросил:

— Хотите работать на шахте?

Папа удивленно поднял брови:

— Работать на шахте?

— Да, хотите ли вы работать на шахте?

— Нет.

— Я могу подписать с вами контракт. Здесь будут указаны ваши обязанности.

Он сунул папе какую-то бумагу.

— Нет-нет, — воскликнул отец. — Я уже говорил, что мы гончары.

— Если пойдешь работать на шахту, получишь домик в этом квартале на условиях, указанных в контракте. Здесь есть поезда, которые будут вас возить к шахте и обратно.

— Но мы же не шахтеры. Мы гончары.

Белый чиновник кивнул, что-то написал в наших паспортах, поставил печать и вернул их нам. Африканец дал отцу бумажку и сказал:

— Храните это и ждите с вещами у барака номер тысяча двести сорок четыре.

Мы вышли на улицу.

— Почему он так настойчиво интересовался, хотим ли мы работать на шахте? — спросил папа. — Даже пытался прельстить жильем здесь, сказал: «Вы получите дом, если пойдете работать

на шахту». Не собираются же они оставить нас на улице?

Мы подошли к толпе людей, стоявших рядом со своим имуществом, сваленным в кучу. Они рассказали нам, что те, кто раньше работал на шахте, сразу получали домики. Давали жилье и тем, кто не работал там раньше, но подписал контракт, предложенный белым чиновником. Куда увозили остальных, они не знали. Всех направляли к бараку номер 1244, потом приходил голубой грузовик и увозил. Вот все, что было известно.

Тут вернулся Джимми. Полчаса назад он ушел помочь Йао перетащить вещи. Джимми рассказал, что регистрационные пункты разбросаны по всему лагерю. К каждому подъезжают голубые грузовики. Похоже, что они принадлежат авиационным частям. Как только накапливается достаточная группа людей, не пожелавших работать на шахте, их немедленно увозят. Потом грузовики возвращаются и ждут, пока снова наберется целая машина. Но куда они отвозят людей, никто не знает.

Кое-кто пытался расспросить шоферов, но безрезультатно. Увозили не очень далеко, потому что машины оборачивались за час.

Мы с папой снова пошли к чиновнику и попро-

сили сказать, куда нас увезут. Но он ответил:

— Не волнуйтесь. Делайте, что вам говорят.

А когда мы стали настаивать, вмешался африканец:

— Вы что, плохо слышите? Комиссар сказал: «Делайте, что вам говорят!»

Джимми готов был наговорить ему грубостей, но папа остановил его.

Вдали в облаке пыли показался голубой грузовик. Он затормозил около группы людей, ждавших отправки.

Мы поспешили туда, чтобы поговорить с шофером. Это был белый мускулистый парень, с короткими светлыми волосами, одетый в синие шорты и свитер. Не ответив отцу ни слова, он открыл задний борт и кивнул отъезжавшим, чтобы грузили вещи. А сам прошел мимо нас в кабину и улегся на сиденье, подложив под голову руки.

Когда отец еще раз попытался заговорить с ним, он рявкнул, не поднимая головы:

— Пошел прочь, черномазый!

Джимми впился в него горящими от гнева глазами. На этот раз его увела мама.

Люди, грузившиеся в эту машину, так же, как и мы, ничего толком не знали. Они полагали, что их повезут куда-то за пределы лагеря, но хорошее

ли это место, им было неизвестно.

Кроме нас, осталось четыре семьи и старый Йао. Три из них вместе со стариком Йао сели в грузовик и уехали. Мы подтащили вещи поближе и отправились побродить по лагерю, посмотреть, как устроились наши соседи.

Каждый домик состоял из двух, иногда из трех комнат. Полов нигде не, было. Но кто-то из тех, кого поселили раньше, слышал, что полы будут цементные, прямо на грунте. Мы помогли соседям распаковать вещи и втащить в дома мебель. Настал вечер. Зажглись уличные фонари — белые шары на бетонных столбах, — засветились окна домов. Лагерь выглядел обжитым и даже уютным. И меня охватил страх при мысли, что нас изгоняют из этого обжитого, освещенного мира в незнакомую даль, утонувшую во тьме.

Грузовик так долго не возвращался, что мы стали сомневаться, придет ли он вообще. Мы хотели выяснить это у белого чиновника, но его уже не было. Ушел и его помощник — африканец.

Около десяти часов вечера грузовик все-таки пришел. Пьяный шофер едва держался на ногах. Мы быстро погрузили вещи, и машина тронулась.

Вместе с нами ехала еще одна семья. В кузове

было душно и темно.

На гребне холма у главных въездных ворот машина остановилась. Мы приподняли брезент. Позади внизу среди темной долины светилось море огней. Таким мне и запомнился лагерь в Мидоулендсе.

Мы предъявили дежурному бумажки, которые давали право на выезд из лагеря. Главой второй семьи оказался дубильщик кож из Софиатауна. Он ехал с женой и двумя дочерьми. Они поселились в Софиатауне недавно, и поэтому мы не были близко знакомы. Но они знали папу и маму и очень обрадовались, что оказались вместе с нами.

Мы ехали неизвестно куда по узкой дороге в кромешной тьме. Некоторое время спустя наш грузовик пересек хорошо освещенную магистраль, по которой мчался поток автомашин, а потом снова покатил по узкому темному шоссе.

Справа показалась железная дорога. Минут десять мы ехали вдоль нее. Потом внезапно остановились.

Выглянув из-под брезента, мы увидели, что стоим на небольшой площади. Чуть дальше виднелось маленькое серое здание. Перед ним стоял фонарь, а рядом длинный товарный состав.

Двери вагонов были открыты, внутри сидели африканцы.

При виде этого поезда меня охватил страх. Родители недоуменно переглянулись. Было ясно одно: в этом поезде нам предстоит ехать в неведомую даль.

Вдруг Джимми сказал:

— Помните разговоры о так называемых племенных землях?..

Мама спросила дрожащим голосом:

— Ты думаешь, что поезд пойдет в…

— В Пондоленд. В Транскей. Да, я так думаю, — ответил Джимми.

Шофер открыл борт машины и процедил:

— Выходите.

Потом, указав на поезд, добавил:

— Третий вагон от хвоста.

— Я хочу знать, куда идет поезд, — гневно проговорил Джимми.

Он направился вдоль состава к локомотиву, но его остановили двое полицейских с автоматами. Джимми хотел проскочить между ними, однако они схватили его за руки.

Вырываясь, Джимми взмахнул рукой, и со стороны могло показаться, будто он собирается ударить полицейского. Но тот поспешил стук-

нуть Джимми прикладом автомата, и Джимми упал на рельсы.

Родители бросились к нему и оттащили от полицейских. В это время мы увидели в дверях одного из вагонов дядю Джереми. Он махал нам рукой, рядом с ним стояли другие родственники и друзья.

— Куда нас везут? — крикнул папа дяде Джереми.

— Мы не знаем, — ответил тот с тревогой. — Нам не говорят. Джон, ты не думаешь, что в Транскей? В поезде только люди из племен пондо и тембу. Нет ни зулусов, ни сохо, ни свази, никаких других. Только пондо и тембу из Транскея. Кто не работает на шахтах, должны вернуться на земли предков, так нам сказали.

Все совпадало. Похоже, так оно и есть. Но мы не хотели в это поверить. Не могли представить себе подобного.

— Я не поеду, — решительно заявил Джимми. — Пусть делают что хотят. Но в Транскей я не поеду. Они не могут заставить меня жить в джунглях.

Попытки поговорить с полицейскими ни к чему не привели. Они гнали нас назад к вагонам и даже не разрешили сходить на станцию.

Погрузив вещи, мы немного поели из тех за-

пасов, что мама предусмотрительно захватила с собой, и расселись в темном вагоне на ящиках.

Всю ночь состав простоял на станции, После полуночи подъехали друг за другом еще четыре голубых грузовика с людьми и их скарбом. Под утро снаружи раздались голоса полицейских. Они шли вдоль состава и запирали двери. До нас доносился грохот задвигаемых дверей и лязг засовов.

Когда дверь нашего вагона заперли на засов, стало так темно, что мы не видели друг друга. Два забранных решеткой окошечка — одно впереди с правой стороны, второе сзади слева — казались грязными серыми пятнами.

Прошло еще полчаса. Затем, скрипя и вздрагивая, состав двинулся с места. О первых часах нашего пути в моей памяти осталась душная темнота товарного вагона, скрип буферов и ритмичный стук колес под ногами.

Мы так устали за день, что, несмотря на все пережитые волнения и грохот колес, один за другим погрузились в тревожный сон.

Я всякий раз просыпался, когда поезд останавливался. Но в какой-то момент уснул очень крепко и, по-видимому, проспал много часов. Проснувшись, я увидел, что в вагон пробиваются

лучи солнца. Никто уже не спал. Мама улыбнулась и протянула мне абрикос.

— У меня есть древесный уголь, вон там стоит кувшин с водой, а в одном из ящиков имеется коробка молотого кофе, — сказала мама. — Что вы скажете, если я приготовлю каждому по чашке настоящего мокко?

И она приготовила. Правда, чтобы достать все необходимое, нам пришлось переложить столько ящиков и свертков, что мы было начали сомневаться в выполнимости этой затеи. Но мама настаивала. В конце концов она извлекла мангал и котелок, нашла коробку с кофе и баночку порошкового молока, разыскала сахар и кружки. Мама разожгла угли, вскипятила воду в котелке, который мы поочередно держали над огнем, и вскоре по всему вагону разнесся аромат кофе.

Это было прекрасно. Мы вспоминали нашу гостиную, родных, вспоминали, как ездили в отпуск, как у нас в гостях собирались друзья, мы говорили о нашем доме, когда-то полном счастья. Кофе не только подкрепил нас, мы воспрянули духом.

Такой была мама. Она всегда знала, что нам надо в данный момент. Она чувствовала наши слабости и не жалея сил помогала нам преодоле-

вать их. Мама была мудрой. Она умела вовремя распознать наши болезни и лечить их.

Мама угостила кофе и семью дубильщика кож, ехавшую с нами в грузовике накануне вечером. В то солнечное угро мы сидели все вместе, пили кофе, и у меня возникло обманчивое ощущение, будто мы просто путешествуем, а не едем в ссылку.

Только Джимми не поддался этому настроению. Он сидел с мрачным лицом в углу вагона.

Я поставил ящики у переднего окна друг на друга, взобрался на них и смотрел в окно. Когда мы проехала города Ледисмит и Моой-Рифир, стало ясно, что мы движемся в направлении Питермарицбурга. А там, вероятно, повернем на Кокстад и дальше направимся в Пондоленд.

Эта перспектива уже не пугала нас так, как накануне вечером и ночью, когда мы лежали без сна в темном вагоне. Нас охватило радостное возбуждение. Заражая энтузиазмом один другого, мы с восторгом говорили о Пондоленде. Теперь в нашем представлении он уже не был бесплодной ничейной землей. Он превратился в зеленый, холмистый край, о котором рассказывала мама, возвращаясь после визитов к Абелю Тсомо, верховному вождю племени. Она приходилась ему

родственницей, и поэтому ее всегда принимали там с большим почетом.

Мы знали, что Абель Тсомо вместе с многочисленным штатом слуг, женами и стадами жил в плодородной долине, но большинство других долин в Пондоленде были скудными и перенаселенными, как все резервации. Земли не хватало, почвы были истощены, луга быстро выгорали от солнца. Поэтому мужчины вынуждены были уходить на шахты и заводы.

Но тогда в поезде мы представляли Пондоленд огромным зеленым краем, простиравшимся вокруг поместья верховного вождя Абеля Тсомо. Этот край казался нам намного больше, чем был на самом деле, превратившись в нашем воображении в сказочную землю с водопадами и широкими реками, где Пондо, наш легендарный предок, совершал героические подвиги.

Когда мы приехали в Питермарицбург и затем, как и предполагалось, повернули на Крейгтон и Кокстад, у нас появилось ощущение, будто мы едем домой, на родину наших предков.

Кроме мамы, никто из нас никогда не видел Пондоленда. Среди семей, ехавших с нами, тоже не было таких, кто бы там побывал. Но мы сидели и говорили о Пондоленде с нежностью

и гордостью, словно старики, которые любят рассказывать о местах, где родились, где прошло их детство и детство их отцов. В теплоте, с которой они говорят обо всем этом, звучит тоска по родине, боль о прожитом, которое больше не вернется, и желание спасти себя от одиночества.

То же самое было с нами. Мысли, что мы едем в Пондоленд — не в какой-то чужой, незнакомый край, а в зеленую долину Абеля Тсомо, край, где вершил свои подвиги великий Пондо, спасали нас от одиночества. Мы больше не были бездомными путниками. Нас ждал отчий кров, не безжизненный лагерь, а плодоносящая земля, которая всегда принадлежала людям с нашими именами, с такими же, как у нас, лицами и глазами. Мы ехали на родину, которую когда-то покинули, но сохранили к ней любовь и навсегда оставили в ней частичку своей души.

Конечно, эти мысли были иллюзией, такой же, как выдуманная человеком мечта о далеком рае, как несбыточные детские фантазии. Мы понимали это, трясясь в нестерпимо душном вагоне поезда, который томительно полз по горной дороге. И за нашей иллюзорной радостью в глубине души таился страх.

К полудню у нас не осталось воды. Всех мучила

жажда и усталость. Наш поезд останавливался на каждом полустанке. Но нас выпускали из вагонов только там, где, нельзя было купить ничего съестного и негде было набрать, воды — чаще всего среди полей. Там полицейские открывали вагоны и предлагали нам выйти и справить нужду. Места всегда выбирались такие, где не было ни деревьев, ни кустов, явно для того, чтобы полицейским легче было нас караулить. Все это унижало и оскорбляло.

К вечеру недалеко от Кокстада поезд простоял полтора, часа, а через несколько километров еще час.

В Кокстаде нас поставили на запасную ветку за станцией и приказали разгружаться. Затем снова пришлось ждать.

Мы расположились у ограды, за которой начиналась узкая асфальтовая дорога. Наша мебель и ящики громоздились на кучах шлака, тянувшихся вдоль рельсов. Мы тревожно переглядывались, словно несчастные заплутавшиеся путники, застигнутые сумерками.

Через каждые десять шагов вдоль ограды мигали фонари. На железнодорожном полотне стояли по два полицейских с автоматами. Это была новая охрана. Те, которые нас сопровождали,

уехали с поездом.

Было уже одиннадцать часов вечера, и мы стали опасаться, что нам придется провести всю ночь на железнодорожной насыпи. К счастью, вскоре после полуночи прибыли грузовики. Они подъехали с другой стороны ограждения и выстроились в ряд. Кто-то снял часть ограды, и мы начали грузиться.

Машин не хватало, чтобы увезти всех сразу. Первыми отправляли тех, кто ехал в последних вагонах. Таким образом мы оказались впереди. Мы попробовали немного задержаться, чтобы попасть в одну машину с дядей Джереми, но нам не разрешили. Не позволили даже поговорить с ним. С тех пор я больше никогда не видел дядю Джереми и его семью.

В энный раз перетаскивая в грузовик вещи, я думал о бесплодных, белесых холмах, которые видел, подъезжая к Кокстаду. Я знал, что Пондоленд отнюдь не зеленый рай, каким мы его себе рисовали утром, когда пили кофе в вагоне, греясь на солнце. Тот рай исчез. Вместе с поездом, в котором мы поверили в мимолетное счастье. Теперь я вспоминал, что говорил Джимми, когда мы сидели в темноте на железнодорожной насыпи и ждали грузовики. Он внезапно посмотрел

на нас и спросил:

— Сколько городов в Пондоленде?

— Не больше двух, — ответила мама.

— Да и то, наверное, совсем захудалые?

— Да.

— А остальное джунгли?

— Да.

— А в этих городишках живут белые?

— Да, конечно.

— В основном одни белые?

— Да. Но к чему ты клонишь, Джимми?

— К тому, что эти белые не собираются покидать свои городишки. А раз так, то мы туда никак не попадем.

Мама посмотрела на папу.

— Я полагаю, — продолжал Джимми, — что, если нам не разрешат поселиться в городе, придется ехать в джунгли. А там нет электричества.

Я испуганно взглянул на ящики, в которых был упакован мотор и гончарные станки. Папа молча смотрел в землю. Предположение Джимми не ошеломило его. Маму тоже. Без сомнения, эта мысль уже приходила им в голову.

— В Пондоленде есть деревни, — сказала мама неуверенным голосом. — Большие деревни. Я видела. В них должно быть электричество, особенно

в тех, что расположены недалеко от городков. Может быть, не сразу, но в конце концов нам удастся там поселиться.

Всю дорогу, пока мы ехали в темноте через холмы, меня преследовал страх, что нам придется жить без электричества и мы не сможем открыть мастерскую.

Грузовики катили по песчаной дороге. Облако пыли позади нас было таким густым, что скрывало шедшую следом машину. На небе мерцали звезды. В их свете справа и слева белели холмы со скудной растительностью. В одном месте я увидел стадо коз, а немного дальше у лесочка костер, вокруг которого сидела семья африканцев, одетых в лохмотья. Еще через несколько минут заметил у обочины дороги голого мальчонку.

С болью в сердце все отчетливее и яснее я начинал представлять себе, что с нами собирались сделать. Углубляясь все дальше и дальше в покрытые пылью холмы, я стал понимать, почему они везли нас в такую даль. Они хотели совершить нечто такое, чего никто не должен был видеть.

По их мнению, африканцы стали слишком быстро развиваться, и они решили приостановить это развитие. Мы снова должны превратить-

ся в варваров, туземцев, кафров[35], с которыми дозволено обращаться как угодно и которых можно осчастливить глотком вина и зеркальцем. Все наши природные и благоприобретенные качества: ум, красота, дружелюбие, любовь к ближнему, которая так соответствовала нашему характеру, — все это обогащалось и крепло. В нас родилась надежда на счастье, появилась жажда к дальнейшему совершенствованию лучших свойств своей натуры. Но все это сочли нежелательным и решили убить. Только по этой причине, и не по какой-либо другой, мы ехали в джунгли, где подобная расправа останется невидимой и безнаказанной.

Теперь я уже точно не помню, когда я все это понял. Может быть, увидев в пересохшем русле реки на белых камнях грязных оборванных африканцев, или позднее, когда на пологом склоне холма появились хижины. Нет, увидев хижины, я уже знал это. Скорее раньше, когда нам встретились жалкие африканцы.

Круглые хижины стояли на глиняных фундаментах и походили издали на большие, посеревшие от дождей и пыли копны сена, беспорядочно

---

[35] Примечания: 35

Кафр (от *араб.* «кафир» — неверный, немусульманин) — в Южной Африке презрительная кличка африканцев.

разбросанные по склонам холмов. Глиняные стены хижин увенчивались конусообразными крышами из сухой травы. Рядом виднелись загоны для скота, огороженные колючими ветками ивы для защиты от леопардов.

Вид хижин наполнил мою душу щемящей болью. Сомнений не оставалось: это было то самое место, куда нас везли. Никаких домов ни с электричеством, ни без него тут не было и в помине. Нам предстояло ютиться в хижине, а кто не поместится, спать в песке на улице. Окаменев, смотрел я на хижины и склоны холмов, освещавшиеся слабым светом звезд. Из головы не выходила мысль, что белые хотят заставить нас жить отдельно не по каким-то экономическим соображениям, не потому, что мы разных рас и культур, и не для того, чтобы уменьшить в стране беспорядки, а лишь потому, что мы становились не такими людьми, какие им нужны.

Песчаная дорога, по которой мы ехали по холмам, оставляя за собой облако пыли, была нашей дорогой вспять, дорогой в дремучее прошлое. Нас высылали не для того, чтобы утихомирить, а чтобы вернуть в прошлое. Для этого мы должны сначала исчезнуть, стать забытой нацией, а потом превратиться в дикарей, да так, чтобы мир а

не заметил этого.

Позади меня, поддерживая друг друга, сидели в кузове грузовика родители. Они невозмутимо взирали на безжизненные холмы. Когда же наконец мы остановились около множества новых хижин с белыми глиняными стенами и крышами из свежей сухой травы, лица их не дрогнули. На них не было ни испуга, ни удивления. Несомненно, родители все поняли задолго до меня.

Только Джимми не мог себе этого представить. Он был ошеломлен и растерянно переводил взгляд с пустых хижин на родителей.

— Посмотрите! — крикнул он. — Хижины! Они не смогут заставить нас жить в них.

Папа и мама промолчали. Джимми с ужасом посмотрел на меня. Он показал на хижины и воскликнул:

— Мы никогда не жили в хижинах! Мы родились в доме!

Он потряс головой и с горечью и гневом сказал:

— Они не смогут этого сделать!

Хижины в диаметре были метров пять, а по высоте около четырех. Дверь состояла из четырех досок, скрепленных поперечными планками, вместо окон — квадратные отверстия без стекол.

Меня неприятно поразило, что двери были окрашены в такой же ядовитый зеленый цвет, как и двери домиков в лагере.

Справа у леса мы увидели с десяток старых хижин, возле которых на земле спали люди. Одна из хижин была больше других, и при ней имелся просторный загон для скота, в котором толпилось около сорока коров.

— Это дом старосты, — пояснила мама и не смогла скрыть дрожи в голосе. Я знал почему.

Всякий раз, возвращаясь из Пондоленда, мама рассказывала о старостах. В отличие от вождей племени, которые получали образование в миссионерских школах и посылали своих сыновей и племянников учиться в университеты, деревенские старосты, или, как их называли, «пузыри», олицетворяли собой наиболее реакционную часть африканского населения. Чтобы укрепить свою власть, они запугивали соплеменников, используя распространенные в сельских местностях пережитки прошлого, невежество, силу межродовых отношений. Они редко бывали сторонниками нового, страшась утратить свое влияние в деревне, они противились открытию школ, преследовали молодежь, уезжавшую в города учиться.

Когда верховный вождь Абель Тсомо вводил какие-нибудь новшества, старосты, которые должны быть его опорой, чинили ему больше препятствий, чем остальные подданные.

Вот об этом, видимо, и думала мама, когда с опаской смотрела на большую хижину старосты. Мы больше не были городскими жителями, подчинявшимися муниципалитету. Мы стали членами племени, во главе которого стоит вождь. Но он живет где-то далеко, а здесь, в деревне, хозяйничает староста, и мы теперь будем целиком и полностью в его власти.

— Абель Тсомо еще жив, мама, — сказал я значительно. — Кто бы ни жил в той большой хижине, он подданный Абеля Тсомо, а верховный вождь твой родственник и добрый друг нашей семьи.

Я увидел около большой хижины какое-то движение. Толстяк в одеянии из страусовых перьев и леопардовых хвостов, переваливаясь с боку на бок, вышел из хижины в сопровождении двух мужчин в брюках и рубашках цвета хаки. Один из них нес стол, другой кресло, обтянутое красным бархатом. Они направились к редкому лесочку, поставили кресло и стол под дерево, и староста с важным видом уселся в кресло.

Белый полицейский, сопровождавший нашу

машину, приказал нам выгрузить вещи. Потом он подошел к старосте и протянул какие-то бумаги. Староста просмотрел их, поставил печать, которую он извлек откуда-то из-под перьев, и вернул бумаги. Мы заключили, что староста «принял» нас и вскоре окажет нам радушный прием.

Полицейский сунул бумаги в карман, вернулся к машине и стал ждать, когда мы освободим кузов от вещей.

Двое мужчин в военной форме подошли к нам. Это были здоровенные чернокожие парни с револьвером и резиновой дубинкой на поясе. Они остановились и, скрестив руки на груди, наблюдали, как мы таскаем вещи.

Я заметил, что мама украдкой бросала на них удивленные взгляды. Парни явно не вписывались в ее представление о деревенских жителях Пондоленда. Похоже, это были телохранители старосты. К тому времени все старосты имели телохранителей, которые выполняли также функции полицейских. Однако странной была их форма цвета хаки. Позднее мама сказала, что еще больше, чем форма, ее поразил их высокомерный вид и резкий тон.

Нам впервые пришлось столкнуться с тем, о чем мы знали только понаслышке. В Йоханнесбурге

были черные полицейские, в Софиатауне — предатели-африканцы, а в лагере в Мидоулендсе с белым комиссаром сидел черный чиновник. Мы понимали, что белые не смогли бы держать нас в угнетении без пособничества некоторых африканцев. Мы знали о существовании черного коллаборационизма. Но только теперь он предстал перед нами во всей своей неприглядности.

Староста сидел в красном бархатном кресле за столом, втянув жирную шею в плечи. Он молча перелистывал лежавшую перед ним стопку бумаг, заставив нас довольно долго стоять перед ним и при этом ни разу не взглянув в нашу сторону.

Затем, не отрываясь от бумаг, староста пробормотал себе под нос, что у него есть хижины получше и похуже. Он произнес это так невнятно, что мы едва расслышали.

Я видел, как мама локтем толкнула папу в бок. Позади старосты, не спуская с нас глаз, стояли два охранника.

Папа достал из кармана денежную купюру и незаметно положил на стол рядом со стопкой бумаг. Через несколько секунд купюра оказалась под бумагами, староста изрек: «Восемнадцать», — и махнул рукой, чтобы мы уходили. Он занялся

другими переселенцами, а один из охранников сделал нам знак следовать за ним и зашагал размашистым шагом по гальке, камням и чертополоху к вершине холма. Там он остановился перед хижиной, показал на нее и бросил:

— Тут. Загон для скота можете делать вон до тех красных столбиков.

Повернулся и ушел. На грубо сколоченной зеленой двери — щели в ней были так велики, что в них свободно пролезала рука, — стояла цифра 18. Дверная коробка и квадратный проем для окна были сделаны из ивовых прутьев, кое-как скрепленных глиной.

Я застыл перед хижиной с учащенно бившимся сердцем. Папа шагнул вперед, открыл дверь и вошел внутрь. Мы последовали за ним.

В хижине было темно, хоть глаз коли. В дрожащем свете спички, которую зажег папа, я увидел круглое помещение, грубые глиняные стены, темную конусообразную крышу из сухой травы и пол из гальки и песка с пучками сорняков, как на улице.

Спичка догорела. Вторую папа зажигать не стал. Мы стояли в темноте и молчали. Я пытался не думать, иначе в голову приходила мысль, что это тупик нашего пути. Нам больше нечего было

бояться. Вот оно то самое место, которое они нам определили. Отныне и навсегда мы будем жить вдали от мира. В этих далеких, диких джунглях нам суждено стать нищими и покорными.

Сердце болезненно сжалось. Неужели еще вчера утром у нас был свой дом в Софиатауне, в комнатах стояла мебель, книги и вазы? Через дверь террасы была видна зеленая лужайка с клумбами, где мы часто собирались, как в тот день, когда познакомились с Пьером, а в доме хлопотала мама — душа всей семьи. Казалось, это было давным-давно.

— Пойдемте, — сказал папа, — перенесем вещи внутрь. Утром будет видно, что делать.

Мы внесли в хижину ящики и поставили их у стены напротив входа. Места для кроватей и шкафов не хватило. Поэтому мы не стали их собирать, а в разобранном виде взгромоздили на ящики, рядом со столами, креслами, стульями и коврами. Гора вещей заняла больше половины хижины.

Мы стояли и растерянно смотрели на эту картину. Вдруг мама с жаром сказала:

— Мы начнем все сначала. Джон, когда ты ушел из шахты, у нас ничего не было, кроме двух ручных станков. С этого мы начинали. Так будет и

на этот раз!

— Да, — ответил папа, ласковый, добрый папа, наша опора и поддержка в трудную минуту. — Конечно, конечно.

— Но уж меня увольте, — возразил Джимми. — Я не буду делать то, что они хотят.

— Успокойся, Джимми, — проговорила мама мягко. — Разве дело в том, где человек живет. Они не смогут нас сломить. Ни Стрейдом[36], ни Фервурд, ни Сворт[37]. Мы начнем сначала. Мы им покажем, на что мы способны.

— Без электричества? — перебил Джимми. — Без водопровода?

— Это мы тоже преодолеем.

— Без меня! — воскликнул Джимми.

Он устремился на улицу, но мама его удержала.

— Помоги нам, Джимми. Помоги, — умоляла она. — Ты нам нужен. Ты не можешь оставить нас в беде. Только не сейчас!

— Если кто-нибудь здесь посмеет поднять на одного из нас руку, он будет мертв, — ответил

---

[36] Примечания: 36

Йоханнес *Стрейдом* (1893—1958) — премьер-министр ЮАС в 1954—1958 годах.

[37] Примечания: 37

Чарльз *Сворт* — президент ЮАР в 60-е годы.

Джимми.

— Возьми себя в руки, мой мальчик. Еще не все потеряно.

— Я убью обидчика! — повторил Джимми. — Попомните мои слова.

Он больше не пытался убежать, но, когда мама расстелила одеяла на песке перед хижиной, отказался лечь со всеми. Отошел в сторону и улегся среди чертополоха.

ГЛАВА XII

Все последние месяцы мы очень боялись за Джимми и, как нам казалось, были готовы к худшему. Однако на самом деле ни один человек не может быть готовым к несчастью. И поэтому то непоправимое, что случилось в первое же утро нашей жизни в Пондоленде, потрясло нас.

О, то первое страшное утро в Пондоленде…

На ночь мы расположились прямо на песке перед хижиной и заснули крепким здоровым сном, потому что страшно устали. Едва поднялось солнце, у мамы уже был готов завтрак, вкусный, плотный, какие она прекрасно умела делать. Нас ждала яичница с ветчиной, сыр, молоко и крепкий душистый чай. Все это мама купила в деревне, пока мы еще спали, и расставила на скатерти, расстеленной на земле.

Мне запомнилось, как приятно холодила лицо вода, набранная мамой из родника, и как мы с папой были рады, когда она рассказала, что Джимми проснулся первым и помог ей принести большой кувшин с водой.

При солнечном свете окружавшая нас местность выглядела еще беднее и пустыннее, чем в

вечерних сумеркам. От горизонта до горизонта простиралась выжженная, скудная земля с каменистыми полями и чахлыми пастбищами, на которых паслись тощие коровы. В убогих хижинах теснились женщины, дети и старики.

Эта картина напомнила нам разглагольствования белых властей о том, что «черные шахтеры не нуждаются в высокой зарплате, поскольку они получают достаточный доход от земли, возделываемой их семьями в резервациях». Как красноречиво свидетельствовали о лживости этих слов голые, иссеченные дождями и ветрами холмы, бесплодная, поросшая чертополохом земля, серые изможденные лица людей!

Но мама сказала, что мы начнем все сначала. Белым правителям не удастся нас сломить. Мы готовы бросить вызов суровой и скудной природе и доказать, как велика в нас сила духа.

Даже Джимми повеселел и стал похож на прежнего словоохотливого шутника — истинного пондо.

Я могу поклясться, что в то первое утро в Пондоленде, когда мы завтракали на песке напротив нашей хижины и потом после завтрака стояли на вершине холма, рассматривая окрестности, в нас не было ненависти.

Мы намеревались строить, а не ломать. Не разрушать. Не убивать. Помните об этом, когда я буду рассказывать о сожженных хижинах Пондоленда.

Во время завтрака мама решила, — о, это было вдохновляющее решение! — что мы не будем жить в хижине, а построим дом, сами, все вместе. Натаскаем с окрестных гор камней, а дерево и цемент купим в Бизане, небольшом городке, который, как она слышала, находился всего в пятнадцати милях. Когда дом будет готов, — на первых порах построим совсем небольшой, а позже сделаем пристройку, — мы будем использовать хижину как мастерскую и соорудим там ручную глиномешалку.

Мамины слова были волшебными, они сразу вывели меня из заколдованного круга мучительных мыслей. И тут же, — конечно, чтобы потом никто не спорил, — мама распределила между нами обязанности.

Папа и я должны были немедленно разыскать подходящие скалы, где можно добыть строительный камень. Джимми было поручено выяснить, у кого можно позаимствовать ручную тележку, — мы не смогли захватить свою, — а сама мама собралась в Бизану покупать цемент и дерево.

Мы почувствовали себя сильными, полными энергии. После смерти Тома и Майкла, отъезда Джессе и Сандры и после того, что они сделали с Розой, никто из нас не мог быть счастлив. Нам оставалось хотя бы не падать духом.

Увидев приближавшегося к нам старосту, мама сказала:

— Кажется, я вижу кое-кого, кто снова хочет выудить у нас денег, но это у него не получится.

Толстый и неуклюжий, в наряде из перьев и леопардовых хвостов, но не таком пышном, как накануне вечером, вдалеке показался староста Булуга. Он карабкался по каменистой тропинке, петлявшей между валунами и кустами чертополоха.

Булуга, насупившись, поздоровался с нами, прошел в хижину и встал, рассматривая наше имущество. Ему, как он пояснил, надо знать содержимое каждого ящика. Услышав о моторе и гончарных станках, он оживился и сказал, что их лучше отнести к нему во двор. Там они будут целее.

Когда мама ответила, что мы сами прекрасно позаботимся о сохранности своих вещей, он разозлился и пошел прочь. Но, пройдя несколько шагов, обернулся — глаза его из-под густых бро-

вей метали молнии, — и заявил, что дорожку к нашей хижине мостили по его распоряжению. Два человека занимались этим три дня.

Мама спросила Булугу, не может ли он показать, откуда рабочие брали камни и куда их укладывали.

Булуга зло посмотрел на маму и спросил:

— Вы думаете, я обманываю вас?

— Я этого не говорю, — ответила мама. — Но я хочу видеть, что вы для нас сделали, чтобы поблагодарить за услугу.

Булуга понял, что с мамой так просто не справишься. Он бросил на нее пытливый взгляд. Но лицо мамы было невозмутимо.

— Вы пришли кстати, — воскликнула она. — Я хочу воспользоваться случаем и кое о чем расспросить вас. Мне нужно срочно поехать в Бизану за покупками, и, кроме того, я хотела бы нанести визит моему племяннику Абелю Тсомо. Он живет неподалеку оттуда, в Королевской долине. Не могли бы вы сказать, где останавливается автобус на Бизану и когда отходит?

Ошеломленный Булуга уставился на маму немигающим взглядом желтых кошачьих глаз.

— Абель Тсомо? — спросил он.

— Да.

— Абелем Тсомо зовут верховного вождя!

— Именно его я и имею в виду.

— Верховный вождь ваш племянник?

— Да.

— Это каждый может сказать!

— Конечно, — ответила мама. — Вы тоже. Только это не будет правдой.

— А почему я должен вам верить?

— Можете не верить, — сказала мама. — Меня это не интересует. Мне надо знать, где тут поблизости останавливается автобус.

— Здесь нет автобуса, — ответил Булуга.

— А где есть? Покажите мне дорогу, где проходит автобус.

— Автобусы здесь не ходят, — повторил Булуга, повернулся к маме спиной и зашагал вниз с холма, по пути опрокинув скамейку, на которой во время завтрака сидели родители.

— Опрокидывать скамейки входит в обязанности старосты? — возмутился Джимми.

— Бог с ним, — сказала мама. — Надо же было ему показать свою власть.

— Неужели здесь действительно нет автобуса? — спросил я.

— Я надеюсь, что есть, — ответила мама. — А если нет, пойду пешком. Хотя, конечно, я предпо-

чла бы ехать автобусом.

Посмотрев вслед старосте, она добавила:

— А он, оказывается, знает, что Абель его главный начальник. Беднягу, наверное, терзают сомнения, не вернуться ли ему к нам и не помахать ли перед нами своими хвостами и перьями. Держу пари, что он непременно вернется.

Не успела мама произнести это, как Булуга снова появился возле нашей хижины. Он испытующе посмотрел маме в глаза и решительно сбежал с холма.

О да, в то первое утро в Пондоленде мы еще не пали духом, хотя были одиноки, хотя в душе саднила незаживающая рана. Мама нас развеселила, и мы смеялись от души. Теперь мне кажется, в последний раз. Потом бывали минуты умиротворения и тихой радости, когда собирались, вместе те, кто остался от нашей семьи. Вместе мы чувствовали себя сильнее и надежнее. Но смеяться от души — этого уже больше не было. Человек может смеяться, лишь когда у него есть будущее. А с того утра мы лишились будущего.

Вскоре после ухода старосты я увидел, как охранник в форме цвета хаки ходит из дома в дом. Он пришел и к нам и сказал, что папа, Джимми и я должны с инструментами — мотыгой и лопатой

или кувалдой — подойти к редкому лесочку в долине.

Отец спросил, зачем это, но охранник не ответил. Указав в сторону деревьев, он процедил:

— Туда. Через десять минут, С инструментами, — и ушел.

— Он мог бы быть повежливее, — сердито проговорил Джимми.

Мама обеспокоенно посмотрела вслед охраннику.

— Откуда они здесь взялись? — спросила она задумчиво. — Военная форма, резиновая дубинка и ботинки, это что-то новое.

Джимми сказал, что сходит вниз и узнает в чем дело. Когда он спустился с холма, охранник увидел его и окликнул:

— Эй, ты! Поди сюда! Ты разве не слыхал, что я сказал?

Он подошел к Джимми и зло спросил:

— Ты куда это направился?

— Узнать, что все это означает, — ответил Джимми, — поскольку вы не пожелали объяснить нам.

Охранник выхватил резиновую дубинку и, ударив Джимми с размаху по голове, рявкнул:

— Я сказал: туда, через десять минут, с инстру-

ментами.

Джимми упал, но тут же вскочил на ноги и что-то грубо ответил охраннику.

— Джимми, вернись! — закричала мама в страхе.

Папа бросился к нему и, обращаясь к охраннику, поспешно сказал:

— Мы все сделаем, что вы сказали. Мы прибыли прошлой ночью. Извините нас, если мы еще не знаем…

Охранник посмотрел на него строго.

— Чего вы не знаете? — спросил он со злобой.

— Я хотел сказать, мы еще не знаем здешних обычаев, — ответил папа.

Охранник размахнулся и так ударил отца дубинкой по лицу, что у него потекла изо рта кровь.

— Здесь нет обычаев, — прохрипел он. — Здесь делают то, что приказывают. Вот и все.

И тут произошло то, чего мы так боялись. Увидев окровавленное лицо отца, Джимми побледнел. Мама заметила это и закричала:

— Джимми, не надо!

Она кинулась к нему, но было уже поздно.

Джимми подскочил к охраннику, вцепился в него, и они покатились по земле среди колючих

кустов ежевики. Папа и я безуспешно пытались их разнять.

Тут Джимми, сев верхом на охранника, выхватил у него револьвер и нажал на курок. Он стрелял до тех пор, пока не выпустил в охранника всю обойму и дергавшееся тело под ним не затихло. Тогда Джимми сунул револьвер в карман и, тяжело дыша, проговорил:

— Теперь ты никого не ударишь. Никогда больше… никогда…

Страх, боль, горечь и ненависть, которые переполняли его душу, вырвались наружу, превратившись в неотвратимую разрушительную ярость. Хрупкая радость, мужественная стойкость, надежда и улыбки — все исчезло.

— О Джимми… — шептала мама.

Раздались тревожные крики. Из хижин стали выскакивать люди.

Папа перевел испуганный взгляд с мертвого охранника на Джимми.

— Что делать? — сказал он дрожащим голосом.

— Бежать, — ответила мама, уставившись на Джимми. — Бежать!

Она подняла его на ноги и взмолилась:

— Беги в горы. Спрашивай деревню Тселокана. Там живет старик Хада, мой родственник. Он

накормит тебя и спрячет.

Она со слезами на глазах поцеловала Джимми и повторила:

— Беги. Деревня Тселокана. Старик Хада. Беги, иначе будет поздно.

Внизу у подножья холма появились два охранника а позади них староста Булуга. Они о чем-то расспрашивали людей, и те показывали в нашу сторону. Мама подтолкнула Джимми и закричала:

— Беги! Беги!

Джимми переложил револьвер в другой карман, расстегнул на охраннике ремень, снял кобуру с патронами и бросился вверх по холмам. Охранники увидели его и несколько раз выстрелили в воздух, крича, чтобы он остановился.

Джимми, не оглядываясь, бежал между кустами и через мгновение скрылся за гребнем холма. Охранники проскочили мимо нас. На вершине холма они остановились, озираясь по сторонам. Потом, беспорядочно стреляя, скрылись за холмом. Толстяк Булуга, тяжело дыша и обливаясь потом, тоже поднялся на вершину холма.

— Что тут случилось? — прохрипел он. — Что это значит?

Заметив мертвого охранника, он остолбенело

уставился на него.

Я слышал, как мама шепнула отцу:

— Он там, левее, на другом холме, в лесочке.

Я увидел фигуру Джимми, мелькавшую вдали между деревьями.

— Удастся ли ему убежать? — спросил папа.

— Открытое пространство он уже миновал.

— А что будет, когда наступит ночь?

— Не знаю, — ответила мама растерянно.

— Кто это сделал? — пробормотал Булуга.

Тем временем Джимми исчез в лесу. Охранники, не догнав его, вернулись на вершину холма. Они постояли, посмотрели по сторонам и стали спускаться к нашей хижине. Вокруг мертвого охранника, лежавшего навзничь в кустах ежевики, уже собралась толпа.

Отец рассказал Булуге о случившемся. Тут подошли и двое охранников. Один из них сказал:

— Я побегу сообщу в лагерь и вызову вертолеты.

Папа и мама переглянулись, услышав слово «вертолеты».

Первый охранник убежал, а второй молча выслушал рассказ старосты, кивнул в нашу сторону и сказал Булуге:

— Этих двоих арестуем за соучастие.

Булуга взял его под руку и, отведя немного в сторону, что-то горячо зашептал на ухо. Но охранник, высвободив руку, повторил:

— Мы все же их арестуем.

— Не надо, — сердито возразил староста. — Они ничего не сделали.

— Откуда тебе это известно?

— Да ты что? — вскинулся Булуга. — Или ты мне не веришь?

— Хорошо, хорошо! Но почем ты знаешь, что они не убивали Пинчо все вместе?

Булуга заколебался.

— Ну? Ты уверен в этом?

На потном жирном лице старосты отразился испуг.

— Как вы посмели не делать, что вам было велено? — заорал он, выкатив на нас желтые кошачьи глаза.

Он долго кричал и бранился, а в заключение пригрозил:

— Если вы виноваты, не ждите от меня снисхождения.

— Что он подразумевал под словом «лагерь», как ты думаешь? — тихо спросил отец маму.

— Не знаю.

— Если это военный лагерь, то у Джимми нет

шансов спастись.

Охранник указал пистолетом на меня с папой и прокричал:

— За мной!

Мы последовали за охранниками к подножью холма. Внизу на опушке леса около одной из хижин стояли в две шеренги люди с кирками, лопатами и кувалдами. Большинство были босиком, в бедной, рваной одежде.

Нас посадили в грузовик и повезли из деревни. Мы ехали примерно минут десять, то взбираясь на холмы, то спускаясь вниз. Затем остановились на каменистом плато, где среди диких зарослей высилось огромное серое здание без окон. Снаружи оно походило на монолитный бетонный блок. Но когда мы въехали в ворота, то оказались на квадратной площади, окруженной стенами серого здания, вдоль которых в три яруса тянулись открытые галереи с вертикальными металлическими прутьями. Галереи, каждая высотой чуть больше двух метров, были битком набиты арестованными. Казалось, вдоль стен друг на друге лежат три огромных штабеля человеческих тел.

Нас провели по металлической лестнице на самый верхний этаж и втолкнули в клетку из железных прутьев.

Когда охранник ушел, арестованные стали спрашивать, кто мы и в чем обвиняемся. Узнав, что убит охранник, они испустили такой дикий ликующий рев, что оглушили и напугали нас. Нам было не по себе в окружении изможденных людей с горящими глазами.

Товарищи по несчастью рассказали нам, что теперь приговоры выносятся не в магистрате Умтаты, а прямо в деревнях. Роль судей выполняют старосты, обвинителей — охранники, а защиты обвиняемым не полагается. Адвокатов в суды больше не допускают. Да и мало среди них таких, кто согласен защищать обвиняемых.

Жителей резервации редко назначают на какие-нибудь должности в городе. Обычно ссылаются на отсутствие в паспорте штампа, разрешающего свободное передвижение.

Заседание судов длится всего несколько минут. Подставные свидетели показывают, например, что видели, как обвиняемый напал на охранников. На основании этого выносится приговор, и осужденного сразу казнят или помещают в тюрьму. Один из заключенных уверял, что старосты платят свидетелям за ложные показания.

Между тем над тюрьмой пролетел вертолет, потом еще два. Ими управляли белые. Заклю-

ченные проводили вертолеты взглядами и с тревогой посмотрели на нас. Некоторые считали, что Джимми удастся убежать, так как в холмах повсюду можно спрятаться. К тому же отсюда недалеко до настоящих гор, а там он будет в полной безопасности. В горах ни машина не проедет, ни вертолет не пролетит. Однако, конечно, все может случиться, говорили они.

Целый день мы просидели в набитой до отказа, душной камере, тревожно прислушиваясь к беспрерывному глухому гулу вертолетов.

Вечером охранники привели в тюрьму высокого, худощавого человека в темно-серых брюках и белой рубашке.

— Сезела! — воскликнул один из заключенных. — Это Антони Сезела, учитель.

— Да-да, я тоже узнал его, — подтвердил другой.

— Теперь и он здесь, — произнес печально старик, с которым папа уже разговаривал. — Иного и нельзя было ожидать.

— За что его? — спросил отец.

— Ему сказали: преподавай по новой программе или уходи. Он ответил: тогда я ухожу. И ушел, хотя это обрекало его семью на голодное существование. Его пытались подкупить, чтобы он

вернулся, но он не захотел и решил на собственные средства открыть школу.

Я вспомнил рассказ Пьера об «особой программе» для африканцев. Все мы, кроме Тома, не могли поверить этому. И вот пресловутый закон, о котором говорил Пьер, вступил в действие.

Фервурд заявил, что давать черным такое же образование, как и белым, было бы неправильно, потому что это породит в них «несбыточную надежду». Черные должны быть подготовлены к выполнению своей особой функции — заниматься только тяжелым физическим трудом. Их образование должно быть рассчитано на это. Оно должно приспосабливаться не только «к ограниченным способностям черных», но также «к тому, что от них ожидается в жизни».

Когда парламент начал обсуждать закон об образовании для банту, оказалось, что разработана особая программа, цель которой намеренное снижение уровня развития черных в ЮАР.

Я вспоминаю, как за несколько дней до отъезда из Софиатауна мы у себя в колледже обсуждали это заявление Фервурда. Мысль о так называемой «несбыточной надежде» не укладывалась в нашем сознании. Отныне, как и говорил Пьер, низшее образование должно было вестись только

на языках племен. В результате, пылко утверждал один из наших молодых учителей, лет через двадцать африканский народ ЮАР превратится в разобщенные племена, которые не смогут говорить друг с другом. А второй учитель добавил, что таким образом черных лишат возможности читать что-либо, кроме переведенного с разрешения белых на языки племен, другими словами, искусство и новейшие достижения науки будут для них закрыты.

Об учителе же Антони Сезеле мы узнали, что он в своей собственной хижине организовал небольшую школу. Но однажды к нему ворвались охранники и потребовали, чтобы он учил детей по новому учебнику. В нем было сказано, что буры высадились на мысе Кап по божьему велению и то, что после вековых лишений они сохранили свою неиссякаемую силу, есть знамение божьей воли и зарок незыблемости их власти. Африканцы же в учебнике изображались скотокрадами и варварами, которые нападали на переселенцев. Сезела еще раньше отказался пользоваться новым учебником и теперь повторил свой отказ охранникам. Он сказал, что хочет преподавать правду. Тогда охранники выгнали детей на улицу, хижину Сезелы подожгли, а его

самого посадили в тюрьму.

Я посмотрел на учителя. Это был очень худой, бледный человек с интеллигентным лицом, не озлобленный, а скорее оскорбленный и усталый. Он был так измучен, что, поговорив с нами немного, прислонился головой к стене и уснул.

Когда я спросил учителя Сезелу, продолжают ли прибывать в Пондоленд переселенцы из городов или других местностей, он ответил:

— Тысячами. Грузовики едут день и ночь. Так продолжается уже несколько месяцев. То же самое происходит в Тембуленде, Зулуленде и во многих маленьких резервациях. Туда, где земля с трудом может прокормить сто человек, селят тысячу. В бесплодных и безводных долинах создаются большие поселения. Всем известно, что земли в резервациях истощены, но можно было бы создать жителям нормальные условия жизни. Для этого только нужно, чтобы на душу населения приходилось больше пашен и пастбищ. Пятьдесят лет мы влачили в резервациях нищенское существование и пятьдесят лет просили: «Дайте африканцам немного больше земли». Но белое правительство Претории отвечало: «Нет, вы должны довольствоваться тем, что имеете. На этой территории может разместиться еще

больше людей». И так из года в год — земли не прибавляется, а население растет. У каждого крестьянина все меньше пахотной земли, у скотовода — лугов для скота, а того, кто протестует, сажают в тюрьму.

— Это так! Это правда! — воскликнули вокруг нас заключенные.

— Все происходящее в резервациях так дико, — продолжал Сезела, — что, не побывав здесь, ничему не поверишь. Люди говорят: «Этого не может быть». И поэтому нас некому защищать. Африканцы в резервациях всегда жили бедно, но, по мнению властей, они должны стать еще беднее. Конечно, они не будут добровольно нищать, значит, между их хижинами надо построить еще хижины, чтобы земля быстрее истощалась, а люди становились еще голоднее и беспомощнее. Переселяя африканцев в резервации, правительство заявляет, что делает это для процветания резервации, предоставляя черным счастливую возможность жить на земле предков. «Вы нам не верите?» — вопрошают они. Но разве можно поверить хоть одному их слову? Разве они пекутся о нашем счастье? Они хотят согнать всех африканцев на землю предков, где им уготованы такие условия, что поселенцам остается только

бежать.

Белые в ЮАР составляют одну шестую часть населения страны, а владеют восемьюдесятью семью процентами земли. На этой территории находятся все города, порты и аэродромы, все области с хорошими шоссейными и железными дорогами, с электричеством и ирригационными системами, все шахты и фабрики, все самые плодородные земли. Эта территория по величине не уступает Великобритании, Франции, Швейцарии, Австрии, Дании и Голландии вместе взятым. На ней могли бы разместиться двести миллионов человек, а белых здесь только три миллиона. Остальные земли, состоящие из двухсот шестидесяти разрозненных клочков, представляющие собой засушливые холмы и джунгли, предназначены для нас. Планируется превратить их в изолированные области, каждая для отдельного племени, чтобы мы не общались друг с другом. Закон запрещает белым вкладывать деньги в развитие этих областей. Резервации — сугубо африканские области. Сюда вкладывать капиталы можем только мы — не имеющие ничего. Преторией задуман грандиозный план индустриализации пограничных с резервациями областей. Он предусматривает строительство там

крупных предприятий на капиталы белых и ими в дальнейшем управляемых. Фабрики и заводы построят на территории белых, поблизости от резерваций, которые будут поставлять рабочую силу. По утрам рабочих будут привозить, а по вечерам отправлять назад в резервации. Уже и сейчас там полным-полно свободных рабочих рук. Представители АНК, с которыми я разговаривал на прошлой неделе в Кокстаде, рассказали мне, что уже знают шесть мест, где в соответствии с этим планом около резерваций строятся большие фабрики, а по другую сторону границы — обширные рабочие лагеря. Это бесконечные ряды серых бараков, обнесенных забором и соединенных с фабрикой железнодорожной колеей. Вот таков хитрый замысел Претории — сослать миллионы людей в резервации и превратить их в дешевую рабочую силу.

Учитель посмотрел на папу и спросил:

— А вы полагали, что будете здесь свободным человеком?

— Ну, может быть, не совсем свободным, — ответил папа, — но я не думал, что мы будем подневольными рабами. Сегодня утром нам приказали с инструментами собраться на опушке леса у дома старосты. Там выстроилась длинная

вереница мужчин с лопатами, мотыгами и кувалдами. Что бы это означало?

— Принудительные работы, — ответил Сезела. — Принудительный, бесплатный труд. Вас могут привлечь к нему в любое время и ничего не заплатят. Правительство называет это выполнением общественных проектов, куда каждый должен внести свой вклад. При этом власти умалчивают о том, что эти общественные проекты осуществляются только в интересах белых и что вас заставляют работать, отрывая от ваших собственных дел. На эти работы мобилизуют также и женщин, чтобы они готовили для мужчин еду. Но продукты не выдают. Рабочие должны приносить продукты с собой, и никого не интересует, где вы их достанете. Того, кто отказывается от работы, отправляют в тюрьму, предварительно выпоров плетью. Бывают и другие трудовые повинности: например, починить крышу старосте, отогнать в город его автомашину на ремонт или почистить ботинки охранникам.

— Я хочу бороться, — сказал один из заключенных твердым голосом.

— Я тоже! Я тоже! — повсюду раздались голоса.

— АНК против восстания, — сказал Сезела. — Альберт Лутули делает все возможное, чтобы

избежать насилия. Но в резервациях трудно сдержать возмущение масс. К тому же молодежь в АНК с каждым днем выступает все более воинственно.

— Что представляет собой верховный вождь племени Абель Тсомо? — спросил папа.

— Вы его знаете?

— Он родственник моей жены.

— О, это смелый старик. Он честен и держится как лев. Власти не смеют сместить его с должности, потому что мы все его поддерживаем. Но они постоянно третируют его и повсюду стараются изолировать деревни друг от друга. Как только им это удастся, Абель Тсомо потеряет силу.

— А Булуга?

— Он алчен, всех нас обирает, но тоже сопротивляется властям и никогда не принимает решений единолично. Созывает нас, и мы советуемся. Если решим не так, как ему хочется, запрещает выходить из хижины, пока сам не явится и чего-нибудь из вас не вытянет. Но то, что мы решаем, он неукоснительно выполняет, а непослушных арестовывает.

В тюрьме мы узнали, что молодежь бежит в горы и готовит там вооруженное восстание. Люди скрываются высоко в горах, создают там отряды

и проходят обучение. У них есть оружие. Ночью они спускаются в деревни И поджигают хижины тех, кто сотрудничает с белыми. Говорят, что они готовятся захватить Бизану, а потом и весь Пондоленд. Я боюсь за них, — продолжал учитель Сезела, — Хотя их тысячи, я не уверен, что они смогут победить, и сомневаюсь, что они едины в своих взглядах…

ГЛАВА XIII

Суд над нами не состоялся. Мама дала Булуге взятку, и он разрешил ей съездить к Абелю Тсомо. Она намекнула старосте, что охранникам не поздоровится, если Абель Тсомо, верховный вождь племени, пожалует в деревню. Булуга, недолюбливавший охранников, посмотрел на маму исподлобья, а потом с размаху поставил печать в ее паспорт.

Абель Тсомо не замедлил явиться в деревню. Он тут же вызвал Булугу и охранников и осведомился, почему нас притесняют. Перетрусившие охранники заявили, что они тут ни при чем. Булуга, злорадно торжествуя, сам отправился в тюрьму, чтобы освободить нас. Его сопровождала целая толпа соплеменников. Это очень разозлило охранников. Один из них, стоявший рядом со старостой, даже оттолкнул его и раздраженно захлопнул дверь тюрьмы.

По случаю прибытия верховного вождя Булуга устроил праздничный обед, в котором приняла участие вся деревня. На вертеле зажарили двух баранов, всех обнесли мисками с рисом и блюдами с фруктами.

После обеда Абеля Тсомо усадили в красное кресло, и к нему за советом и помощью пошли люди.

Верховный вождь был высокий, благородной наружности старик в длинной белой мантии с тросточкой в руках. Хотя его волосы и борода поседели, он держался прямо, расправив широкие плечи. От этого человека с большими руками и умными добрыми глазами исходила могущественная сила. До глубокой ночи он внимательно выслушивал своих подданных, давал советы, успокаивал, ничем не выказывая усталости.

Затем он отправился в хижины к старикам, которые были не в состоянии сами прийти к нему. Он зашел и к нам в хижину и вместе с нами выпил чаю.

Абель Тсомо беседовал с отцом сердечно и дружелюбно. Когда мама рассказывала о Томе, Майкле и Розе, в глазах его появился затаенный страх.

— Жизнь идет, — сказал он дрогнувшим голосом. — Она трудна и подчас ложится на нас тяжелым бременем. И все же она дорога каждому человеку, и мы не должны на нее жаловаться.

Он долго говорил с нами, а потом мы все вместе вышли на улицу, с тревогой вглядываясь в свет

прожекторов от вертолетов. Мы надеялись, что Джимми до рассвета доберется до гор, считая, что по ночам вертолеты не летают. И действительно, когда стемнело, они на какое-то время скрылись, а теперь снова вернулись и кружили в вышине, освещая холмы прожекторами.

Мы слушали гул и видели вдалеке над вершинами холмов яркие пучки света, похожие на огни маяков.

— Завтра я отправлю людей в горы, — сказал Абель Тсомо. — Они найдут Джимми и помогут ему.

Потом Абель Тсомо рассказал нам о Пондоленде, о том, что в Претории называют системой самоуправления.

— Власти заняты полной перестройкой системы управления в резервациях, — сказал он. — Они утверждают, что теперь мы будем решать все вопросы самостоятельно. Однако в действительности это совсем не так. Органы самоуправления — лишь видимость власти, созданная для обмана мирового общественного мнения. Вот что мне сообщили друзья из Кейптауна несколько дней назад. Во главе каждой резервации будет стоять африканский парламент. Вы, вероятно, уже слышали об этом. А

сейчас вы узнаете, что это за парламент. Из ста девяти его членов сорок пять будут избираться народом, а шестьдесят четыре назначаться правительством. Вы понимаете, что это значит? Назначенные сверху члены парламента составят большинство и будут голосовать за то, что нужно Претории. Для этого их и назначают. Кроме того, наш парламент будет заниматься только вопросами местного значения. Вопросы внешней политики и экономики не входят в его компетенцию. Они будут решаться в Претории без нашего участия. Армия и полиция на территории резерваций неподвластны нашему парламенту. Они подчиняются центральному правительству. Далее, африканский парламент будет формировать свое правительство, но оно не может принимать решения. Оно имеет право только вносить предложения в Преторию. А уж в Претории решат, как к ним отнестись. За спиной каждого черного министра будет стоять белый советник. Он, собственно, и будет настоящим министром. Верховный магистрат будет состоять целиком из белых, и не парламент, а только центральные власти могут заставить правительство уйти в отставку. Другими словами: правительство черных будет подотчетно не народу, а белому прави-

тельству ЮАР. Основные посты в новых органах власти будут принадлежать вождям племен и старостам деревень. Закон гласит, что деревенские старосты отныне не выбираются членами племени, а назначаются белыми властями.

— Это невозможно, — сказала мама возмущенно.

— Мы тоже так думали, но ошиблись.

— Боже, до чего же мы доверчивы, — шептала мама.

— Сейчас все главы племен и старосты деревень лишены власти. Я тоже. Нас будут утверждать правители Претории. И утвердят лишь тех, кто согласен с ними сотрудничать. Всех остальных заменят. Чтобы заручиться нашей покорностью, нам увеличат жалованье в четырнадцать раз. Все главы племен и старосты получили охранников. Однако они приставлены к нам не для того, чтобы охранять, а чтобы следить за нами. Охранники — платные агенты тайной полиции — Особого отдела. Вы знаете, конечно, что это такое. Тайная полиция не скупится на подкуп, и к тому же у нее целые арсеналы оружия. Пондоленд охвачен волнениями. Повсюду люди говорят: пришло время начинать восстание, пробил час сраженья. Если мы не победим белых сейчас, они нас уничтожат.

Они делают все, чтобы ослабить и разобщить нас. Пока мы едины, мы должны начать действовать, иначе расисты сотрут нас с лица земли.

— Ты будешь бороться, Абель? — спросила мама спокойно.

— Я не знаю, — тихо ответил старый вождь. — Иногда мне кажется, что я должен, а иногда я вспоминаю о других средствах борьбы, убеждаю себя, что они предпочтительнее, и мне кажется, будто я просыпаюсь от страшного сна.

Потом мы опять говорили о Томе, Майкле и Розе. Он крепко сжимал мамины руки, когда она рассказывала подробности происшедшей с ними трагедии. Абель Тсомо был истинным вождем племени. Общение с ним делало людей мужественнее, сильнее.

Уже рассветало, когда мы провожали его к машине. Никто не спал. Вся деревня собралась, чтобы проститься с верховным вождем.

Подданные не устраивали ему оваций, но их глаза были полны любви и благодарности. Они стояли у ограды вдоль дороги, шептали его имя и благоговейно касались руками его машины, медленно проезжавшей мимо. Догорал огонь, разожженный для праздничного обеда, унося с собой очарование этой необычайной ночи.

Мне казалось, что ожила детская сказка о добром короле, который пришел и восстановил справедливость.

В последующие дни охранники вымещали свою злобу тем, что заставляли отца и меня работать с утра и до позднего вечера. Они выдали нам кувалды и вместе с двадцатью другими рабочими заставляли мостить дорогу.

Во время работы нас с тупой настойчивостью преследовало неумолчное жужжание вертолетов.

Люди говорили, что в горах высадились солдаты и блокировали все дальние дороги и тропы, а на плоскогорье между холмами и горным массивом разбит большой военный лагерь.

— Если Джимми не добрался до гор в первую ночь, они его найдут, — сказал отец вечером на второй день, — и будут преследовать, пока не поймают.

— Он не добрался до гор, — глухо проговорила мама. — Если бы они в этом не были уверены, то не вызывали бы столько солдат.

Три дня и три ночи кружили вертолеты над холмами. Иногда днем они куда-то исчезали. Мы приостанавливали работу и с радостью прислушивались к тишине, но вскоре вновь слышалось

отдаленное жужжание вертолетов, похожее на стрекотание кузнечиков.

На четвертый день, около десяти утра, вдалеке раздались выстрелы, а затем пулеметные очереди. После этого гул вертолетов прекратился. Стало так тихо, что было слышно пение цикад. Потом снова зажужжали вертолеты, и наконец мы их увидели. Они летели в нашу сторону один за другим низко над холмами. Все побросали работу и, потные, покрытые пылью, напряженно вглядывались в приближавшиеся вертолеты. Охранник, растянувшийся в тени, крикнул, чтобы мы продолжали работу. Он вскочил, но вместо того чтобы взяться за длинный кожаный кнут, лежавший рядом с ним в чертополохе, и пригрозить нам, тоже уставился в небо.

Вертолеты пролетели над нами так низко, что мы отчетливо видели сидящих в кабинах людей. У одного из них были светлые волосы и надменное лицо.

«Только бы они улетели, — молил я. — Если улетят, значит, они прекратили поиски, сдались, значит, Джимми уже в горах, в безопасности. Только бы они не приземлились в деревне».

Вертолеты сбавили скорость, опустились еще ниже и повисли над площадкой, рядом с заго-

ном для скота возле дома Булуги. С холма было видно, что там происходит. Булуга вышел из дому, за ним показались четыре охранника. Они смотрели вверх. Повсюду из хижин выскакивали люди и бежали к площадке, над которой повисли вертолеты. Вскоре они окружили ее плотным кольцом.

В среднем вертолете открылась дверь и оттуда что-то сбросили на землю. В первый момент показалось, что это сверток одежды, но потом я разглядел ноги и руки, болтавшиеся, как у куклы. Раздался глухой звук удара об песок.

Он мертв, подумал я, замирая, он был мертв до того, как его сбросили вниз. У него так безжизненно болтались руки и ноги…

Глаза отца покраснели.

Правый вертолет опустился на землю, и из него вышел белый в военной форме. Он подошел к старосте и что-то сказал. Булуга повернулся и побежал в свою хижину. Белый постоял, посмотрел ему вслед, потом что-то приказал охранникам, резко размахивая руками.

Один из охранников бросился в хижину Булуги и выскочил оттуда с веревкой в руках. Он перекинул ее через сук дерева, потом склонился над телом Джимми, привязал к нему веревку и стал

тянуть его вверх.

Джимми повесили за ноги. Голова и одна рука беспомощно болтались, другой руки не было. Толпа с ужасом смотрела на раскачивавшееся тело. Затем вертолет поднялся в воздух, и все три машины улетели.

Охранник крикнул, чтобы мы продолжали работу. Отец попросил отпустить его, сказав, что это был его сын.

— Знаем, — отрезал охранник. — За работу!

Только вечером мы спустились в деревню и в десяти шагах от дерева, на котором висел Джимми, увидели маму. Мы сели рядом. Односельчане ушли. Они понимали, что этот жуткий спектакль разыгрывался для того, чтобы устрашить их, и не захотели быть зрителями. Грудь Джимми и правая нога были в крови, но лицо не было повреждено.

Он почему-то выглядел совсем мальчишкой, и его нетрудно было представить смеющимся, с веселыми, озорными глазами.

— Смерть — их союзница, — шептала мама. — Как можно жить, имея союзницей смерть.

Вся одежда на Джимми была разорвана. Волосы полны песка и колючек.

Лишь спустя несколько дней мы смогли его

похоронить. А потом пришло письмо от Пьера.

В тот вечер, когда Пьер венчался с Сандрой, он пообещал, что мы каждый день будем получать письма из Родезии. В Софиатауне так оно и было. Сандра регулярно нам писала и рассказывала обо всех событиях дня. Обычно она писала по вечерам, «когда задернуты занавески и зажжены лампы». Письма были для нее чем-то вроде вечерней беседы с папой и мамой, со всеми нами.

Пьер часто приписывал несколько фраз, обычно шутливых, из которых было ясно, как они счастливы.

Потом вдруг письма перестали приходить. Первое время это нас не беспокоило, но через неделю мы не знали, что и думать. Последнее письмо Сандры не предвещало ничего дурного и заканчивалось, как всегда, словами: *«Спокойной ночи, мои любимые, до завтра».*

Мы писали в Родезию каждый день, но ответа не получали.

Тогда отец послал письмо Джону Харроусу, английскому журналисту в Солсбери, с которым Сандра и Пьер дружили и о котором не раз упоминали в своих письмах.

Неделю спустя Джон Харроус ответил нам, что был в Форт-Элисоне, но Пьера и Сандры там

не оказалось. Соседи сообщили, что их бунгало пустует уже несколько недель. Служанка и садовник не могут понять, что случилось.

> *«Все это выглядит очень странно,* — писал он. — *Попытаюсь навести справки. Как только что-нибудь узнаю, тут же вам напишу».*

Через четыре дня мы снова получили от него письмо. Он писал, что Пьер и Сандра арестованы. Их увезли в автомашине. Он разговаривал с человеком, который уверял, что видел это собственными глазами. Как-то ночью к их бунгало подъехала машина. Из нее вышли четыре человека и окружили дом. В комнатах зажегся свет. Затем Сандра и Пьер появились на улице в сопровождении двоих неизвестных, которые втолкнули их в машину и увезли.

> *«Рассказ этого человека выглядит весьма правдоподобно,* — писал Джон Харроус, — *но я никак не возьму в толк, почему наша полиция ничего об этом не знает. Не подумайте, что она что-то скрывает. Я обращался за содействием к очень влиятельному лицу, от которо-*

го в полиции нет секретов. Необходимо узнать, кто были те четверо. Неплохо было бы навести справки у вас. Меня не оставляет мысль, что Пьер и Сандра жили всего в двадцати милях от границы с ЮАР и помогали черным беженцам...»

Дойдя до этого места, мама испуганно воскликнула:

— Может быть, их увезли из Родезии южноафриканцы?

— Да нет, зачем же сразу так думать? — нервно ответил отец.

Но письмо дрожало в его руке, когда он его перечитывал.

— Уж лучше бы они отправились в путешествие по Европе, — сказала мама, — там они были бы в безопасности.

После оформления гражданского брака Пьер собирался поехать с Сандрой в Европу. Сначала Сандра писала о предполагаемом путешествии каждый день, и мы радовались ее счастливым планам. Но потом она упоминала о поездке все реже и реже, зато много писала о беженцах.

«Толпы бездомных черных из ЮАР, которые не захотели жить в резервациях,

хлынули в Родезию. Ночью они переправляются через Лимпопо и прячутся в горах. Мы с Пьером видели их. Южноафриканская полиция никого не пропускает через пограничные пункты и постоянно патрулирует берег Лимпопо. Она требует от английских властей в Солсбери передачи ей всех перебежчиков. Однако англичане отказываются это сделать. На границе есть небольшой лагерь беженцев. Это что-то страшное. У них не хватает палаток и пищи и совсем нет лекарств».

Такие письма Сандры очень тревожили маму.

— Они собираются им помогать, — как-то сказала она тихо. — Они больше не думают о свадебном путешествии в Европу. Они хотят помогать беженцам.

Несколько дней спустя Сандра написала, что встретила среди беженцев человека, которого знала по больнице доктора Беркмана. Он потерял жену и двух дочерей во время переправы через Лимпопо. Южноафриканская полиция обстреливала их, когда они, по грудь в воде, переходили реку. Его жену и дочерей унесло течением, больше он их не видел. *«Сейчас я не могу ехать в*

путешествие, не могу быть счастливой, когда у людей горе», — добавляла она.

Потом однажды она с восторгом сообщила, что две англичанки из Солсбери организовали комитет помощи южноафриканским беженцам, что они снабжают их продовольствием, одеждой и лекарствами и призывают оказывать помощь беженцам на местах.

«Я хочу перебраться с Пьером поближе к границе», — писала Сандра, полная радужных надежд.

Маме эта идея не понравилась. Она боялась за Сандру. Отец написал, что они могут помогать и из Солсбери. Но через два дня пришло известие о том, что они уже переезжают.

> *«Нам удалось снять бунгало в Форт-Элисоне,* — писала Сандра. — *У одного плантатора, который переехал отсюда в Булавайо».*

— Где находится Форт-Элисон? — спросила мама.

Мы посмотрели по карте, и отец измерил расстояние до границы.

— В двадцати милях от границы, — сказал он неуверенно.

— Это очень мало, — забеспокоилась мама.

Спустя несколько дней мы читали:

> *«Мы с Пьером разослали сотни писем и устанавливаем контакты с Красным Крестом, организациями ООН и крупными европейскими и американскими филантропическими обществами. Сейчас Пьер готовит серию репортажей о лагерях беженцев, которые он хочет напечатать во многих газетах мира».*

Сандра была очень увлечена своей деятельностью и уверяла нас, что о ней нечего беспокоиться; это замечательная работа и англичане не препятствуют им, наоборот, многие настроены дружелюбно и готовы помочь.

Южноафриканская пресса вынуждена была писать о беженцах. Один министр в интервью заявил, что иностранные подстрекатели обманывают негров и пытаются «под всякими лживыми предлогами» вывезти их из страны. Правительство объявило, что лица, незаконным образом покинувшие страну, подлежат длительному тюремному заключению. Однако на самом деле в беженцев просто стреляли без предупреждения.

Прошло еще четырнадцать долгих дней, а писем от Сандры все не было. Мы получили третье

письмо от Джона Харроуса, в котором он писал, что по достовернейшим данным родезийская полиция не арестовывала и не задерживала Сандру и Пьера. Но что с ними случилось, он не знает.

Наши попытки разузнать что-то в Претории были прерваны неожиданным выселением из Софиатауна. А те, кого мы запрашивали, не знали, где мы находимся.

Приблизительно через три недели, после того как мы похоронили Джимми, пришло письмо от Пьера. Я его храню до сих пор. Вот оно.

«Дорогие родственники!

Я уже послал Вам четыре письма. Но только сейчас узнал, что вас нет в Софиатауне. Поэтому полагаю, что вы их не получили. Я слышал от одного человека из лагеря в Мидоулендсе, что тех, кто не идет работать на шахту, увозят в Пондоленд. Я не смог узнать деревню, в которую вас выселили, но мне сказали, что в Умтате, а может быть и в Бизане, есть списки переселенцев. Тогда я написал отцу Дженнингсу из Ирландской миссии в Умтате и попросил разыскать вас и переслать мое письмо. Надеюсь, он

это сделал. Я не мог поговорить с ним по телефону, потому что с Транскеем существует только официальная телефонная связь и все разговоры подслушиваются. Было бы лучше самому приехать к вам и все рассказать, но это невозможно. В Пондоленде почти нет белых, и мое появление там не осталось бы незамеченным.

Вы, наверное, удивлены, что на этот раз пишу я, а не Сандра. Если вы все-таки получили мое последнее письмо, то все знаете. А если нет, то я надеюсь, что вы найдете в себе силы услышать страшную весть. Сандра умерла. Они ее обесчестили, и она не захотела жить. Я похоронил ее. В хорошем месте. Я могу к ней приходить, когда захочу. Надеюсь, что у меня будет возможность показать вам это место. Оно больше ваше, чем мое».

Папа заплакал. Я редко видел, чтобы отец не мог сдержать слез.

«Нам нравилось наше дело, — писал дальше Пьер. — *Мои репортажи печатались во всех газетах мира. Отовсюду*

приходила помощь, и мы чувствовали поддержку людей. Не без нашей помощи вопрос об апартеиде был внесен в повестку дня Организации Объединенных Наций, и Генеральная Ассамблея ООН проголосовала большинством голосов за предложение, осуждающее национальную политику в ЮАР. Вскоре после этого однажды вечером меня остановили на улице двое незнакомцев и потребовали, чтобы мы прекратили свою деятельность. Тогда я обратился в английскую полицию. Мне обещали помочь, но было уже поздно. Эти двое, очевидно, узнали, что я обращался в полицию, и той же ночью пришли за нами. На этот раз вчетвером. Они вывели Сандру и меня из дома и посадили в машину. Мы ехали по горным дорогам, потом переправились вброд через какую-то реку. Это была река Лимпопо. Никакой другой большой реки в горах не могло быть. Сандра испуганно смотрела на бегущую по камням воду и сжимала мою руку.

Потом машина снова начала петлять по горным дорогам, пока не выехала на

широкое асфальтированное шоссе. Я посмотрел на указатель. Это была Южноафриканская магистраль № 1. Сомнений не оставалось: мы ехали по направлению к Йоханнесбургу.

Мы миновали Луи Тричардт и Банделиркоп. В Питерсбурге мне приказали выйти из машины. Двое мужчин ввели меня в какое-то здание, двое других уехали вместе с Сандрой.

Целый час я просидел взаперти. Потом за мной зашли и посадили в другую машину. Мы проехали Потгитерсрюс, Нилстром и Преторию. Рано утром добрались до Йоханнесбурга. Меня доставили на аэродром, дали билет и посадили в самолет, который летел в Брюссель. На прощанье сказали: «Если вернешься назад, будешь расстрелян как террорист». Это был беспосадочный перелет. Из Брюсселя я первым же самолетом вылетел в Лондон, а оттуда в Солсбери. Ночью переправился через Лимпопо и пешком через горы отправился в Мессину.

Там нанял автомобиль и поехал в Питерсбург. С помощью одного амери-

канского миссионера я узнал, что Сандру поместили в тюрьму в Хенертсбурге и ей грозит смертная казнь за нарушение закона о нравственности. Я позвонил Яну ван Баарле. Он немедленно приехал, и мы вместе отправились в Хенертсбург, предварительно придумав, как освободить Сандру из тюрьмы.

Через три дня мы были готовы приступить к осуществлению нашего плана. Тюремная медсестра, которой мы вручили круглую сумму денег, должна была в назначенный день отправить Сандру в медпункт, а затем на машине «скорой помощи» перевезти в больницу в городе якобы «для исследования». По дороге Ян и я должны были остановить машину и освободить Сандру.

Мы напрасно прождали полтора часа там, где договорились задержать машину «скорой помощи», потом поехали к медсестре домой.

Она была бледна и встревожена, когда открыла нам дверь, и сказала: «Черная девушка, которую вы хотели освободить из тюрьмы, умерла. Я привела ее в мед-

пункт, но, когда через четверть часа пришла туда, чтобы рассказать ей о плане спасения, она была без сознания. В руках девушка держала флакон со снотворным. Она еще дышала. Я пробовала ее спасти, но было уже поздно. Мне нельзя было оставлять ее одну в медпункте, но я не знала, что она понимает в лекарствах. Между тем она прекрасно в них разбиралась и открыла ножницами шкафчик, где хранились яды. Может быть, она сделала это, потому что убили ее мужа». Я спросил: «А что, ей сказали, что ее муж убит?» Сестра утвердительно кивнула. «Да, она знала об этом еще до того, как ее привели в тюрьму, и плакала не переставая».

Мы не открыли ей, что я муж Сандры. Так было безопаснее. Я только спросил, кто тюремный священник. «Старый француз-миссионер», — ответила она, и тогда я прямо от нее позвонил пастору и спросил, не посещал ли он заключенную. Оказалось, он хорошо знал Сандру. Когда я рассказал, что с ней произошло, он ответил: «Да, вот так и бывает». Я

назвался и попросил меня принять. «Да, конечно», — ответил он.

Узнав, что я муж Сандры, сестра перепугалась и вернула нам деньги, хотя я сказал, что она может оставить их себе. Но она отказалась. Потом я поехал к священнику. Печально покачав головой, он сказал: «Я ей говорил, что она не должна этого делать, и уверен, она бы не сделала, если бы знала, что вы живы».

Я спросил, что с ней случилось в тюрьме. «То, что всегда случается с красивой черной женщиной в тюрьме», — сказал он устало, с горечью в голосе. Оказывается, ночные охранники в тюрьме мужчины. Женщина-надзирательница дежурит только днем. А ночью всегда бывает двое мужчин. «Каждую ночь они ходили к Сандре, — произнес старый священник, — и по очереди насиловали ее. Женщина может сколько угодно звать на помощь, ночью в тюрьме нет никого, кроме этих двух охранников. А если она утром пожалуется, ей не поверят. Разве слова черной что-нибудь значат? Скажут, что она лжет».

Старый миссионер спросил, давно ли мы были женаты, где жили и так далее. Помолчав, он добавил: «Она умоляла меня помочь. Я пробовал. Начальник тюрьмы высмеял меня и заявил: «Она должна быть польщена, что белые мужчины удостоили ее своего внимания».

Я спросил, могу ли получить тело Сандры и похоронить ее, где захочу. «Да», — ответил он.

Мы пошли в тюрьму. Он принес ключи от морга и помог нам перенести тело Сандры в машину. Старик был удручен. Он посмотрел на Сандру, потом произнес: «Как бы я хотел, чтобы этого не произошло». Он погладил ее по щеке. «Она была таким милым существом, — сказал он. — Я все время думал, как ее спасти, но опоздал...»

Мы уехали. Ян хотел сопровождать меня, но я сказал, что не знаю еще, что буду делать, и, если он мне потребуется, позвоню.

Мне хотелось побыть с Сандрой одному. Я положил ее тело на сиденье рядом с собой так, что ее голова покоилась у ме-

ня на коленях. Казалось, она спит. Щеки были холодными, но еще мягкими, как у живой. Я гнал машину по горной дороге, куда глаза глядят. Потом остановился в какой-то горной лощине. Там мне и пришла мысль, где ее похоронить. Я выбрал самое красивое место, которое знал. Я пока не называю его, потому что письмо может попасть не в те руки. Как только увижу кого-нибудь из вас, сразу свожу туда.

Я был с Сандрой очень счастлив и горжусь тем, что она была моей женой.

Пьер».

ГЛАВА XIV

До гибели Сандры мне казалось, я знал, что у родителей на душе. Они страдали, но огромным усилием воли преодолевали свое горе. Теперь я ничего не понимал. Они стали рассеянны и все больше молчали.

Вряд ли в их сердцах бушевала ярость или протест. Насилие было им чуждо. В этом я уверен. Скорее их не оставляло недоумение. Оно терзало, не давая покоя.

Последний вопрос, который мама задала Абелю Тсомо, был: «Ты сможешь предотвратить восстание?» — «Нет, — ответил верховный вождь. — Боже, поддержи нас, когда это начнется!»

Я вспоминал эти слова, когда видел, как люди собираются и что-то обсуждают, несмотря на строгий запрет властей, когда слышал, что соплеменники тайно встречаются с восставшими, прятавшимися в горах, когда присутствовал на пресловутых судах под деревом, где лжесвидетелем обычно выступал Малоло, пропойца с водянистыми глазами, которого в Порт-Элизабете выгнали из армии за пьянство и воровство. Я видел, каким застывшим, угрюмым взглядом

провожают его люди, когда он проносится мимо в своей машине, единственной в деревне, не считая машины Булуги и «джипов» охранников.

Мы познали муки истязания и издевательства, мы изведали то, чего до сих пор счастливо избегали, — нищету.

Отец не имел возможности открыть свою мастерскую. Он хотел построить ее ночью, так как днем охранники гоняли нас на принудительные работы. Но староста не давал отцу разрешения.

Между тем мы остались без денег, и мама вынуждена была то с нами, то с другой партией переселенцев ходить на работы, чтобы как-то прокормиться. У нас кончились все запасы, не было ни скота, ни кур, а в сухих зарослях не росли ни фрукты, ни овощи. Мама просила Булугу не облагать нас налогами, пока мы не разведем огород и не купим кур и хоть одну козу, но он не соглашался.

У папы был вклад в банке, однако охранники не пускали его в Бизану. И нам приходилось менять на рис обувь и одежду.

Однажды, когда отец с мешком риса проходил мимо дома старосты, один из охранников остановил его. Указав на бочку, он потребовал, чтобы папа пересыпал в нее половину мешка.

Когда отец стал возражать, охранник заявил, что берет рис в оплату наших налогов. Он отобрал у отца мешок и опорожнил его на три четверти. Отец хотел поговорить с Булугой, сидевшим в кресле за хижиной, но тот от него отвернулся.

Через два дня охранник пришел в нашу хижину и потребовал заплатить налог за станки и мотор, предназначавшиеся для мастерской. Мама сказала, что у нас пока еще нет мастерской: мы не получили разрешения открыть ее. Но охранник ответил:

— Меня это не касается. Вы должны оплатить налог в течение двух дней.

Пришлось снова продать одежду. Отец хотел построить под мастерскую еще одну хижину — о доме мы пока и не думали, — но староста и этого не позволил.

Изо дня в день мы работали на жаре среди выжженных солнцем холмов. Нам трудно было привыкнуть жить в хижине, где повсюду ползали насекомые, не хватало воды, чтобы вымыться, в одежду и волосы набивалась пыль.

Затем наступил день, когда стало не хватать еды. С трудом мама обменяла свои золотые часы на козу, а платье с черными кружевами на шесть кур. Она спрятала живность от Булуги и охран-

ников к соседям, поделившись с ними молоком и яйцами. Через несколько дней охранники разнюхали об этом и отобрали козу и кур.

— Вы хотели нас обмануть, — заявили они.

На этот раз мама обменяла наши с папой часы и продержала козу и кур целый месяц. Потом их украли. Украл сосед, у которого мы их прятали. Он жил очень бедно. У него было девять человек детей мал мала меньше.

В деревне то и дело случались кражи, кровавые драки и изнасилования.

Однажды отца вызвали в Бизану к белому чиновнику. Как оказалось, на нас было заведено целое досье. Чиновник отлично знал, что мы держали в Софиатауне гончарную мастерскую.

Он разговаривал с папой очень доброжелательно, расспрашивал, где мы сейчас живем, назвав нашу хижину «временным пристанищем». Затем достал какие-то бумаги и сказал, что, изучив папино досье, пришел к выводу, что папа человек благоразумный.

— Вы поняли, что нужно проявить терпение и добрую волю, чтобы превратить ЮАР в счастливую страну, — добавил он.

Отец слушал его с нескрываемым удивлением. Потом чиновник сообщил папе хорошую новость,

что в порядке компенсации за потерю мастерской и своего дома отец получит новую каменную мастерскую и квартиру, которые правительство построит для него бесплатно. Кроме этого, через несколько лет в деревне поставят движок и к мастерской будет подведено электричество.

— Мы считаем справедливым, когда добрая воля вознаграждается, — сказал чиновник. — Мы будем рады видеть ваш дом процветающим и знать, что он является оплотом порядка и спокойствия. Тогда весь мир сможет убедиться, что банту у нас живется хорошо.

Отец вернулся домой сам не свой.

— Он хотел меня подкупить, — ошеломленно сказал он. — Хотел, чтобы я сотрудничал с ними в обмен на мастерскую, дом и позже электричество. Он даже пояснил, в чем конкретно это должно выражаться. Сказал: «Тогда мир сможет убедиться, что банту у нас живется хорошо». В общем, за мастерскую мы должны помочь им обмануть мир. Они даже не скрывают этого. Говорят об этом совсем открыто…

Ночью я слышал, как мама тихо спросила:

— Джон?..

— Да.

— Они отберут мотор и станки?

— Думаю, что да, — ответил отец.

— Чтобы отдать их тому, кто согласится?

— Я полагаю, да.

— Я согласна быть бедной, Джон, — сказала мама дрогнувшим, но страстным голосом. — Все наши соплеменники бедны. Мы будем еще крепче с ними связаны.

Через три дня Булуга пришел к нам на холм и сказал, что мы должны принести мотор и станки к нему во двор. Они конфискуются из-за нашего враждебного отношения к политике правительства. Он показал бумагу со штампом из Умтаты, в которой говорилось, что он, Булуга, должен передать оборудование мастерской человеку, который своим «достойным поведением» заслужил это.

Мы с отцом один за другим снесли ящики вниз. Потом Булуга заставил нас перетаскать их в свою хижину, после чего пришел к нам и проверил, все ли мы отдали.

Спустя несколько недель мы узнали, что он продал их старосте соседней деревни, а тот подарил человеку, который, как и Малоло, выступал лжесвидетелем в суде.

Отец воспользовался своей поездкой в Бизану, чтобы снять со счета деньги. Благодаря этому мы

какое-то время жили более или менее благополучно, но теперь мы знали, что, когда кончатся деньги, у нас не будет ничего.

Папа написал жалобу в магистрат Умтаты относительно грабительского изъятия мотора и станков. Но ответа не последовало.

Он пробовал получить компенсацию за наш дом в Софиатауне, однако ему сказали, что это была хибара, подлежавшая сносу. А земля, мол, остается его собственностью до тех пор, пока он жив. В свое время ему пришлют арендную плату. Я не знаю, посылали ли нам эти деньги. Может быть, и посылали. Но мы их никогда не получали.

Хижина не стала для нас родным домом, ведь в нее нас поселили насильно. Мы лишились крова, чего так боялся Майкл.

И все-таки мы были не одиноки. Многих жителей Софиатауна, как и нас, переселили в эту деревню. Благодаря им и посещению Абеля Тсомо все узнали, что по материнской линии наша семья принадлежит к знатному роду верховного вождя. Поэтому каждый вечер к нам в хижину шли люди за советом и поддержкой. Они приходили по нескольку человек, чтобы не вызывать подозрений у охранников. Пока одни сидели в

хижине, другие ждали поодаль. Получалось так, что со всеми своими заботами жители деревни шли не к Булуге, а к нам. Женщины — к маме, мужчины — к отцу.

Сначала отец пытался избежать этого. Но все было напрасно. И вскоре без мамы не обходились ни одна роженица и ни один больной в деревне, а отец часами сидел перед хижиной и беседовал с людьми.

Я и теперь вижу, как он, терпеливо выслушав соплеменника, дает ему мудрый совет и вселяет в него надежду. Это приводило Булугу в бешенство. Но он ничего не мог поделать против старого прекрасного обычая африканцев почитать достойных. Староста знал, что, если вздумает затеять ссору, ему несдобровать, поэтому предпочитал делать вид, что ничего не замечает.

Однажды охранники созвали всех во двор Булуги на деревенский сход. Оказалось, что к нам приехали из Умтаты разъяснять закон о властях банту.

Два белых чиновника говорили «о великолепных землях, которые нам подарены» и на которых мы сможем жить «свободно и независимо, следуя нашим обычаям».

Среди приехавших был африканец в очках.

Скрипучим голосом он восхвалял «благородство и мудрость» белых, толковал «о коренных различиях между белыми и черными» и призывал «уважать другие расы», а потому жить с ними «в дружбе, но раздельно».

Весь этот фарс явно разыгрывался для мировой прессы, так как вместе с чиновниками прибыли многочисленные журналисты и фотографы. С одной стороны трибуны все время раздавались аплодисменты незнакомых африканцев, которых специально к нам для этого привезли, но ни разу толпа не поддержала их.

Напротив, несмотря на то, что везде, словно ищейки, сновали охранники, односельчане так освистали черного оратора, что ему пришлось замолчать.

Когда охранники кое-кого удалили, заговорил еще один белый. Но и его встретили гиканьем, и в конце концов он, красный и обозленный, под беспрерывный свист и выкрики покинул трибуну.

Когда непрошеные посетители уезжали, в их машины полетели камни. Люди ликовали, выбив заднее стекло в одной из машин. Фотографы не замедлили сфотографировать выбитое стекло, а журналисты приветственно помахали толпе из окон.

На другой день шестьдесят человек предстали перед судом. Малоло давал показания против двадцати обвиняемых, которые якобы подстрекали жителей деревни. Они были приговорены к четырем годам тюрьмы и избиению плетью, остальные к шести месяцам тюрьмы и также к телесному наказанию.

Вечером жители деревни шепотом передавали друг другу сообщение, что ночью далеко в холмах состоится собрание, на котором выступит представитель АНК.

Когда стемнело, отец, мама и я отправились к указанному месту. Это была глубокая расщелина, которая заканчивалась большой плоской скалой, освещенной факелами. Вокруг скалы сновали молодые африканцы в белых рубашках.

Когда собралась огромная толпа, на скалу поднялся доктор Иллово. Боже мой, как мы обрадовались, увидев его! Сколько воспоминаний вызвал у нас этот маленький человек с седыми волосами! Площадь в Софиатауне… Незабываемый митинг, когда была провозглашена кампания неповиновения… И другой, когда первая группа добровольцев на автобусе направилась к центру Йоханнесбурга и мама разговаривала с доктором Иллово и с нами через передатчик.

Я не мог сдержать слез радости, на какое-то мгновение забыв, что наша жизнь сломлена и мы потеряли все, что имели. Казалось, вернулось время, когда мы все были счастливы в Софиатауне.

Раздался знакомый бодрый голос Иллово. Он говорил с, теплотой и сердечностью, за которую мы так его любили. Доктор Иллово попросил, чтобы не было выкриков и аплодисментов, потому что это опасно, а потом с присущим ему спокойствием и деловитостью объяснил, зачем нас здесь собрали.

— Я принес вам послание от Альберта Лутули, — начал доктор Иллово. — Он находится под домашним арестом, обреченный на изоляцию. К нему в дом пускают не больше одного человека. Он не может выступать публично, его слова запрещено цитировать в газетах. Но он говорит через нас. Друзья, дорогие друзья, слушайте. Мы пришли сюда, чтобы просить вас о терпении и доброте. Альберт Лутули просит не жечь, не убивать. Он говорит: «Правительства западных стран заинтересованы в торговле с ЮАР, поэтому они молчат. Но их народы с нами. Есть надежда. Надежда так велика, что рождает радость». Альберт Лутули считает, что, если власти молчат, должны заговорить народы. Человечество при-

дет к нам на помощь.

— Доктор Иллово, — прозвучал вдруг в темной долине чистый, сильный голос.

— Это ты, Мортон Гола?

— Да, доктор Иллово.

В отблесках пламени мы увидели высокого, стройного молодого человека с длинными вьющимися волосами. Он стоял на утесе, рядом молодые люди бросали в костер ветки деревьев.

— Скажите мне, доктор Иллово, — начал Мортон Гола, — и вы все, кто здесь собрался. Скажите, можно ли надеяться, что кто-то откажется от своего благополучия, спокойной: и уютной жизни, чтобы помочь неграм, живущим на другой стороне планеты? Сытые обыватели обожают газетные сенсации. Они читают сообщения о событиях в ЮАР и восклицают с важным видом: «Мы должны что-то сделать для чернокожих!» Они поговорят об этом день, другой, третий. Но ведь неинтересно все время говорить об одном и том же. А там, глядишь, газеты напечатают какой-нибудь другой сенсационный материал, и, сидя утром за завтраком, читатели раскроют газеты и будут упиваться своим возмущением по поводу очередной несправедливости в мире. Они нам не помогут. Они предпочитают жить в

благополучии, безопасности и приятных путешествиях, возмущаясь беззаконием сегодня в ЮАР, а завтра в какой-нибудь другой стране.

Толпа, невидимая в темноте, возбужденно загудела.

— Мортон Гола! — крикнул доктор Иллово.

— Да, доктор Иллово!

— Мы не получим ни от кого помощи, если прибегнем к насилию.

Стоявшие рядом с нами в толпе люди рассказали, что Мортон Гола — адвокат. Он приехал из Форт-Хейра и всюду в Пондоленде призывает народ к вооруженному восстанию. Гола воскликнул:

— Никогда и нигде человек не получал справедливость. Справедливость не получают. Ее берут.

Вокруг раздались одобрительные возгласы.

— Я был в Европе, — продолжал Мортон Гола, — в Англии, Нидерландах и Швеции. Во всех этих странах рабочие живут сносно. Это хорошо. Но я спрашиваю: с каких пор они стали так жить? С тех пор когда объединились и закидали камнями окна хозяев.

Доктор Иллово пытался что-то возразить, но молодой адвокат крикнул:

— И демократические свободы, о которых ев-

ропейцы так любят говорить, не подарены им королями. Короли угнетали народ. А народ отрубил им головы и взял свою свободу.

Грянувшие вслед за этими словами аплодисменты вызвали у меня чувство тревоги. Доктор Иллово хотел перебить своего противника, и стоявшие рядом с ним люди пытались ему помочь, но Мортон Гола говорил не останавливаясь, громко и быстро.

Расщелина тонула во тьме, и только две импровизированные трибуны, на которых стояли спорившие ораторы, освещались факелами и костром. При виде этого зрелища мне почему-то стало страшно.

Доктор Иллово явно проигрывал, несмотря на все старания.

— Вы знаете, что это такое? — спросил Мортон Гола у толпы, показывая свой паспорт.

— Да, знаем! — закричала толпа.

— Это мой паспорт, — продолжал Мортон Гола. — В нем указано, где я должен жить и работать, куда мне разрешено ходить, а куда нет. В паспорте говорится, что я адвокат и могу работать по профессии только в резервации, потому что я пондо. Если же я захочу работать где-нибудь в другом месте, то смогу устроиться только

неквалифицированным рабочим, потому что я черный. Знаете, что я сделаю с этим паспортом? Посмотрите, что я с ним делаю! Смотрите!

Он разорвал паспорт на куски и бросил в огонь. Раздался одобрительный рев. В толпе началось какое-то движение, потом вперед выскочил мужчина, подбежал к огню и тоже бросил в костер свой паспорт.

— Да! — крикнул Мортон Гола. — Вот так! Именно этого я и ждал от вас. Кто еще скажет: «Я не хочу быть рабом своего паспорта?» Кто еще бросит свой паспорт в огонь и присоединится к нам, чтобы уйти в горы и стать свободными людьми?

— Мы! Мы! Да, мы!

Толкая друг друга, люди бросились вперед, разорвали свои паспорта и швырнули в костер.

Отец пробовал остановить их, но они, особенно молодежь, были очень возбуждены, громко кричали, и никто не услышал папиного голоса. Один за другим к костру пробирались молодые люди и бросали в огонь паспорта. Их было так много, что пламя высоко взвилось к небу, и молодежь в диком порыве пустилась вокруг него в пляс.

— У вас больше нет дома и нет страны, — крикнул Мортон Гола. — Вы живете как изгнанники, у вас отняла надежду, попрали ваше достоинство.

Над вашими детьми издеваются, вас обманывают. Время терпения и добра прошло. Мы должны бороться. Запомните, люди! Мы вернемся! Те, кто сейчас уйдет с нами в горы, вернутся! И тогда вы увидите, что мы будем делать. По всей земле пондо запылают костры!

Мортон Гола спрыгнул со скалы и под радостные крики исчез в темноте вместе с теми, кто сжег свои паспорта.

Мы подошли к доктору Иллово. Он сидел на камне, понурив голову. Иллово встретил нас очень сердечно, его теплота согрела нас.

— Происходит ли подобное в других резервациях? — спросил папа.

— Да. Всюду. — Затем доктор добавил с горечью: — Мы проиграем. АНК хочет избежать насилия. Альберт Лутули день и ночь думает, как это сделать. Но ничего не помогает.

— Будет война?

— Да. И я боюсь ее. Мы, черные ничтожества, нанесем великое оскорбление белым тем, что поднимем вооруженное восстание… Ведь об этом будет знать весь мир. — Содрогнувшись, он добавил: — Они нас раздавят.

ГЛАВА XV

С помощью радио, журналов и газет власти пытались убедить общественное мнение в ЮАР и во всем мире, что Транскей является первой резервацией, которая превращена в свободную африканскую страну, что все черные, за исключением «нескольких коммунистов», с энтузиазмом оказывают белым содействие.

Мы не могли опровергнуть эту ложь, потому что были изолированы от мира. За каждой деревней следила полицая, Пондоленд со всех сторон был окружен воинскими частями. В автобусах и на дорогах проверяли паспорта, и тех, у кого не было штампа, разрешающего пребывание в данное время в данном месте, заключали в тюрьму.

Было ужасно, что кое-кто верил лживым утверждениям буров-расистов. В определенных кругах с упрямой настойчивостью продолжали называть всех боровшихся против апартеида коммунистами или врагами христианской цивилизации.

Правительство плевало на то, что его ложь полностью отвергается черным населением. В Умтате прохожие на улицах осыпали насмешка-

ми белых чиновников магистрата. На хижинах старост в деревнях писали: «Предатель». Когда магистрат попытался наряду с Абелем Тсомо назначить второго вождя племени, восемь старост деревень, на которых рассчитывали белые, во время заседания повернулись ко второму вождю спиной. А народ, ободренный этим, зашвырял его камнями, так что бедняге пришлось с помощью белой полиции скрыться в безопасное место.

В горах росло количество восставших, и мы начали понимать, что имел в виду Мортон Гола, когда говорил: «По всей земле пондо запылают костры!»

Однажды ночью нас разбудил тяжелый, глухой взрыв, раздавшийся неподалеку от нашей хижины. Мы вскочили и выбежали на улицу. В небе стояло зарево: полыхала хижина рядом с домом Булуги, возле нее валялся догоравший остов машины.

— Малоло! — сказала мама. — Это горит хижина Малоло. Его машина взорвалась. Ее кто-то поджег.

— Начинается… — пробормотал отец.

Вокруг машины собралась толпа. Двое охранников с автоматами выбежали из дома старосты.

— Малоло еще в доме? — спросил отец обес-

покоенно.

— Нет, вон он! — ответила мама. — Смотрите, он подбежал к охранникам.

Малоло, тощий, неопрятный человек, что-то возбужденно говорил охранникам, показывая на хижину и автомашину.

Через несколько минут прибежал Булуга. Малоло бросился к нему, но тот не стал с ним разговаривать.

Мы с отцом сбежали с холма вниз, где уже собралась толпа. Люди спрашивали друг у друга:

— Кто? Кто это сделал?

Некоторые говорили, что видели двух парней, спустившихся с гор. Они приходили, чтобы наказать Малоло, и, уходя, предупредили, что это только начало.

Появились еще двое охранников. Вдруг один из них схватил горящую головню, подбежал к хижине, стоявшей позади дома Малоло, и бросил ее на крышу. Затем, подняв вторую головню, сунул ее в руки Малоло и показал на соседние хижины. Разъяренный Малоло в мгновение ока поджег две хижины. Толпа пришла в смятение, но, когда Малоло, обезумевший от злости, побежал еще к одному дому, отец решительно преградил ему дорогу.

— Не делай этого! — сказал он.

— Пошел прочь! — закричали охранники.

— Нельзя этого допускать, — возразил им отец. — Пожалуйста, остановите его.

Однако охранники не тронулись с места. Тогда папа схватил Малоло за руки, пытаясь отнять у него горящую головню. Но Малоло вырывался и вопил не переставая как сумасшедший. Головня выпала у него из рук, однако он сумел поднять ее и зажал в руке.

— Не делай этого, — повторил отец твердо. — Это преступление!

Булуга неодобрительно выговаривал что-то охранникам, и они наконец остановили Малоло, дав ему возможность поджечь еще одну хижину.

Малоло тупо глядел в толпу и вдруг, указав на двух подростков лет пятнадцати, завопил:

— Это они! Это они сделали!

Он вцепился в них и стал доказывать охранникам, что ребята сожгли его хижину.

— Я видел, — упрямо повторял он.

Мальчишки вырывались из рук Малоло, и одному из них это удалось, но его поймали охранники. Они крепко держали подростков за руки.

— Оставьте ребят в покое! — рассвирепев, крикнул им отец. — Малоло не знает, кто это сделал!

Как вы можете ему верить? Разве не видите, что он указал на первых попавшихся?

Папа говорил непривычно громко и сердито. С ним это бывало очень редко. Староста тоже вступился за ребят. Но охранники его не послушались и увели подростков с собой. Толпа вопила и свистела. Еще немного, и она бросилась бы на охранников. Но те, угрожая автоматами, разогнали людей.

— Я не допущу, чтобы ребят судили, — твердо сказал отец маме.

Через несколько минут балки и столбы горевших хижин рухнули и на месте домов остались лишь кучи дымящегося пепла.

В одной из сгоревших хижин жила молодая женщина с двумя маленькими дочерьми. Ее муж работал в Порт-Элизабете в гавани. Женщина сидела и горько плакала, она потеряла все, что у нее было. Мама увела ее с детьми в нашу хижину и сказала, что они могут жить у нас сколько захотят. Она дала бедняжкам одежду Розы, напоила детей молоком.

На другое утро отец был, как всегда, невозмутим, хотя охранники заставили нас целый день дробить кувалдами скалы и не давали передохнуть ни минуты.

И вечером, когда мы отправились на суд к дому Булуги, он тоже был спокоен, хладнокровен и только немного рассеян. Мы же с мамой не находили себе места от волнения.

Я хорошо знал процедуру судов. Она была всегда одинаковой. Арестованных сгоняли под деревья в квадрат, огороженный веревками. Затем их по очереди выводили на площадку, где в красном кресле восседал Булуга. Кто-нибудь из охранников называл имя арестованного и оглашал обвинение. Если оно было серьезным, появлялся Малоло, давал показания, и староста выносил приговор. Если же дело было пустяковым, оно слушалось без свидетелей. Чаще всего Булуга приговаривал провинившихся не к тюремному заключению, а к штрафу, из-за чего нередко между ним и охранниками происходили споры. Родственники арестованного обязаны были немедленно выплатить старосте денежный штраф.

Меня всегда удивляло поведение Булуги на суде. Отпуская обвиняемого на свободу, он вступал в конфликт с охранниками и подвергал себя опасности. Однако, несмотря на это, не мог упустить возможности выжать из односельчан деньги.

В тот вечер вся деревня собралась около неболь-

шого лесочка. На скамье подсудимых оказалось тридцать человек. Одни обвинялись в неуважительном отношении к властям, другие — в неповиновении, причем было неясно, в чем это выражалось, третьи — в подстрекательстве к бунту — в этом случае на сцене появлялся Малоло.

Малоло, морщинистому, с трясущимися руками человеку, было не больше пятидесяти, но он выглядел глубоким стариком. Он носил брюки и рубашку цвета хаки, как у охранников. В тот вечер Малоло против обыкновения не был пьян, отчего у него пропала обычная шумная развязность. Он растерянно переминался с ноги на ногу, и было видно, что он нервничает и неуверен в себе.

Мы знали подростков, которые обвинялись в поджоге его хижины. Это были два брата, вывезенные, как и мы, из Софиатауна. Их звали Тим и Гарри. Наша семья хорошо знала их отца, Артура Табу, работавшего на золотых приисках, пока ему не раздробило тележкой правую ногу. Как только они приехали в Пондоленд, они сразу пришли навестить родителей.

Артур Таба со своей женой Эммой и тремя младшими детьми стоял рядом с нами и с волнением ждал, когда очередь дойдет до Тима и Гарри.

Я не сомневался, что охранники потребуют самой высокой меры наказания, чтобы потрафить Малоло. Но вот как к этому отнесется Булуга?

Отец спокойно слушал, как староста приговаривал к денежному штрафу одного обвиняемого за другим. Обвешанный перьями и хвостами, он сидел в своем красном кресле, склонив к бумагам сонное жирное лицо.

Булуга только однажды удостаивал обвиняемого взглядом. А потом все время, пока охранники докладывали суть дела, сидел, уткнувшись в свои бумаги. Так же, не поднимая головы, он произносил приговор. Как только родственники клали на стол штраф, пухлые руки старосты сгребали деньги и они исчезали в складках его пышного одеяния.

Что он за человек, думал я. Вряд ли ему нравятся белые. Скорее он их ненавидит, но хочет удержаться у власти в деревне, потому что теперь это стало особенно выгодно. И прежде доходы старосты состояли из штрафов и налогов. Но по новому законодательству эти доходы резко возросли. Поэтому я считал, что Булуга оказывает сопротивление охранникам лишь до определенного предела, а в критический момент не будет настаивать на своем.

Он жил как бы в пустом пространстве между жителями деревни и охранниками. Его ругали и презирали. Одни говорили, что он предает свой народ из жадности, другие — что он слишком труслив, чтобы принимать справедливые решения. И те и другие угрожали ему отмщением.

Но было немало и таких, которые считали, что пусть лучше старостой будет Булуга, чем настоящий предатель, а его жадность в какой-то степени придает ему смелости, что тоже неплохо.

— Тим и Генри Таба, — выкрикнул охранник, стоявший у стола Булуги со списком в руках.

— Что они с ними сделают? — спросил со страхом Артур Таба. — Джон, что они сделают?

Отец не ответил. Он по-прежнему был невозмутим.

Подростки, держа руки в наручниках за спиной, медленно подошли к старосте. Малоло выскочил на площадку, приготовившись говорить, но Булуга рявкнул, чтобы тот убрался вон, и молча застыл в своем кресле.

— Это хороший знак, — сказала мать мальчиков. — Если Булуга долго молчит, значит, он не согласен с обвинением. Я много раз это замечала. Молчание старосты — хороший признак.

Булуга сердито махнул рукой. Охранник огла-

сил обвинение: Тим и Генри Таба преднамеренно и со злым умыслом сожгли хижину Даниеля Малоло. Они обвиняются в поджоге и саботаже, а то, что их выбор пал на хижину Малоло, свидетельствует о сознательном подрыве безопасности государства.

По мере того как он зачитывал обвинение, в глазах Артура Табы рос страх.

Охранник заключил:

— Я требую десяти лет каторжных работ.

Снова на площадку выскочил Малоло, но Булуга опять отправил его восвояси и погрузился в глубокое раздумье.

Это длилось так долго, что охранник, вынесший приговор, бросил на старосту злой взгляд, а его подручные недовольно уставились на безмолвствующего судью.

— Наверное, это хорошо, что он молчит, — сказала мама. — Значит, еще не все потеряно.

Тут раздался сердитый голос Булуги:

— Кто хочет говорить?

— Я, — закричал Малоло.

На этот раз староста не прогнал его, и Малоло принялся многословно и сбивчиво рассказывать, как он видел, что ребята втыкали горящие ветки в крышу его хижины, и при этом точно узнал

Тима и Гарри.

Толпа осуждающе загудела, но тут же умолкла. Люди не сводили глаз с Булуги. Сейчас он должен что-нибудь решить. По крайней мере, сказать «да» или «нет». Обычно он делал так: если был согласен с обвинением, кивал головой и буркал «да». Если же не согласен, ударял в ладоши и сердито говорил «нет».

Булуга сидел в красном кресле и, насупившись, смотрел на обвинение, которое держал в руке. Он размышлял, и мы с беспокойством думали, найдет ли он в себе мужество сказать «нет». Пора бы уж ему вынести решение. Однако дело было необычное. Подожгли не какую-нибудь хижину, а хижину Малоло. Наверное, староста раздумывал, не слишком ли далеко он зайдет, если отклонит обвинение.

Мы не спускали глаз с его рук. Он разведет их, если решит сказать «нет». Это мы знали хорошо и замерли в ожидании.

Он кивнул головой. Все сразу увидели это движение. Толпа испуганно охнула, и тут вперед выступил отец.

Он перешагнул веревку, отделявшую нас от площадки, на которой сидел староста, и сказал громко и отчетливо:

— Булуга, я прошу, чтобы меня выслушали как свидетеля по этому делу.

Соплеменники притихли и с испугом смотрели на него. Стало так тихо, что слышен был шелест листьев. Затем раздался гром аплодисментов и послышались выкрики:

— Джон! Да! Да! Говори за нас! Говори за нас!

Охранники бегали взад и вперед, стараясь утихомирить толпу. Один из них хотел арестовать отца, но Булуга закричал:

— Давай, Тугела! Мы тебя слушаем.

Двое охранников подскочили к Булуге, но он их прогнал, а другим приказал освободить отца. Когда папа вышел вперед и встал рядом с обвиняемыми, Булуга спросил Сердито и враждебно:

— Так что ты хочешь сказать?

Отец ответил:

— Я обвиняю Малоло в даче ложных показаний.

Охранник, оглашавший обвинение, завопил:

— Не забывай, кто ты есть!

Но Булуга остановил его и приказал отцу:

— Продолжай.

— Заявления Малоло лживы, — произнес отец. — Он не видел, кто вчера поджег его хижину, и просто так назвал этих ребят.

— В тюрьму его! — завизжал Малоло.

Повернувшись к отцу, он истерично закричал:

— Я посажу тебя в тюрьму.

Булуга спросил отца:

— Почему ты утверждаешь, что Малоло не видел, кто поджег его хижину?

— Малоло здесь всякий раз выступает свидетелем и заявляет: этот сделал то, а тот — это. Если бы он говорил правду, он должен был бы обладать даром одновременно присутствовать в разных местах.

— Да! Да! Да! — закричали односельчане.

Булуга изо всех сил стукнул ладонью по столу. Когда снова воцарилась тишина, отец продолжал:

— Малоло не работает, а денег на выпивку у него много. Он имеет машину. Я утверждаю, что Малоло получает деньги за дачу ложных показаний. Пусть он скажет, откуда у него деньги.

— Малоло! — сказал Булуга. — Откуда у тебя деньги?

— Накопил! — выкрикнул Малоло. — Я был в армии! А после армии дают пенсию.

— Но не тем, кого выгнали из армии, — оборвал его Булуга.

— Я уверен, — продолжал отец, — что Малоло

не видел, кто поджег хижину.

— Почему это я не видел? — взвизгнул Малоло.

— Если бы ты видел, то сразу назвал поджигателей и потребовал бы их наказать. Но ты этого не сделал. Когда все сбежались, твоя хижина уже почти сгорела, а ты метался вокруг нее и никого не называл поджигателем.

В толпе послышались одобрительные возгласы.

— Вполне понятно почему, — продолжал папа. — Потому что не знал, кто это сделал. И еще… Все видели, как этот человек, — отец указал на стоявшего позади него охранника, — поджег соседнюю хижину и сунул горящую головню Малоло, а тот поджег еще три дома.

— Это наказание они заслужили, — заявил Малоло.

— Если ты хотел наказать виновных, тогда логичнее было сжечь хижину поджигателей, то есть хижину этих двух ребят. Ты сделал это?

Малоло, открыв рот, беспомощно уставился на отца.

— Нет! Нет! — победоносно взревела толпа. — Он поджег хижину не Артура Табы. Смотрите, она стоит как ни в чем не бывало!

— Ты сжег три другие хижины, — сказал отец, —

которые были по соседству с твоей. Ты их поджег потому, что не знал, кто спалил твою. Просто хотел выместить каком-то злобу, а после этого еще решил и обвинить невиновных, Мы все отлично видели, как ты озирался по сторонам, а потом твой взгляд упал на ребят и ты закричал: «Это они!» Ты, слишком поздно спохватился, Малоло. Каждому уже было ясно, что ты не знал, кто это сделал.

Слушатели так бурно выражали свою радость, что охранникам стоило большого труда их усмирить, и только после того, как они выпустили несколько автоматных очередей в воздух, снова наступила тишина.

Отец повернулся к Булуге и проговорил:

— Вот что я собирался сказать. А теперь прошу вас решить, кто из нас говорит правду: Малоло или я.

Стало очень тихо, все смотрели на Булугу. Я взглянул на отца и подумал: он загнал старосту в угол. Тому не уйти от ответа. Сердце мое учащенно билось.

Булуга сидел неподвижно в своем красном кресле, втянув голову в плечи. Но на этот раз мне казалось, что его голова ушла в плечи глубже, чем обычно.

Не знаю, сколько бы он так просидел. Но тут к нему вплотную приблизился Малоло и закричал:

— Булуга, что ты с ними возишься? Почему мы не сажаем в тюрьму поджигателей и лжесвидетелей?

Этим «мы» Малоло, видно, хотел подчеркнуть свою причастность к решению суда. И тогда Булуга развел ладони. Он еще не успел хлопнуть, как раздались громкие радостные крики. Люди зааплодировали, бросились вперед и окружили папу и двух братьев.

Охранники пробовали их сдержать, крича и угрожая автоматами, но их крики потонули в восторженных возгласах.

Мы видели, как Булуга, собрав бумаги и ни на кого не глядя, угрюмо зашагал к своей хижине. Один из охранников, выкрикивая ругательства, хотел преградить ему путь, но Булуга резко оттолкнул его.

Мама стояла и с восторгом и нежностью смотрела на отца. Ее глаза горели. О, как они сверкали…

Окруженные толпой, к отцу подошли Артур Таба и его жена Эмма. Они плакали от счастья. Артур старался скрыть слезы, лицо его судорожно дергалось, и он не мог вымолвить ни слова.

— Джон, проси у меня всего, чего хочешь. Я готов служить тебе всю жизнь.

Эмма схватила сыновей и прижала их к груди. Со всех сторон к отцу подходили люди, чтобы пожать ему руку. Он с трудом выбрался из толпы.

Это был прекрасный вечер. Всех нас, жителей одной деревни, связывали в тот вечер узы взаимной симпатии, которая согревала и ободряла людей.

Радость заглушила тоску и страдания, теперь никогда нас не покидавшие. Так, дети, вернувшись после каникул в колледж, играют и смеются с товарищами, а в душе у них боль разлуки с родным домом. Да, это было прекрасно! Отец спас Тима и Гарри, Артур и Эмма были счастливы, а мы окружены любовью и благодарностью. И все же мы не испытывали настоящего счастья. Его не было 6 наших сердцах. Мы с тревогой спрашивали себя, что означают перемены в отце, его необычная твердость и непримиримость.

На следующий день жители деревни были потрясены известием о смерти Булуги. Разнесся слух, что один из охранников зарезал его ночью в постели.

Потом стали говорить, что Булугу действительно убили, но не дома, а где-то за деревней, а тело

рано утром принесли в хижину. Он якобы решил бежать на одной из машин охранников, но те погнались за ним на другом «джипе», настигли и убили. Однако Жакубу, слуга Булуги, рассказывал, что один «джип» всю ночь простоял на месте, а тот, на котором уехал староста, так и не вернулся. Труп хозяина привезли на маленькой черной машине, на которых в Бизане ездит полиция.

Эту машину мы видели, когда утром шли на работу в каменоломню.

Только вечером мы узнали, как действительно было дело. Оказывается, Булуга, чтобы обмануть охранников, подослал к ним сына и велел сказать, что в конце деревни собрались какие-то неизвестные. А сам тем временем с помощью жены и детей перекатил машину в противоположный конец деревни и только там завел мотор.

Когда поздно вечером вернулась семья Булуги, жена рассказала, что по дороге в Бизану на них напали повстанцы с гор. Они отобрали машину, а Булугу убили, потому что он не хотел отдавать свой чемоданчик с деньгами. В деревне знали, что у старосты в хижине был тайник, где он хранил много денег.

Странная судьба! Булуга рисковал жизнью, выступив на суде против охранников, но убили его

не они, а односельчане. Он жертвовал жизнью, доказывая свою верность народу, а погиб, защищая, словно сумасшедший, свой чемоданчик с деньгами.

Через три дня вечером в деревню прикатил автомобиль, сопровождаемый грузовиком с белыми солдатами. За рулем автомобиля сидел один из охранников.

Они остановились у лесочка. Двое белых в военной форме вышли из машины, за ними вылез черный в темно-синем костюме. Сначала мы не узнали его, а потом разглядели, что это Мбеле, высокий, надменный охранник, обычно державшийся особняком.

Вместе с белыми Мбеле вошел в пустовавшую теперь хижину Булуги. Семья старосты переехала в другой дом в конце деревни. Солдаты с автоматами в руках и в шлемах остались сидеть в грузовике.

К нам пришли два охранника и забрали отца, сказав, что в пять часов будет суд.

Снова вся деревня собралась у лесочка. Двое белых и Мбеле вышли из хижины и сели за стол на том самом месте, где Булуга обычно вершил суд. В отдалении между двумя охранниками я увидел отца и братьев Таба. Все трое были в

наручниках. Рядом со столом стоял охранник с длинной кожаной плеткой.

Оба белых были невысокого роста, приземистые, со светлыми волосами и маленькими холодными глазками на каменных, равнодушных лицах.

— Я судья Ван Хаарен, — сказал белый, сидевший в середине. — Это Якоб Далман, военный юрист, а это, — он указал на охранника в темно-синем костюме, — Вильям Мбеле, ваш новый староста.

По толпе прокатился глухой ропот.

— Требую тишины! — крикнул судья резко.

Затем, указав на двух человек в первых рядах, произнес:

— Тебе и тебе по десять плетей за нарушение порядка. Привести в исполнение.

Несчастных схватили и подвели к судье. Охранник с плеткой сорвал с них одежду и каждого наградил десятью ударами.

Судья подождал, пока эта процедура кончится, и вызвал:

— Тугела.

Толпа со страхом смотрела, как отца подвели к судье.

— Ты Джон Тугела? — спросил судья.

— Да, — ответил отец.

— Ты обвиняешься в том, что незаконно мешал проведению судебного заседания в этой деревне, лживыми показаниями ввел судью в заблуждение, повлиял на приговор и оклеветал честного свидетеля.

Отец хотел возразить, но судья заявил, что он должен молчать. Когда же отец все-таки заговорил, охранник по приказу судьи ударил отца плеткой по лицу.

— Палач! — раздалось в толпе.

Я узнал голос Артура Табы.

— Кто это сказал? — спросил судья. — Выходи вперед!

Он подождал немного, а потом приказал:

— Пока человек, который выкрикнул оскорбление, не выйдет, бейте их плеткой, — и показал на Тима и Гарри.

— Я, — крикнул Артур Таба, выбираясь из толпы. — Это сделал я.

— Повесить, — коротко бросил судья.

На площадку с веревкой в руках вышел охранник. Он перекинул конец с петлей через сущ на котором был повешен Джимми, а другой конец веревки обмотал вокруг ствола.

На Артура надели наручники и потащили к

дереву.

Раздался душераздирающий крик Эммы. Побледневший от страха Артур упирался, но охранники подняли его, накинули на шею петлю и отпустили. Повешенный еще корчился в судорогах, а судья, у которого не дрогнул ни один мускул, ткнул пальцем в Тима и Гарри и спросил отца:

— Это те два парня, которые были осуждены за поджог хижины Даниеля Малоло?

Тело Артура Табы наконец перестало дергаться.

— Убийца! — закричала в толпе молодая женщина, младшая сестра Эммы.

Она выбежала вперед и повторила:

— Вы не судья, вы убийца! В другой стране вас приговорили бы к пожизненному заключению.

— Раздеть ее, — рявкнул судья и, показав на ее соседку, которая что-то шептала на ухо мужчине рядом, добавил: — Ее тоже.

Раздетых догола женщин привязали к дереву. Каждая получила по десять ударов плеткой. Потом он дал знак, чтобы их так и оставили стоять голыми. Воцарилась такая тишина, что голос судьи был отчетливо слышен в самых последних рядах. Судья повторил отцу свой вопрос.

— Да, — ответил отец с волнением в голосе. — Это то юноши, — начал он. — Я повторяю, что они…

Но судья оборвал его:

— Нам ясно, что они виноваты в умышленном поджоге. Я приговариваю их к десяти годам каторжных работ. Там они будут под присмотром опытных надзирателей. Уведите их.

Затем он обратился к отцу:

— Ты готов признать нового старосту?

— Нет, — ответил отец. — Этого человека мы не выбирали. Он не может быть главой нашей деревни.

— Будешь сидеть в тюрьме до тех пор, пока не признаешь нового старосту и не преподнесешь ему в знак своей покорности подарок. А сейчас получи двадцать ударов плеткой.

Затем, не дав никому слова, он продолжал:

— Следующий вопрос. Недавно ночью состоялось тайное сборище, на котором один человек призывал к бунту. Как стало известно, на этом сборище присутствовали следующие лица.

Пока охранник срывал с отца рубашку и избивал его плеткой, судья назвал десять имен, среди которых было и мое. Он приказал нам выйти вперед и осудил каждого к двадцати ударам плеткой

и шести месяцам тюрьмы.

Одного за другим нас пороли плетью, а судья тем временем разбирал еще тридцать дел, по которым Булуга вынес оправдательные приговоры. Теперь судья приговорил каждого к телесному наказанию, а многих, кроме того, и к тюремному заключению.

И, наконец, последнее дело касалось двух парней, которых объявили лазутчиками бунтовщиков, скрывавшихся в горах. Юноши были приговорены к смертной казни и повешены на том же дереве, что и Артур Таба.

На этом заседание суда окончилось, и белые направились к автомашине. Мбеле — наш новый староста — открыл перед ними дверцу, и машина в сопровождении грузовика с солдатами в шлемах отбыла из деревни, односельчане — мужчины, женщины и дети — застыли на месте, словно окаменевшие.

Их взору предстала страшная картина. На дереве болтались трое повешенных с поникшими головами, рядом были привязаны две обнаженные окровавленные женщины, рыдавшие от боли и стыда. Безутешно плакала Эмма Таба, у которой не было больше мужа и которая вряд ли увидит своих сыновей. К ней испуганно жались

малыши с широко раскрытыми, полными ужаса глазами.

Мы снова стали жертвой чудовищного произвола.

Отныне нам не на что было надеяться, негде искать спасения, потому что мы были людьми без крова и родины.

ГЛАВА XVI

Маме удалось съездить к Абелю Тсомо, и благодаря его вмешательству нас с отцом выпустили из тюрьмы через две недели. Староста Мбеле был очень зол, но ничего не мог поделать.

На следующее утро нас впервые не погнали на принудительные работы, и я смог поехать в Бизану и поговорить по телефону с пастором своего колледжа. Церковный совет поручил мне объехать Пондоленд и где можно оказать помощь переселенцам. В Умтате мне выдали специальный паспорт, позволявший свободно ездить по деревням.

В одной из них я однажды услышал о человеке по имени Джессе Пондо. Не о моем ли брате Джессе идет речь, подумал я. Впрочем, он никогда себя так не называл и никто в нашей семье, кроме мамы, не прибавлял к своему имени название племени. И все же во мне зародилась надежда, что это мой брат, потому что имя Джессе Пондо было упомянуто в связи с диверсией.

Говорили, что «черные партизаны» в южном Трансваале взорвали высоковольтную линию передач и оставили без электричества шесть фаб-

рик. Руководителя группы звали Джессе Пондо. Когда я спросил человека, рассказавшего мне об этом, кто такой Джессе Пондо, он ничего не смог ответить.

Спустя несколько недель я узнал, что это действительно наш Джессе. Вот как это произошло. Я приехал в Питермарицбург, чтобы забрать там в колледже французских миссионеров лекарства, которые предоставляли жителям Пондоленда общество Красного Креста и другие организации. Я уже не впервые выполнял такое задание, тайно перевозя лекарства через границу Пондоленда.

На этот раз в миссии собрались представители различных церквей для обсуждения программы «специального образования для черных».

С восхищением и волнением слушал я выступления представителей католической церкви, которые отвергли эту программу и в своих школах на собранные средства обучали африканцев по той же программе, по какой обучают белых.

Голландские реформатские церкви открыто защищали апартеид, что дало повод для жарких дискуссий. Другие церкви придерживались компромиссной точки зрения. Они принимали правительственную программу как временную, ссылаясь на финансовые затруднения, которые

препятствуют им осуществлять полноценное обучение черных, и уверяли, что «эти трудные времена скоро минуют».

Выходя после дискуссии из зала, я, к своей огромной радости, столкнулся в дверях с Яном ван Баарле.

Он строго оглядел меня с ног до головы и спросил:

— Вас всех тоже запихнули в одну хижину?

— Да.

Я рассказал, почему оказался здесь, и Ян предложил подбросить меня на машине до границы Пондоленда. Это было очень кстати, так как я мог взять с собою больше лекарств. Я поведал ему, как погиб Джимми и какую зверскую расправу учинила с Артуром Табой и другими жителями нашей деревни. Он слушал, опустив плечи, вцепившись в руль автомашины так, что побелели пальцы.

— Они не могут вести себя пристойно, — сказал он глухим голосом. Его глаза увлажнились. — Вы были такими, какими вам не положено быть. Хорошими людьми, которые упорным трудом обеспечили себе приличное существование, любили друг друга и умели жить счастливо и весело. Это их не устраивало… Я восхищаюсь мужеством

твоего отца.

Потом он огляделся по сторонам и сказал:

— Если хочешь, я устрою тебе встречу с Джессе.

Я оторопело уставился на него.

— Ну, хочешь? — переспросил он.

— О да! Конечно!

— Тогда мы это сделаем.

— Я слышал о каком-то Джессе Пондо в связи со взрывом линии передач.

— Это он. Я постоянно переправляю к нему людей.

— Куда?

— В Басутоленд. Если подождешь дня два, поедешь туда вместе с Пьером.

— Пьер помогает Джессе?

— Да. Они работают вместе. Пьер поехал в Европу собрать деньги для повстанцев. Вернется со дня на день, и тогда вы вместе отправитесь в Басутоленд.

— Ты говорил о повстанцах. Ты имеешь в виду партизанское движение?

— Да, Джессе — один из его руководителей. Он всегда был сторонником решительных действий.

— Пьер давно работает вместе с Джессе? —

спросил я, когда мы въехали в город:

— Сразу после смерти Сандры. Ты же знаешь об этом?

— Да, мы получили от него письмо.

Странно было представить застенчивого, мягкого Пьера участником партизанского движения.

— Расскажи, о чем у вас шел разговор в миссии, — попросил Ян, — чтобы я мог написать статью, которая «не противоречила бы установкам правительства» и с разрешения цензора была бы напечатана в газете, достойной лишь того, чтобы выбросить ее в мусорный ящик. А потом я напишу статью, которая непременно будет противоречить официальной точке зрения и которую я пошлю через Дар-эс-Салам в приличную газету. Наверное, эти воинствующие протестанты были похожи на инквизиторов, сурово взирающих на казненных еретиков?

Я не ответил. Мы подъезжали к центру города, и я нет уверенно спросил:

— Может быть, мне спрятаться, сесть на пол?

— Будь моя воля, я подложил бы под тебя две подушки, чтобы каждый видел, что я еду через Питермарицбург с черным. Но, — добавил он с горечью, — здешние жители не желают видеть

чернокожих. Спрячься, пускай они полюбуются на физиономию благопристойного стопроцентного белого. Знаешь, что теперь повсюду говорит Фервурд?

— Что?

— Какая прекрасная жизнь наступила в Претории, когда на улицах не стало черных, а у его жены нет черных слуг! Он все пытается доказать, что белые могут обойтись без помощи негров.

Ян рассказал мне, что в ЮАР его долгое время не печатали. Но это пустяки, поскольку главное для него — те статьи, которые он тайно переправляет в Нидерланды и публикует под псевдонимами.

Ян сильно изменился. Стал более воинственным. Прежде он восторгался тем, что черных бьют кнутом, а они даже не сопротивляются, а теперь с усмешкой говорил о простаках, которые верят, что разговорами можно чего-то добиться.

Многие из его друзей, в основном журналисты и писатели, приходили на квартиру, где мы с ним жили, и расспрашивали о Пондоленде.

Однажды вечером появился Билл Хорман. Он постарел, стал еще мрачнее. Весь вечер он просидел рядом со мной, слушая мой рассказ о нашей семье. Он расспрашивал и о повстанцах в Пондоленде, много записывал, но то и дело возвращался

к злоключениям нашей семьи. Ему хотелось знать все до мельчайших подробностей.

В его взгляде появилась какая-то неуверенность, чего раньше не было. И говорить он стал не тем решительным тоном, каким говорил прежде. Когда я умолк, он долго сидел понурившись и смотрел в пространство отсутствующим взглядом.

От Яна я знал, что Джессе после своего отъезда из Йоханнесбурга сначала поселился в Бечуаналенде, «чтобы исчезнуть», а потом отправился в Басутоленд, где организовал центр партизанского движения, который руководил повстанцами по всей стране.

Я вспомнил все то, что Джессе говорил перед отъездом о необходимости восстания, о насилии. Тогда его слова пугали нас, а его планы казались фантастическими и не воспринимались всерьез. И вот теперь они осуществились.

Как выяснилось, у Яна ван Баарле в Йоханнесбурге был фургончик с тайником позади шофера. В этом закутке могли поместиться два человека, если они сидели, поджав ноги. В своем фургончике Ян регулярно перевозил в Басутоленд хорошо проверенных парней для партизанских отрядов. Отправляясь в поездку, он загружал фургон мебе-

лью на случай проверки в Йоханнесбурге или на пограничных пунктах Басутоленда.

За погрузкой мебели следил веселый, двухметрового роста молодой зулус, который уже несколько лет работал с Яном в качестве связного. Он считался слугой, но они с Яном по очереди готовили себе еду, чистили ботинки. Молодого зулуса звали Дингаан.

Шофером был англичанин Ральф Питерс, студент Витватерсрандского университета. На всякий случай он надевал форму водителя — голубой комбинезон, а рядом с собой клал ремень для переноски мебели.

Через два дня после нашего приезда в Йоханнесбург я наконец увиделся с Пьером.

Внешне он изменился мало. Его взгляд попрежнему был мягким и приветливым, глаза осветились радостью, когда он меня узнал. Он никогда бурно не выражал своих чувств, но при виде друзей его лицо озаряла добрая счастливая улыбка.

Когда я рассказал про Джимми, он побледнел. Стал говорить еще тише, чуть дрожащим голосом, в котором, однако, не было ненависти или мести. Пьер не ожесточился, он так и остался добрым, мягкосердечным человеком.

Пьер не спал двое суток. Переправляясь ночью через Лимпопо на границе с Родезией, он натолкнулся на патрулей и целый день и ночь вынужден был прятаться в гроте. Ему надо было отдохнуть, поэтому мы выехали только на следующий день утром.

Когда мы с Пьером забрались в свое укрытие, Дингаан поставил между нами корзину со съестными припасами, а Ян протянул плоскую фляжку с водкой. Он всегда носил ее с собой в кармане.

— Я, как истинный голландец, не мыслю поездки без бутылочки водки, — улыбнулся он.

Дингаан пошутил:

— Если я выпью ее один, могу взлететь в воздух как ракета.

Ральф Питерс, повернувшись к Яну, произнес:

— Злись сколько угодно, но я сделаю два круга вокруг здания Верховного суда. Не могу отказать себе в этом удовольствии.

Ян сунул к нам голову и пробурчал:

— Надеюсь, вы не будете болтать так громко, что вас услышат прохожие на тротуаре.

— Пусть лучше поменьше говорит Ральф, — вмешался Дингаан. — А то он может так испортить вам настроение, что даже я вас не развеселю.

— А ты что встреваешь? — разозлился Ян. — В

следующий раз останусь в Басутоленде. Пусть кто-нибудь другой околевает в этой подлой стране.

— Не ворчать! За работу! — выкрикнул Дингаан, громко рассмеявшись, и похлопал по стальной перегородке нашего тайника.

Пьер закрыл изнутри засов, и мы услышали грохот задвигаемой в кузов мебели.

Наконец захлопнули дверь, Дингаан постучал по кабине водителя и прокричал:

— Поехали!

— Передайте Джессе, — услышал я раздраженный голос Яна, — что я перееду в Басутоленд и на все, что здесь происходит, мне будет наплевать.

— Непременно передам, — невозмутимо ответил Пьер. — Веди себя хорошо, старина.

Ян что-то пробурчал в ответ.

Когда мы отъехали, я спросил Пьера:

— Что происходит с Яном?

— Он сомневается, — сказал Пьер тихо, — Он должен верить в то, что делает. А он сомневается. Всем нам говорит, что разочаровался в мирных средствах борьбы, что без насилия ничего не достигнешь. Но сам так не думает. Он не верит в насилие и все же помогает Джессе. Уверяет, что необходимы диверсии, и читает Евангелие.

— Но почему все-таки он помогает Джессе?

— Потому, что не видит другого выхода. Он безуспешно ищет его и не может найти. Иногда сутками живет только на кофе и сигаретах.

— А ты, Пьер, веришь, что с помощью насилия можно чего-нибудь добиться?

Он долго молчал, потом ответил:

— Я не знаю. Иногда мне кажется, да, иногда нет. Но я вряд ли смогу убить человека. В ту ночь, когда я бесцельно петлял по горным дорогам с телом Сандры, я вдруг подумал о Джессе. Я знал, что он в Басутоленде, и вспомнил, что там есть самое красивое место в мире. Я поехал туда.

— С Сандрой?

— Да. Она тоже там, наверху.

В нашем тесном укрытии было темно. Щель в полу, через которую поступал воздух, была слишком мала и почти не пропускала света. Мы сидели в темноте, близко друг к другу, а машина тем временем миновала город.

— Странно, но когда приезжаешь после некоторого отсутствия в ЮАР, всегда выдается хороший солнечный день, — задумчиво проговорил Пьер. — Так было и тогда, когда я снова сел в свою машину в Бейт-Бридже. Я увидел, как прекрасна эта страна, бескрайняя, солнечная, точно сошедшая с рекламных проспектов. Кажется, что

она населена людьми, которые любят природу. Но на самом деле это страна не ясного неба и красочных достопримечательностей. Эта страна насилия и беззакония, где позорнейшим образом унижают человеческое достоинство. Здесь люди хладнокровно, с каменным выражением лица издеваются над миллионами других людей и не задумываются, имеют ли они на это право. Они просто берут его силой, ничего не желая упустить. Они не могут смотреть собеседнику в глаза. Они занимаются спортом, пьют и принимают наркотики, чтобы заглушить свой страх. Но есть такие, которые выступают против апартеида и заявляют об этом открыто. Другие же предпочитают молчать и ждать лучших времен. А потом многие из них, когда придут эти лучшие времена и по всему миру будут показывать фильмы о резервациях и лагерях для негров, скажут, что они ничего не знали. Но это ложь. Они знали все.

— Однажды, — продолжал Пьер, — мы с Сандрой поехали навестить вашего дядю, который жил за рекой Вааль на собственной маленькой ферме.

— Дядю Юлиана? — спросил я изумленно.

— Да.

— Я не знал, что вы были у него.

— Ты тогда гостил в Дурбане. Мы провели на ферме полдня, а возвращаясь, сделали крюк, чтобы покупаться в небольшом озере, которое так нравилось Сандре. Она плавала великолепно.

— Да, знаю, — подхватил я, вспоминая, как мы наперегонки переплывали реку и Сандра всегда первой оказывалась на том берегу. Ее розовый купальник уже виднелся на песке, когда я, отплевываясь и фыркая, подплывал к берегу, Она, смеясь, говорила, что я похож на тюленя. А я называл ее дельфином.

— В тот день на ней тоже был розовый купальник, — сказал Пьер. — Стояла жара, и мы поливали гальку водой, чтобы на ней можно было лежать. Сандра взяла коричневый камешек и подняла его над головой. Он темнел на фоне голубого неба. «Посмотри, как хорошо сочетаются цвета — голубой и коричневый, — сказала она. — Если мы когда-нибудь будем жить вместе, в нашем доме я сделаю такие шторы». Ее голова касалась моей. Я видел ее красивые смуглые руки, прекрасные миндалевидные глаза, в которых не было печали. Она смеялась, глядя в небо. И все же она сказала: «Если мы когда-нибудь будем жить вместе…» Она умела говорить печальные вещи с улыбкой. Потом она повернулась ко мне

и стала пристально разглядывать мое лицо. Она говорила, что изучает каждую морщинку, каждую веснушку. Она касалась пальцами моих век, щекотала ухо. Это был прекрасный день. На обратном пути мы сбились с дороги и поднялись на вершину холма. Перед нами простиралась широкая голая долина, вдали виднелись правильные ряды хижин, а в конце долины стояло несколько серых прямоугольных домиков. Через три месяца после гибели Сандры я снова переезжал реку Вааль, и мне хотелось увидеть то озеро. Я его нашел, но как все вокруг переменилось! Ничего не осталось от прежнего тихого прелестного местечка. На берегу построили гостиницу и пристань с лодками, которые сдавались напрокат. Это уже не было наше озеро. Я уехал прочь, решив заглянуть в долину и посмотреть, сколько там осталось хижин. Раза два полиция останавливала меня, но все-таки я добрался до вершины холма. Вся долина с близлежащего холма до горизонта была усеяна серыми бараками. Казалось, пыльная, грязная паутина окутала окрестности. Сторожевые башни по краям долины напоминали мрачные рыцарские замки или вышки Бухенвальда. Давид, тебе приходилось видеть такие поселки?

— Да, нас привезли в такой поселок из Софиатауна, а потом отправили в Пондоленд, потому что мы не захотели работать на шахте.

— Я стоял со сжавшимся сердцем и смотрел на долину. Никто в Европе не знает об этом, думал я. Ни в рекламных проспектах бюро путешествий, ни в брошюрах и журналах не встретишь упоминания о подобных поселениях африканцев. Они не обозначены ни на одной карте, к ним не указаны дороги. Вот тут и начинаешь думать, стоит ли применять насилие или нет.

— Как дела у тебя на родине?

— Ты знаешь, что мы, фламандцы, всегда любили Африку буров. Другой Африки мы не знали. Мы с удовольствием поем «Сари Марейс»[38], в юности мы мечтали стать открывателями новых земель, отважными путешественниками, которые сражаются с кровожадными дикарями. Крюгер[39] и Девет[40] были для нас такими

---

[38] Примечания: 38

«Сари Марейс» — популярная патриотическая песня буров.

[39] Примечания: 39

Пауль *Крюгер* (1825—1904) — президент бурской Трансваальской республики в 1883—1902 годах.

[40] Примечания: 40

Христиан *Девет* (1854—1922) — известный бурский генерал времен англо-бурской войны.

же героями, как Артевельде[41] и Ян Брейдель. Борьбу против англичан мы отождествляли со своей борьбой против французских завоевателей. Многие фламандцы объявили буров нашими кровными братьями с южного полуострова Африки. Они организовывали встречи и вечера, овеянные романтикой первопроходцев. В Бельгии нам приходилось бороться за сохранение собственного языка, поэтому мы всегда поддерживаем тех, кто отстаивал свою национальную культуру, например басков в Испании или буров в Южной Африке. Но я не понимаю, как можно приветствовать апартеид или хотя бы умалчивать о нем только потому, что буры говорят по-голландски? Мы радовались победе буров на выборах в тысяча девятьсот сорок восьмом году после пятидесятилетнего, британского господства в Южной Африке. В предвыборную борьбу мы не вникали. Нам казалось, что речь идет только о голландском языке в голландской культуре. Но речь шла совершенно не об этом. Буры выиграли потому, что они обещали вместо осторожной политики англичан проводить по

[41] Примечания: 41

Якоб *Артевельде* (ок. 1290—1345 гг.) — богатый купец-суконщик, возглавивший в 1338 году восстание сукноделов в г. Генте против графа Фландрии.

отношению к черным более жесткую. Если мы не примем мер, говорили они, черные заполонят всю страну. Мы хотим поставить их на место. Так говорили буры, и они получили большинство. Многие фламандцы этого не знали. Они думали, что борьба буров и англичан в ЮАР своего рода Битва шпор.

— Зубастый и когтистый лев Фландрии! Помнишь, как мама восхищалась этой книгой?

— Да, — грустно сказал Пьер. — Это было хорошее время. Время, когда мы все были счастливы и полны надежд…

Он умолк, потом прошептал:

— Кажется, что это было сто лет тому назад…

Пьер закурил, выпуская дым в щель. Облачко дыма какое-то время кружилось над полом, а потом его подхватывал ветер и уносил под машину. Помолчав, Пьер продолжал:

— Я не знаю, хочу ли я быть непосредственным участником повстанческого движения. Иногда мне кажется, что это единственный способ для белого жить не стыдясь. Но так я думаю не всегда, потому что повстанец должен уметь убивать, а я вряд ли смогу это сделать. В ночь, когда мы с Яном вошли в тюрьму, чтобы забрать тело Сандры, я хотел убить подлых насильников, но остановил

себя, сказав: «Умереть — не самое страшное, страшнее — жить без чести». Я в это верю. Но я не могу заставить в это поверить других.

— Может Джессе убивать?

Наступило короткое молчание.

— Да, — ответил Пьер. — Он может.

— Ты ответил не сразу.

— Он может. Но это причиняет ему страдание.

— Он уже убивал людей?

— Да.

Мы ехали несколько часов. Четыре раза нас останавливали, проверяли у шофера документы и осматривали кузов машины, а один раз даже заставили выгрузить часть мебели.

После полудня мы остановились и, вытащив из фургона стулья и стол, устроили пикник на берегу небольшой речки. Потом снова двинулись в путь.

Через некоторое время, когда я услышал под собой глухой рокот, Пьер сказал:

— Это мост через реку Моой. Сейчас дорога пойдет на Химевиль. Из Наталя в Басутоленд можно проехать только через Санипас. Но дорога там такая крутая, что придется пересесть на «джип» с цепями на всех четырех колесах.

В то время Басутоленд был еще британским

протекторатом. Административные центры были расположены на западе страны, и их влияние не доходило до восточных горных районов, где жил гордый, свободолюбивый народ басуто, практически не признававший власти губернатора.

Граница между ЮАР и Басутолендом проходила высоко в горах. Там не было пограничных постов, потому что горные вершины были почти неприступны.

— Мы проедем еще две мили, — сказал Пьер, — а дальше пойдем пешком. Перевалим границу по дороге на Санипас, зайдем к старику Матье и возьмем «джип». Там нам грозит только встреча с английским патрулем, но я надеюсь, что мы ее избежим.

Он рассказал мне о старом французе Матье, который носил повстанцам в горы одежду и боеприпасы.

— Носил? — переспросил я.

— Да. Он мертв. Нет, его не убили. Он просто умер. Ни англичане, ни власти ЮАР и не догадывались, что он помогает повстанцам. Он был застенчивый, добрый старик, великолепный рассказчик. Я однажды совершил с ним двухнедельный переход через перевал. Вместе с нами шли несколько горцев, и на ночь мы останавлива-

лись в басутских деревнях. Многие горцы живут в пещерах. В горах пещеры надежно спасают людей от холода и непогоды. Но есть в деревнях и глиняные хижины, которые басуто украшают рисунками. Старый Матье был верным другом горцев. Его повсюду знали и встречали как почетного гостя. Ему было восемьдесят шесть лет, когда он умер. Сильвия, его племянница, которая теперь живет в его хижине, рассказывала, что за несколько часов до смерти он еще работал в саду. Я очень рад, что его так и не схватили. Старый шутник, он любил эти дикие горы. Однажды с карманами, полными гранат, переходя дорогу, которую охраняли южноафриканские солдаты, он достал из кармана яблоко и протянул офицеру. Тот, решив, что карманы старика оттопыриваются от яблок, сделал знак солдатам пропустить его. «Когда-нибудь я привезу вам пушку, — сказал нам старый Матье. — Я сяду на нее верхом, привяжу к ногам шпоры, и они подумают, что я скачу на лошади». И он начинал хохотать во все горло, пока его, старого курильщика, не одолевал приступ кашля. Тогда все должны были хлопать его по спине. Никто из нас не знал его полного имени. Только когда он умер, на могиле под маленьким крестом я прочел его полное имя: Луи

Бернар Матье Жентиль.

Наступил вечер. Фургончик Яна натужно гудел, поднимаясь в горы. Пьер сказал:

— Мы прибыли.

Через несколько минут машина остановилась, и я услышал, как Ральф открыл заднюю дверцу и стал выгружать мебель. Мы стояли во дворе фермы. Его хозяева, англичане, приветливо поздоровались с нами. Мужчину звали Сэм Вилей. Он был высокий и худой, а его жена, Дороти, оказалась маленькой толстушкой. Во время гражданской войны в Испании Сэм сражался в интернациональной бригаде против Франко. Дороти была там медицинской сестрой. Потом они уехали в Кейптаун, где брат Сэма торговал фруктами. Из Кейптауна перебрались в Дракенсберг и построили там ферму.

— Они были первыми, кто стал помогать Джессе, — сказал Пьер.

Когда я спросил, много ли белых сотрудничают с Джессе, он ответил:

— Конечно. Я думаю почти столько нее, сколько и черных.

Это здорово, подумал я. Папе с мамой это тоже понравилось бы.

Мы переночевали у Сэма и Дороти и на сле-

дующее утро на рассвете через ущелье пешком двинулись в горы. Сэм провожал нас до границы, и, когда он карабкался по скалам, в кармане его брюк отчетливо вырисовывались контуры пистолета.

Мы шли два часа, затем Сэм указал на желтый столб рядом с нами и сказал:

— Это пограничный столб.

Мы поднимались вверх еще около часа, пока не вышли на широкое плато, с которого открывался великолепный вид на горы. Здесь и стояла хижина старого Матье.

Нас встретила Сильвия, немолодая радушная женщина. Она угостила нас молоком, хлебом и сыром. Потом мы пошли к могиле старого Матье, небольшому холмику с деревянным крестом.

— Он любил горы, — сказала Сильвия. — Бывало, утром, как только проснется, распахнет окно и не закрывает его до позднего вечера. Поэтому я и похоронила его посреди гор.

Когда мы вернулись к хижине, Сильвия открыла ворота в пристройку. Там стоял «джип».

И вот мы снова в пути. По дороге Пьер рассказал мне:

— Сильвия живет на этом плато совсем одна. Раз в месяц она ездит на «джипе» в ближайшую

церковь и сразу же возвращается домой. После смерти старика Матье она доставляет нам продовольствие и одежду. Английские солдаты, проезжая мимо ее дома, останавливаются и пьют у нее чай.

Каменистая дорога поднималась все выше и выше в горы.

— Что будет, если мы встретим англичан?

— Шанс очень невелик. Они почти здесь не бывают. А если и появятся, то мы увидим их за много миль впереди. Дорога вьется вон там вдали по склону. Пока они подъедут, ты спрячешься среди скал, а я достану корзину для рыбы и сделаю вид, что ищу горное озеро, где водится форель.

В багажнике «джипа» лежало рыболовное снаряжение, пара резиновых сапог и спортивный костюм.

— Опасаться надо только самолетов, — продолжал Пьер. — В особенности принадлежащих частным лицам. У многих состоятельных буров есть самолеты, на которых они летают низко и медленно. Воинские части тоже имеют подобную авиацию. Но не беда. Если в воздухе покажутся самолеты, мы поставим машину возле самой скалы и прикроем маскировочной парусиной.

Вокруг нас в первозданном хаосе громоздились

величественные горные цепи. Одни вершины были округлые, другие, словно острые шпили с причудливо иссеченными дождем и ветром гранями, вонзались в небо. И цвета они были разного: от светло-желтых до терракотовых.

Дождевые потоки промыли в мягких породах, слагавших скалы, бесчисленные ущелья и гроты, превратив этот высочайший в Южной Африке горный массив в естественную крепость, которая грозно встала на пути буров и остановила их неуклонное продвижение на север. Горы защитили народ басуто от вторжения буров, не смогли басуто покорить и англичане. И по сей день гордится этот мужественный горный народ тем, что никогда не был повержен силой оружия.

Мы долго ехали в молчании. Затем Пьер сказал:

— Теперь я покажу тебе могилу Сандры.

Между причудливо нагроможденными друг на друга валунами машина свернула к пещере. Там в просторном, изумительной красоты гроте я увидел холмик, прикрытый большими камнями.

Пьер показал на темно-розовые стены грота и проговорил:

— Она любила розовый цвет.

Он говорил приглушенно, как обычно говорят

в церкви. Я молча стоял перед продолговатым холмиком, не в силах вымолвить ни слова.

Пьер откатил несколько камней, потом поднял и перевернул гранитную плиту.

На ней были выбиты слова:

«САНДРЕ, ДОЧЕРИ МАМЫ ПОНДО И ДЖОНА ТУГЕЛЫ. Я ЛЮБИЛ ЕЕ».

Я зарыдал, закрыв лицо руками, встал на колени и поцеловал плиту.

Потом мы долго сидели над холмиком и говорили вполголоса.

В глазах Пьера стояли слезы, руки дрожали, но он не плакал.

— Теперь у меня нет нужды избегать воспоминаний, — сказал он. — Я думаю о Сандре без прежней боли. Воспоминания о счастливых днях, проведенных с ней, согревают и утешают меня. Когда она умерла, мне казалось, я этого не перенесу, но со временем на место боли пришло в душу безразличие. Я был опустошен и, стараясь защитить эту пустоту, окружил себя каким-то туманом безразличия. Но как под лучами солнца осенью рассеивается туман, так и мое безразличие стало постепенно таять, и воспоминания приходили ко мне, не вызывая боли. И теперь мысли о Сандре

не покидают меня ни днем, ни ночью.

Он повернулся ко мне и спросил:

— Ты помнишь тот день, когда я увидел Сандру в первый раз? Ты был тогда с нами.

— О да! Конечно, — ответил я, превозмогая боль.

— Митинг в Софиатауне… Весельчак Джимми… Гудящая толпа на площади… Жизнерадостность и миролюбие людей… Мелодичная песня мамы Пондо… И в домике, где мы стояли на балконе, внезапный голос: «Джимми, это ты?» Сандра поднялась наверх, и я увидел длинноногую стройную девушку с прекрасными сияющими глазами на смуглом лице. Я так пристально смотрел на нее, что она смутилась. «Но ведь я негритянка», — сказала она несколькими днями позже, когда я попросил ее поехать со мной на репортаж за город. Она улыбалась, говоря это.

Опустив глаза, Пьер прошептал:

— Боже мой, как я был счастлив…

Я спросил его, как он привез сюда Сандру.

Пьер ответил:

— До подножья горы на машине, а потом на руках.

Его губы дрожали, когда он говорил:

— Я не хотел хоронить ее где-нибудь внизу, у

них. Она должна покоиться в таком месте, где никто не осквернит ее могилу.

Мы сорвали несколько цветков шиповника, который рос повсюду среди камней. Недаром басуто называют это плоскогорье Цветущим, сказал Пьер.

Я хотел опустить свой букет на плиту с надписью. Но Пьер поднял ее, положил на холмик цветы и накрыл их перевернутой плитой, завалив сверху камнями.

— Ты можешь знать об этой могиле, — сказал он. — Джессе тоже. И больше никто.

Мы вышли из грота и снова сели в «джип».

Леса темнели далеко под нами, а мы все продолжали подниматься вверх. Воздух становился разреженнее и прохладнее.

И вот наконец мы достигли перевала — поросшей колючками голой каменной пустыни — и свернули в сторону. Наш путь шел не вниз по склону, а вправо на высокогорное плато. Мы пробирались среди валунов и глубоких расщелин.

В одном месте мы сделали привал, поели хлеба с сыром, выпили молока, — все эти припасы нам дала с собой Сильвия, — и тронулись дальше.

Дорога пошла вниз, воздух потеплел, но мы по-прежнему оставались на большой высоте. Два-

жды нам приходилось прятаться от самолетов.

К вечеру, когда солнце окрасило горы в золотистый цвет, Пьер спросил:

— Видишь ту гору?

Он показал в сторону большого рыжего плато, расстилавшегося перед нами. Посредине его как огромная зубчатая крепость высилась гора такого же цвета. Ее выступы были похожи на сторожевые башни со старинных картин прошлого века.

— Там их убежище?

— Да.

— Джессе сейчас там? — спросил я с волнением.

— Я думаю, да. Расисты ЮАР вооружены до зубов, у них есть реактивные самолеты и армия, достаточная для пяти таких стран. Они понастроили тюрем, в которых в шесть раз больше заключенных, чем в Великобритании, наводнили страну полицейскими и платными предателями. Но там, внутри горы, трудится человек, который восстал против этой чудовищной силы. Он работает двадцать часов в сутки и, если его не предадут, он победит.

Миновав плоскогорье, «джип» въехал в такое узкое ущелье, что едва не касался бортами отвесных скал. В одном месте машина с трудом

продвигалась вперед, царапая борта и кроша колесами обвалившуюся породу.

Наконец ущелье кончилось, и дорога пошла вверх по гладкой скальной поверхности.

В расщелине горы показался высокий стройный человек. Сердце у меня отчаянно заколотилось.

Человек двинулся навстречу.

— Давид! — воскликнул он в изумлении. — Боже мой, Давид!

ГЛАВА XVII

Если бы Пьер ничего не рассказал мне о Джессе, я бы не заметил в нем никаких перемен.

Он был все так же красив и обаятелен. Прежними остались движения и манера говорить. И хотя он был одет в грубые, коричнево-зеленые под цвет окружающих гор брюки и рубашку, я без труда представил его себе в светлом костюме, белой сорочке, с красивым шелковым галстуком и зажатой в зубах гвоздикой. И все же что-то в нем изменилось: глаза были воспалены от бессонницы и все время, пока мы разговаривали, он курил одну сигарету за другой. Он стал охотно пить виски и раньше других опустошал свой стакан. Был многословен и не давал собеседнику вымолвить и слова.

Ошеломленный и подавленный, он слушал мой подробный рассказ о том, что произошло с Томом, Майклом, Розой и Джимми. Я знал, что Джессе всех нас очень любил, но почти никогда не выказывал этого. Теперь он не мог скрыть своей боли и страха, и я чувствовал, насколько он стал уязвим.

Мы бродили, обнявшись, вокруг горы, и я рас-

сказывал ему о нашем отъезде из Софиатауна, о лагере в Мидоулендсе и Пондоленде.

Я говорил долго, пока он не успокоился, потом мы повернули к крепости.

— Пьер показал тебе могилу Сандры? — спросил он.

— Да.

— Он это замечательно придумал, правда? Ни у одной белой женщины на свете нет такой могилы, как у нашей Сандры. Там так красиво. Ты заметил, что стены грота розового цвета?

— Да.

— Сандра любила этот цвет. Камушки, которыми она играла в детстве, тоже были розовые, помнишь? Они, наверное, до сих пор хранятся у мамы в шкатулке.

— Да.

Мы дошли до расщелины в скале, где я впервые увидел Джессе. Отсюда по узкому ущелью добрались до небольшой котловины, там под маскировочной парусиной стоял наш «джип» рядом с двумя вездеходами.

Два молодых африканца подошли к Джессе и протянули стопку донесений. Речь в них шла о складе оружия в Трансваале. Переговорив с молодыми людьми, Джессе утвердительно кивнул

головой и отдал бумаги.

Тут его остановила белая девушка в брюках и рубашке цвета хаки и попросила что-то подписать. Потом по туннелю мы вышли на большую площадь, окруженную со всех сторон отвесными скалами. Повсюду сновали молодые люди, белые и африканцы.

Ни одному летчику, пролетающему над этим фантастическим нагромождением скал, и в голову не придет, что в глубине их движутся люди, одетые в форму цвета хаки, сливающуюся с зелено-коричневыми горами.

Мы пересекли площадь, и Джессе показал мне гроты, в которых они жили и работали. Один из них представлял большое помещение, разделенное перегородками на комнаты. В комнатах, как в школьных классах, стояли столы и стулья.

— Это классы для занятий, — сказал Джессе. — Мы уже подготовили сто два бойца. Сейчас обучается еще шестьдесят человек. Потом прибудут новые. Их присылают Ян Баарле и другие наши помощники. Те бойцы, что прошли подготовку, разъехались по всей ЮАР и в разных районах создают повстанческие отряды.

Мы вошли в класс.

— Здесь занималась первая группа, — сказал

он. — Всего восемь человек. За этим столом сидел я. Следующая группа состояла уже из тридцати четырех слушателей, а третья — из шестидесяти. Вооруженное восстание — это наука, поэтому захват полицейского участка — математическая задача, а устранение часовых — технический вопрос. Так нужно. Я это понял.

Я почувствовал неуверенность в его голосе, словно он хотел убедить самого себя. Некоторое время Джессе стоял и смотрел на меня отсутствующим взглядом. Он казался чужим и далеким. Вдруг он спросил:

— Давид, ты знаешь, чем мы тут занимаемся?

— Приблизительно, — ответил я, смешавшись.

— Мы готовимся к тому великому дню, он еще далеко от нас, но он непременно наступит, когда я подам сигнал, и две тысячи человек в тридцати четырех точках ЮАР начнут восстание. Они будут действовать обдуманно, хладнокровно и целеустремленно, так, как их учили. К ним присоединятся двенадцать миллионов черного населения ЮАР, полтора миллиона мулатов, четыреста тысяч индийцев и все те белые, которые не признают апартеида.

В его глазах горел огонь, когда он говорил:

— Сигнал будет дан по радио, по их радио! Его

услышат все, даже в отдаленных уголках страны. Безобидный сигнал, который будет понятен только нам. И тогда все начнется. Ночью. По всей стране. Мы не требуем, чтобы эта страна была только для черных. Буры будут иметь с нами равные права. Точно такие же, как у нас. Не больше и не меньше. Но те, кто с этим не согласен, должны покинуть страну. И если для этого потребуется применить силу, мы это сделаем. Мы развеем заблуждение, будто буры принадлежат к высшей расе и находятся под особым покровительством бога. Разубедить их в этом с помощью слов безнадежно. Никому в мире не удалось это сделать. Буры уверены, что они заключили союз с богом, что в дом, где они с ним живут, другим нет доступа. Но мы будем убивать их в их домах, и тогда они увидят, что бога нет с ними.

От волнения на лбу у Джессе выступили капельки пота. Он продолжал:

— Сто тысяч вооруженных черных хлынут под покровом ночи из Соуэто в Йоханнесбург, тысячи и тысячи других из Ланги в Кейптаун. Люди племени коса наводнят Порт-Элизабет и Ист-Лондон, зулусы — Дурбан. В сельских местностях отряды негров устремятся в небольшие селения и на отдаленные фермы. В эту ночь все двенадцать

миллионов черных жителей ЮАР выйдут на улицу. Никакие войска не справятся с этой силой. Земля содрогнется, на горизонте заполыхает красное зарево, и отовсюду в Трансваале будет видно, как горит Йоханнесбург.

Его глаза пылали неукротимым огнем, внушая мне страх.

— Жестокая борьба необходима, Давид! — продолжал Джессе. — Мы должны ее вести, если хотим быть людьми! Это не слишком большое требование, не так ли? Ты помнишь митинг, на котором доктор Иллово объявил о начале кампании неповиновения, а потом мама принимала гостей? В большом гостеприимном доме мамы Пондо было место для всех. Даже для бедолаги Бенго. Помнишь? Наш дом всегда был наполнен солнечным светом, в нем царил мир. Я раньше не осознавал, что значит для человека дом. Нигде ему не может быть так хорошо, как дома. Но расисты лишили черных южноафриканцев крова, загнали их в джунгли, а человек не приспособлен к жизни в джунглях. Жить там просто невозможно. В тот день у нас еще был дом. Давид, ты помнишь это?

Помнил ли я… О небо, помнил ли я?..

Я пробыл у Джессе неделю. Днем мне редко

приходилось его видеть, но по утрам и вечерам мы с ним вместе бродили по огромному плато, окруженному со всех сторон вплоть до горизонта дикими горами Басутоленда.

Страстность, с которой он говорил в первый день нашего свидания, не утихала в нем. С такой же страстностью он работал, не зная отдыха. Вряд ли кто-либо другой выдержал бы подобную нагрузку.

Картины кровавых боев, которые он нарисовал передо мной, пугали и наводили на мысль о конце света. Меня тревожила неуемная горячность брата, но, с другой стороны, она была мне больше по душе и больше убеждала в правоте его борьбы, нежели холодная рассудительность, с которой он раньше говорил о революции и партизанской борьбе.

Он так и не признался мне, что убивал людей. О том, как это произошло, рассказал Пьер. Надо было снять двух часовых, охранявших опоры высоковольтной линии, и Джессе вызвался это сделать.

Пьер говорил, что, хотя Джессе требовал самых решительных мер борьбы, он не мог хладнокровно убивать людей.

— Он думал, что сможет, — добавил Пьер, — но

это оказалось не так. Сейчас он говорит о тысячах убитых, но только для того, чтобы забыть тех двоих.

Англичанин Сэм Вилей, который переправил меня и Пьера через границу Басутоленда, говорил мне:

— Конечно, человек меняется после того, как он убил себе подобного, но где написано, что нужно оставаться таким, каким ты был раньше? Главное, делать то, что тебе подсказывает сердце.

Я наблюдал молодых партизан в классах, на плацу во время военных учений и на стрельбище в горах и думал: «Хотел бы я стать соратником Джессе, вступить в ряды его единомышленников, товарищей по оружию? Наверное, нет».

Я и теперь не жалею, что не сделал этого. Меня не покидает мысль о моем учителе Альберте Лутули, я слышу его мягкий голос, призывающий к доброте. «Природу человека понял не тот, кто утверждает, что человек рожден бороться, — учил он, — ибо звери тоже борются, а тот, кто говорит, что человек должен быть добрым. Цветы прекрасны, но они не умеют быть добрыми друг к другу. Звери заботятся о своих детенышах, пока те маленькие, и некоторые даже живут семьями, но я не знаю зверя, который был бы

добр к чужаку. Говорят, что человек отличается от животного тем, что может изготовлять орудия труда, сначала примитивные, потом все более сложные. Но для меня это не главное. Самое главное, что человек может быть добрым к своему ближнему. Это понимал Иисус. Поэтому я следую его учению. Мир был бы прекрасен, если бы из всех человеческих способностей мы проявляли именно эту, самую драгоценную способность человека. Это совсем не сложно. В самом деле, нет ничего проще, начните с себя. Подайте пример, достойный подражания. Я становлюсь добрым, ты делаешь то же самое, а потом ты и ты… И мир превращается в рай. Но это нелегко. Это просто и в то же время трудно. Горе и страдания существуют на земле потому, что мы требуем доброты от других, а сами ее не проявляем».

Так говорил нам Альберт Лутули, и весь класс замирал, слушая его. Его ничто не могло ожесточить. Даже теперь, когда он был под неусыпным наблюдением полиции и агенты то и дело врывались в его дом с обыском и переворачивали все вверх дном, он отстаивал доброту. В любое время суток за ним приезжали и увозили на допрос. Но он по-прежнему сохранял кротость, никогда не отвечал грубо, всеми силами защищал доброту и

призывал к непротивлению.

Его слова живут во мне. И когда меня охватывает чувство беспомощности и одиночества, я думаю о том, что вера в добро — единственное наше спасение, единственная надежда в жизни. Я постараюсь, чтобы эта надежда не угасла в моей душе до конца дней.

ГЛАВА XVIII

Джессе проводил меня до хижины старого Матье, Сильвия помогла перебраться через границу, а Ян ван Баарле довез до Пондоленда. У меня с собой было так много лекарств, что пришлось несколько раз ночью переходить границу, чтобы перетащить весь груз.

Раздавая лекарства, я ездил по Пондоленду, и повсюду мне попадались бесплодные долины с выжженной, потрескавшейся землей, тощие кустарники с чахлой пыльной листвой и группы чернокожих, согнанных на принудительные работы.

Я видел мрачные, чудовищно разросшиеся деревни, по которым бесцельно бродили люди. Это были толпы нищих, доведенных до отчаяния африканцев. Я видел голых детишек и несчастных стариков, сиротливо сидевших возле хижин. И везде, где собирались толпы озлобленных голодных людей, возникали перебранки, ругань, драки. Те, кто издавна жил в Пондоленде, не могли понять, почему им урезают пастбища и стада. Переселенцы не понимали, почему им дают так мало земли. А те, кто ее вовсе не получил, просто

не знали, что им делать.

Работы не было. Рынки опустели. Ростовщики беспрестанно повышали проценты. Процветали воровство и грабеж. И вот как достойное завершение длинной цепи лжи и обмана о рае в резервациях появились биржи труда. Возле них толпился народ, и я слышал взволнованные разговоры о лагерях для черных по эту сторону границы и заводах, принадлежащих белым, по другую сторону.

У бирж труда вырастали очереди, они становились все длиннее и длиннее. Вновь появились семьи, которые собирались переезжать, на этот раз в лагеря, расположенные на границе. В это же время где-нибудь у автофургонов женщины и дети прощались с мужьями и отцами, которые на целый год отправлялись на работу в отдаленный порт или на шахту.

Новые деревенские старосты, в особенности из числа молодых с образованием, были высокомерны, охранники — грубы и жестоки. На просьбы жителей поселков о том, чтобы приехал комиссар из Умтаты и разъяснил положение о новых органах местного управления, не поступало ответа.

Попытки получить помощь от сочувствующих белых из Бизаны не увенчались успехом. Во

время бесконечных налетов на поселки полицейские бесцеремонно врывались в дома, уводили мужчин, отбирали запасы продовольствия, били посуду, душили кур и гусей, насиловали девушек.

Африканский национальный конгресс практически прекратил борьбу. Немногие его представители, которым еще было разрешено свободно передвигаться по стране, устали от бесплодных усилий и постоянного страха, каждый день ожидая ареста. Одновременно с этим ширилась молва о растущей, пугающей силе повстанцев в горах.

Я был в поселке Кинтоло, расположенном к востоку от Бизаны, когда повстанцы ночью совершили на него налет. Испуганно кричали люди, пылали бараки, на фоне красного зарева метались фигуры бегущих. Потом горящие факелы приблизились к большому бараку, в котором спали охранники, и я услышал торжествующие вопли, когда их выволокли наружу.

Поставив охранников на колени против барака, четверо молодых партизан расстреляли их.

Староста и четыре доносчика предстали перед народным судом. Их приговорили к смертной казни и повесили. А потом жители поселка долго танцевали вокруг болтавшихся на веревках

трупов.

На следующий день — я никогда не забуду этой картины — вдали показались необычного вида машины, медленно ползшие по горной дороге. Когда эти лязгающие и скрежещущие чудовища приблизились, мы увидели, что это бронетранспортеры.

Они двигались в ряд на расстоянии примерно пятидесяти метров друг от друга и подминали попадавшиеся им на пути камни и чертополох, легко преодолевая бугры и ямы. Между бараками стояли люди и испуганно смотрели на них. Бронетранспортеры неотвратимо приближались, грозно нацелив пулеметы на бараки. Потом вдруг из стволов пулеметов вылетело пламя, раздался гулкий, лающий звук, пулеметы вздрогнули, и бронемашины, извергая свинец, вползли в поселок.

Они стреляли по баракам и по разбегавшимся в ужасе людям. Смертоносные машины медленно продвигались вперед между домами, стволы пулеметов неторопливо поворачивались из стороны в сторону. Я отчетливо запомнил их размеренное движение, сопровождаемое непрерывным треском очередей.

Я лежал позади какого-то барака, тесно при-

жавшись к земле. Один из бронетранспортеров проехал всего в десяти шагах. Меня обсыпало разлетевшимися вокруг щепками и комьями глины. Чудовищная машина была так близко, что я смог рассмотреть на ее боку большие буквы.

Стреляя на ходу, бронетранспортеры проехали через весь поселок, не изменяя ни направления, ни скорости, давя тела расстрелянных людей.

Я поднялся на ноги, когда машины, так же медленно как они вползли в поселок, покинули его и скрылись за холмами.

Неделю спустя Джеймс Нлоло, представитель отделения Африканского национального конгресса в Дурбане, проводил в горах недалеко от Табанкулу тайный митинг. Я отправился туда, потому что был знаком с Джеймсом. Мы вместе учились в Адамс-колледже.

Однако я опоздал, потому что помогал медицинским сестрам в соседней деревне оказывать помощь больным.

Как мне потом рассказали, Джеймс выступил первым. Подобно доктору Иллово, он призывал к спокойствию и терпению и обратился к старшему поколению с призывом сдерживать молодежь.

— Не уходите в горы, — повторял он настойчиво. — Не пускайте туда своих сыновей, а если они

уже там, попытайтесь убедить их вернуться.

Он говорил о том, что вооруженные столкновения, которые вспыхивают по всему Пондоленду, могут принести только вред и вызвать карательные действия со стороны властей. Затем он прочитал текст петиции, составленной АНК, в которой содержался призыв положить конец переселению африканцев и отменить закон об органах самоуправления банту.

Петиция — несколько экземпляров ее мне потом удалось найти между деревьями — заканчивалась следующими словами:

> «Мы не хотим жить отдельно от белых. Их присутствие среди нас не угрожает нашей культуре. Мы хотим жить в дружбе и уважении друг к другу».

— По всей стране мы собираем подписи под этой петицией, — сказал Джеймс Нлоло. — Мы направим ее премьер-министру и одновременно сообщим в газетах, сколько людей подписали эту петицию, чтобы никто не смог уверять иностранных журналистов, что лишь кучка коммунистов борется с апартеидом.

Все это я узнал со слов тех, кто присутствовал на митинге. Когда же я подходил к месту, где

он проводился, то увидел на краю деревни толпу человек в сто пятьдесят, которые окружили Джеймса Нлоло и подписывали петицию. Вдруг в небе появился вертолет. Он пролетел над вершинами холмов, и раздалась пулеметная стрельба. Широкоплечий рыжеволосый пулеметчик, встав на колени, стрелял через открытую дверцу вертолета, и его тело содрогалось в такт пулеметной очереди.

Люди бросились врассыпную. Одни попытались укрыться в лесу, другие прятались между камнями. Какой-то человек изо всех сил принялся размахивать белым флагом. Вертолет еще несколько минут покружил над деревьями, и белый флаг исчез.

Потом мы нашли в лесу семнадцать тел, изрешеченных пулями. На ветках одного из деревьев висел белый флаг, а под деревом лежал убитый Джеймс Нлоло, зажав в руке петицию.

О подобных случаях жесточайшего террора властей мало кто знал из жителей Пондоленда. Газеты и радио, естественно, о них не сообщали, а связи между поселениями африканцев не было. Свободно ходить из одной деревни в другую могли только те, кто вроде меня имела специальные пропуска, а по большим дорогам передвигались

только рабочие фабрик, находящихся за пределами резервации.

Священники, врачи и санитары повсюду, где они бывали, рассказывали соплеменникам о страшных расправах властей, пытаясь предостеречь жителей Пондоленда. Но люди верят лишь тому, что видят собственными глазами. Им казалось, что в своих рассказах мы все преувеличиваем.

Не знаю, что было бы, если бы они поверили нам или сами убедились в правоте наших слов. Возможно, страх перед неодолимой силой, которая, по словам доктора Иллово, раздавит нас, смог бы предотвратить восстание, а может быть, и нет. По всему Пондоленду в людях зрел протест, дикий, необузданный, и рвался наружу.

Я с тоской вспоминал узкие улочки Софиатауна, заполненные оживленными толпами людей, их душевную близость друг другу, чувство радости, которое рождала эта близость и в которой мы черпали силу. Мы были вместе, мы любили друг друга. Делили радость и горе на всех, и наша жизнь была преисполнена смысла.

Теперь же перед моими глазами были огромные безжизненные пространства Пондоленда, обездоленные страдающие люди, которых терзала

тоска по родным местам и глубокое одиночество. Словно неприкаянные они бродили по бесплодной земле, поросшей чертополохом, не понимая, где они и что с ними.

Майкл как-то сказал: «Они отнимают у нас землю и дома, чтобы превратить в бродяг». Да, так оно и произошло. Повсюду на этой негостеприимной земле я видел отверженных, бесприютных людей. Они делали то, чего им никогда не приходилось делать раньше. Они повторяли чужие слова, следуя неведомой дикой силе.

Мне казалось, что я не должен говорить об этом ни с кем, даже с отцом или матерью. То же самое, наверное, чувствовали и они. Мы все были брошены на произвол судьбы, были одиноки и такими останемся навсегда.

Я уверен, что именно эта безысходность явилась причиной того необузданного насилия, которое, подобно смерчу, пронеслось по Пондоленду, сменившись мертвой, леденящей душу тишиной.

ГЛАВА XIX

Не знаю, где это началось, без сомнения, сразу в нескольких местах.

В Бизане черное население в течение нескольких месяцев бойкотировало белых торговцев, а потом там взорвалась бензозаправочная станция, были выбиты стекла в магазинах, разгромлена специальная школа для банту.

Огромная толпа в несколько тысяч человек разнесла церковь, которой принадлежала школа, и линчевала черного священника, согласившегося ввести по приказу властей новую программу «специального образования для черных».

На центральной улице Бизаны белые, насмерть перепуганные приближением толпы черных, воздвигли баррикады и укрылись за ними, вооружившись ружьями и пистолетами и отослав женщин в подвал одного из колледжей.

Однако до столкновения не дошло: появились военные машины, и солдаты пулеметным огнем разогнали африканцев.

И в нашей стране, и во всем мире люди были поражены и возмущены разрушением церкви и школы. А власти подогревали эти чувства,

умышленно не уточняя, что за церковь и школу разрушили черные и почему. «Видите, какие они еще варвары», — гласило резюме правительства.

Но ведь на самом деле именно потому, что мы не варвары и не хотим ими стать, мы выступили против специальных школ для черных детей, где было меньше учебных часов и проще программа, где обучение должно было вестись только на диалектах. Вместо того чтобы громить фабрики и фермы, где африканцам недостаточно платили, они громили школы, где их детям давали недостаточное образование.

Конечно, бывало иногда и так, что разъяренная толпа уничтожала первую попавшуюся церковь, особенно если священник в ней был белым. Уже один белый цвет кожи вызывал в африканцах ярость.

В Лусикисики и в Флагстаффе чернокожие окружили районы, где жили белые, и долго не снимали осаду. Воодушевленные всеми этими бурными событиями, руководители повстанцев в горах решили начать всеобщее восстание.

В поселке Бинанго я, к своему удивлению и радости, встретил пастора ван Флотена, которому не раз прислуживал в его церкви в Йоханнесбурге.

Наша встреча была неожиданной. Я направлял-

ся в Нтани, местечко, расположенное на границе Пондоленда. Однако не успел попасть туда до наступления темноты, потому что по дороге меня без конца задерживали полицейские и военные патрули, а однажды пришлось прождать три часа, прежде чем мне отдали обратно мой пропуск.

Находиться ночью за пределами населенных пунктов было запрещено, и я решил заночевать в небольшой деревушке Бинанго. Вдоль единственной улицы, которая проходила через деревню, стояло около десятка домишек и несколько ферм, окруженных со всех сторон сотнями хижин. Тут у небольшой каменной церквушки я и встретил пастора ван Флотена.

Он не сразу узнал меня. Но когда хорошо разглядел, торопливо опустил на землю раскрашенный горшок, который держал в руках, крепко пожал мне руку и воскликнул:

— Давид! Я так рад тебя видеть.

Он был все такой же худой и бледный, с рассеянным взглядом сероватых глаз. Когда я рассказывал о том, что произошло с нашей семьей, на его лице появилось странное выражение вины, которое я замечал и прежде. Всякий раз, когда я встречал его в Йоханнесбурге, мне казалось, что он хочет поговорить со мной с глазу на глаз, но в

последний момент не решается это сделать.

Мы пустились в воспоминания о прошлом и, непринужденно беседуя, дошли до небольшого серого домика возле церкви. Он пригласил меня к себе и представил своей жене и дочери.

В Йоханнесбурге ничего подобного не бывало. В те дни, когда мы вместе вели службу, он никогда не пускал меня дальше приемной. Там я работал, а черная прислуга приносила мне еду.

Теперь же он предложил мне остановиться у них и без колебания ввел в свой дом и представил семье.

Госпожу ван Флотен я часто видел в церкви в Йоханнесбурге. Она была нездорова и выглядела старше пастора, но ее тонко очерченное лицо сохраняло следы прежней красоты. Она была всегда со вкусом одета, обычно в платья серого цвета. Говорила спокойно и дружелюбно.

Их дочь Нэнси ван Флотен — я думаю, ей было около тридцати — помогала отцу вести уроки в школе при церкви, а также учила девочек шить. Она была высокого роста, со светлыми волосами, и ее, пожалуй, можно бы было даже назвать красивой, если бы лицо ее не было таким строгим, даже надменным. Когда меня ей представили, она не выразила желания подать руку. Однако

приняла участие в общем разговоре, что, вне всякого сомнения, было с ее стороны жертвой, на которую она пошла только ради родителей.

Но это было совсем не важно. Я был счастлив, потому что больше не чувствовал себя изгоем. Я сидел в доме, принадлежащем белой семье. Тремя домами дальше жил молодой шотландский врач, а на другой стороне деревни стоял амбар бура Саула ван Вессела, ферма которого находилась в десяти милях отсюда, у границы с Пондолендом. Мне казалось, что стена, окружавшая пустынные земли, на которые нас выслали, рухнула. Черные и белые перестали быть врагами.

Вечером к ван Флотенам зашел доктор, шотландский пресвитерианин, с женой Мэри, милой веселой женщиной, по уши влюбленной в своего мужа. Уже было поздно, когда в дом постучали и на пороге выросла огромная фигура Саула ван Вессела. Рыжебородый, с ружьем в руках, в сапогах и широкополой шляпе, он был так похож на буров из рассказов о старых временах, что я вздрогнул, увидев его. Представлялось, что за воротами он оставил фургон, запряженный лошадьми. Но там стоял вездеход.

Заметив меня в комнате, фермер замер возле двери, лицо его перекосилось, и, не входя в ком-

нату, он сказал:

— Могу я с вами поговорить, пастор?

Я хотел выйти через другую дверь, но госпожа ван Флотен остановила меня. Как оказалось, бур предложил пастору и его семье уехать к нему на ферму. Он сказал, что каждый момент можно ожидать нападения, и только у него они будут в безопасности. Двести черных поденщиков, которые работают на его ферме, ему преданы, и, кроме того, у него есть оружие, боеприпасы и месячный запас продовольствия на случай осады.

Пастор ван Флотен вызвал из комнаты жену и дочь посоветоваться. Когда они вернулись, госпожа ван Флотен, улыбаясь, сказала:

— Саул всегда преувеличивает. Все они, буры, такие. Сидят на своих огромных фермах, отрезанные от всего мира, и только и думают, что на них нападут. А как же иначе? Откуда у них в головах могут появиться другие мысли?

Госпожа ван Флотен бросила на мужа лукавый взгляд, и я понял, что она подтрунивает над его происхождением. Сама она была дочерью коммерсанта из Кейптауна.

Пастор отказался поехать с ван Весселом, но попытался уговорить жену и дочь воспользоваться предложением бура, однако они сочли опасения

фермера напрасными.

После того как госпожа ван Флотен и Нэнси отправились спать, мы с пастором долго говорили о книге пророка Исайи. Он всегда восторгался ею и мог рассуждать о ней часами. Вдруг он сказал:

— Возможно, мы, кальвинисты, слишком часто читаем Ветхий завет. Мы не расстаемся со Священным писанием, без конца цитируем его и подкрепляем этими цитатами свои слова. Это хорошо. Писание — прекрасная книга. Но в ней мы то и дело читаем: «Мы дети божьи. Боже, помоги нам, тобою избранному народу». Мы с детства привыкли это слышать и теперь то же самое неустанно повторяем своим детям. В конце концов начинаешь верить в то, что каждый день твердишь. Что же может быть более естественным? Человек и не подозревает, какою великой силой обладают слова. Вот как получилось, что буры, потомки голландцев, немцев и французов, возомнили себя избранным народом, людьми, которым даны большие права, чем другим христианам, и которым предначертано повелевать другими как рабами.

Да, так оно и есть, подумал я, полный сочувствия, этот человек страдает, его гнетут беззакония, творимые властями и церковью.

Он испытывает угрызения совести оттого, что, находясь у них на службе, принимает в этом участие. Но он не может больше так жить, он готов искупить свою вину и поэтому говорит все это мне, черному.

— Как странно, — тихо продолжал он. — Иисус был воплощением кротости, он сострадал бедным. В толпе он всегда обращал на них свой взор и только среди них и обретался. Мы же, напротив, жестоки и взираем на бедных с отвращением, называя их второсортными людьми. Мы пинаем их ногами, вешаем, не задумываясь, что повесили человека. И вот мы уже не хотим, чтобы они жили рядом с нами, и гоним их в джунгли, так оправдывая себя: «А что же нам остается делать? Не можем же мы все потерять…» Но разве допустимо ради материального благополучия трех миллионов белого населения угнетать двенадцать миллионов черных?

Лицо его было печальным. Все это время он смотрел словно сквозь меня, но тут взглянул мне прямо в глаза и проговорил:

— Я уехал из Йоханнесбурга в Пондоленд не ради черных, Давид. Я считаю политику нашего правительства преступной, а позицию церкви лицемерной, но у меня не хватает мужества за-

явить об этом открыто. Мои друзья оправдывают свое молчание тем, что не хотят быть врагами своего народа. Однако подобная верность не есть добродетель. Соучастие в преступлении — это порок. У меня же нет и такого оправдания. Я не полагаю, что из солидарности со своим народом имею право творить зло. Но если я признаюсь в этом, мои соплеменники от меня отвернутся. Они будут с презрением смотреть на меня и избегать со мной встреч. Точно так же они ведут себя по отношению к вам. Смотрят как на людей недостойных общения. Да, теперь я понял, что это значит. Вот что мне уготовано, если я признаюсь в своих сокровенных мыслях. Я думаю сейчас только об этом. Вот уже многие месяцы я чувствую себя черным…

Он беспомощно уронил руки.

— Человек не может быть изгоем. Изгой всегда одинок, а жилище одинокого человека подобно норе зверя. В нем темно и пусто, и его обитатель чувствует себя в опасности, а глаза людей кажутся ему глазами хищных зверей.

Я был потрясен. Он испытывал точно такие же чувства, как и я. Он так ясно определил их, что я сидел словно парализованный, не в силах произнести ни слово. Да, именно так, я ощущал себя в

норе, окруженной хищниками… Мне вспомнились мрачные бараки на склонах гор с темными отверстиями, настоящие норы, и бесцельно бродящие между ними люди с беспокойным блеском в глазах.

— Жизнь одинокого человека, — говорил пастор, дрожа всем телом, — ничем не отличается от волчьего существования. Но я не хочу этого… Давид, я не хочу этого… У меня нет вашей силы. Я не могу быть ни покорным, ни неистовым. Я уже больше ничего не могу.

— Уезжайте отсюда, — умоляющим тоном сказал я. — Поезжайте к Саулу ван Весселу и отдохните там. Вы устали.

На лестнице послышались шаги. Вошла госпожа ван Флотен и мягко проговорила:

— Тебе надо прилечь, Карел.

— Да, милая, ты права, — тихо ответил пастор.

Он встал и, обращаясь ко мне, сказал:

— Я провожу тебя в твою комнату.

Я стал говорить, что могу лечь и в саду, что мне все равно, где спать. Но он и слышать об этом не хотел.

— Это совсем маленькая комнатушка, но все-таки крыша над головой, и потом там удобная кровать, — говорил пастор, освещая путь керо-

синовой лампой, когда мы поднимались вверх по лестнице. — В этой кровати я спал на ферме своего отца, когда был подростком. Я никак не могу с ней расстаться. Ирене говорит, что я очень сентиментален.

Он зажег свечу рядом с моей постелью и вышел.

Мне казалось, что я проспал всего несколько минут, но когда я проснулся, разбуженный шумом, доносившимся с улицы, было уже светло.

Я распахнул чердачное окно, но оно выходило в сад, и мне были видны лишь несколько бараков, стоявших поодаль между деревьями.

Спустившись вниз, я застал в гостиной пастора и его семью. Они стояли у окна и с тревогой смотрели на улицу. Моему взору предстала хорошо знакомая картина: мечущиеся в зареве пожара люди, горящие фермы, перестрелка у дома старосты, трупы расстрелянных охранников, дикий танец вокруг висящих на веревках тел и большой костер, в который молодежь бросает паспорта.

— Они придут сюда? — спросил пастор.

— Они вам ничего не сделают, — ответил я взволнованно. — В деревне знают, что вы за человек.

Толпа хлынула к каменному зданию, где раз-

мещалась биржа труда и налоговая контора. Восставшие сожгли все документы, которые там были, потом, действуя огромным бревном как тараном, снесли до основания стены.

Толпа двинулась дальше по улице и остановилась перед домом молодого доктора. Он стоял на пороге и что-то говорил окружившим его людям.

— Все эти африканцы нездешние, — сказал пастор. — Я не вижу в толпе ни одного знакомого лица.

— Да нет же, — возразила госпожа ван Флотен. — Вон те двое слева, мы их знаем. Вон еще. Посмотри, тот, что стоит впереди. Он живет где-то возле бара, через несколько хижин.

Нэнси ван Флотен была бледна так же, как отец, но в ее глазах не было страха, в них пылал гнев.

Толпа запрудила улицу. Доктора уже не было видно. Я выбежал за ворота и стал уговаривать людей не трогать пастора и его семью. Меня оттеснили назад к дому, но я продолжал кричать, что пастор с семьей мог остаться в Йоханнесбурге, однако сам приехал сюда, чтобы помочь нам. Я повторил это несколько раз.

Кто-то из толпы выкрикнул, что они хотят видеть пастора. Ван Флотен вышел. Он был бледен, руки и ноги у него тряслись. Люди молча смотре-

ли на него в упор. Потом тот, кто требовал, чтобы пастор вышел, спросил:

— Почему он так напуган?

— Да, — подхватил другой, — почему у него трясутся колени?

Третий закричал:

— Он никогда не глядел в нашу сторону. На улице он нас не замечает, а в церкви смотрит куда-то в пространство.

— Он бур, — поддержал его четвертый. — Буры не смеют смотреть нам в глаза.

Вот оно, прорвалось. Лютая ненависть. Необузданная ярость. Все вокруг кричали, и тут, спасая мужа, вышла госпожа ван Флотен. Она стала говорить, что пастор приехал сюда, к беднякам, потому что не хотел больше жить среди богачей.

Она говорила убедительно, и в то же время в ее словах не было пренебрежения или злобы. Казалось, обстановка разрядилась, однако толпа все время теснила нас назад. И госпожа ван Флотен, оступившись, упала. Я тщетно пытался подойти к ней, чтобы помочь встать. Тут из дона выскочила Нэнси и громко и зло закричала на людей. Девушка стала отталкивать африканцев, спотыкавшихся о госпожу ван Флотен, и одного из них задела рукой по лицу. Он крикнул, чтобы

она не очень тут командовала, и толкнул ее.

Нэнси упала, и я услышал ее яростный вопль:

— Руки прочь, ты, дьявол! — Она вскочила на ноги и с размаху ударила по лицу человека, стоявшего перед ней.

Что было потом, я толком не знаю, потому что оказался сбитым с ног. Передо мной мелькали руки и ноги, на меня наступали, и когда наконец я выбрался из этой свалки, то с ужасом увидел, что двое мужчин держат Нэнси, а третий, срывая с нее одежду, зло говорит:

— Вот что делают ваши судьи с нашими женщинами. Мы тоже сделаем это с тобой.

Нэнси пронзительно закричала. Она вырывалась и пинала державших ее мужчин, пытаясь освободиться. Пастор отбивался как обезумевший. Я безуспешно пытался вмешаться. Торжествующий вопль потряс воздух, когда Нэнси была раздета донага. Они подняли ее, я увидел множество черных рук на ее белом длинном теле и клубок барахтающихся вокруг него мужчин.

Вдруг послышались ружейные выстрелы. На полной скорости, не прекращая огня, в деревню въехал вездеход. За ним следовали два «джипа».

Саул ван Вессел с автоматом под мышкой спрыгнул на ходу с вездехода.

— Быстро в машину! — крикнул он пастору ван Флотену.

— Нет! Нет! — ответил пастор.

Фермер, не слушая пастора, схватил его за руку и запихнул в машину. Не переставая стрелять по разбегавшейся толпе, он отдавал энергичные приказания двум белым и нескольким черным помощникам, которые приехали вместе с ним. И тут он увидел Нэнси. Она лежала на земле. Рядом трое африканцев, сбитых с ног, со страхом озирались, не зная, куда скрыться.

Мгновение Саул ван Вессел неподвижно смотрел на обнаженную девушку. Затем он остервенело в упор расстрелял этих троих, снял с себя куртку и накрыл ею Нэнси. Один из его белых помощников перенес ее в вездеход.

Госпожа ван Флотен лежала на земле около дома. У нее была сильно разбита голова. Ее осторожно положили на сиденье вездехода, и машины двинулись к дому доктора. Шотландец и его жена поспешно выбежали из дому и сели в «джип».

Едва все три машины покинули деревню, на другом конце улицы появились молодые африканцы, вооруженные ружьями и автоматами, и открыли по ним огонь. Однако машины были

уже довольно далеко и вскоре совсем исчезли в облаке пыли.

Госпожа ван Флотен скончалась прямо в вездеходе, а несколько дней спустя я узнал от поденщиков Саула ван Вессела, что Нэнси сошла с ума.

Я больше никогда не встречал пастора ван Флотена. Я так и не знаю, куда он ушел, покинув ферму Саула вар Вессела. Потом долгое время я не мог без боли в сердце думать о нем, меня преследовали его слова об одиночестве, сказанные им в ту памятную ночь.

И до сих пор, когда я вспоминаю пастора, мое сердце наполняется тревогой и состраданием. Я задаю себе вопрос, не затем ли он приехал в Бинанго, чтобы найти там свою смерть, чтобы в буре событий, потрясших Пондоленд, освободиться от жизни, которая стала для него слишком тяжелым бременем. Я не уверен в этом, но иногда мне кажется, что это именно так. Может быть, поэтому он и отказался поехать с буром на его ферму.

Но судьба сыграла с ним жестокую шутку. Не он, а его жена нашла смерть. Он потерял и второго дорогого ему человека — дочь, которая спасала его от одиночества и отчаяния.

Мне так хотелось узнать, где он, чтобы написать ему и словами утешения хоть как-то облегчить

его жизнь, которая была для него, должно быть, сплошным страданием.

Однако подобные случаи расправы с белыми были очень редки. В основном черное население стремилось сотрудничать с белыми, которые жили среди африканцев, искало у них помощи и защиты. «Хорошие белые и хорошие черные вместе против плохих белых и черных», — так просто, с детской непосредственностью выразился во время одного из своих выступлений в Йоханнесбурге доктор Иллово.

В Бизане местные африканцы бойкотировали магазины, принадлежавшие белым, только потому, что те поддерживали апартеид. В районах, населенных белыми, не раз возникали напряженные ситуации, но ни один белый не пострадал. И даже на отдаленные фермы, подобно той, что была у Саула ван Вессела, очень редко совершались нападения.

Безусловно, если бы в руки восставших попали белые расисты, они были бы наказаны, как их черные пособники, которых ловили в деревнях. Однако африканцы не были одержимы необузданным чувством мести к белым только из-за цвета их кожи. К сожалению, многие белые не верят этому, но это правда.

Больше всех во время восстания пострадали старосты, которых назначали белые комиссары. Жители Пондоленда не желали мириться с тем, что при назначении старост власти не интересовались мнением местного населения, что старостами оказывались вовсе не те люди, которые пользовались в деревнях всеобщим уважением. Однако самое главное состояло в том, что назначенные старосты, прельщенные солидным доходом и возможностью в будущем получить теплое место, готовы были плясать под дудку белых правителей. Доставалось и охранникам, а во многих местах и служащим бирж труда, но больше всего старостам. Для черных они были символом порабощения, зловещим орудием насилия, которое творили над ними те, кто жил где-то далеко в больших городах, охраняемых полчищами солдат и полицейских.

ГЛАВА XX

Пондоленд превратился в кромешный ад. Я пытался пробраться домой, чтобы быть рядом с родителями, но долгое время это не удавалось.

Большими группами повстанцы спускались с гор. Во всех деревнях шли бои. На землях пондо было введено чрезвычайное положение, дороги перекрыты войсками. В горах тоже было небезопасно, потому что можно было натолкнуться на беглых охранников, которые днем прятались, а ночью пытались пробраться к белым в Бизану, Кокстад или Умтату.

Каждый день доходили слухи о стычках между повстанцами и войсками.

В горах рыскали банды грабителей, а в тех деревнях, где победу одержали повстанцы, люди, обезумев от радости, дали волю анархии, которая всегда возникает там, где утрачен здравый смысл.

Я передвигался по стране, примыкая к повстанцам в деревнях или к тем, кто разыскивал в горах предателей, сотрудничавших с властями.

Однажды меня подвезли на «джипе» руководителя восставших, а как-то целую ночь я шел с

сильно вооруженной группой партизан, которые направлялись на разведку в район Бизаны.

Так я оказался совсем близко от дома и рассчитывал уже на следующий день быть там, когда над Пондолендом пронеслась такая страшная буря, которая затмила все предшествующие события.

Лишь со временем я смог разобраться во всем, что произошло в те дни в Пондоленде. Поначалу же остались в памяти лишь движение моторизованных воинских частей на дорогах, длинные извивающиеся колонны солдат в горах и истребители, с оглушающим шумом проносящиеся над вершинами гор.

Не только в деревнях, но и в городах вспыхивали восстания. По всей стране было введено чрезвычайное положение, объявлена всеобщая мобилизация, а среди белого населения старше призывного возраста создавалась гражданская оборона. У них были свои лагеря, где они проводили учения. Все белые, даже женщины, имели при себе оружие.

В долинах, зажатых горами, я видел огромные толпы черных, встречал то ликующих повстанцев, то перепуганных сельских жителей, которые бежали из деревень, захваченных войсками.

Однако больше всего угнетало, что в самих деревнях изменилась атмосфера. У домов деревенских старост собирались люди и, тревожно глядя друг другу в глаза, говорили:

— Мы захватили деревню. Мы воевали и победили, ну а теперь что?

Все чаще попадались покинутые хижины. Люди бросали свои дома и уходили из деревень. Однажды вечером я попал в деревню, в которой осталось всего несколько древних стариков.

— Ушли, — прошептала старая женщина, — ушли в горы, сюда идут солдаты.

Вскоре и совсем невозможно стало появляться в деревнях — либо там шли бои, либо они были заняты войсками.

Дважды меня задерживали солдаты. Во второй раз я просидел у них двое суток, а однажды целый день провел с повстанцами, которые сказали, что им дорог каждый человек.

Как-то я попал в руки грабителей, они отобрали у меня все, что я имел, и лишь с большим трудом мне удалось уговорить их вернуть мой паспорт, который давал право свободно передвигаться из одной деревни в другую.

В воздухе постоянно гудели вертолеты и истребители, доливая землю пулеметным огнем.

Все вокруг сотрясалось от глухих взрывов. Одни говорили, что это стреляют пушки, другие — что взрываются бомбы, сбрасываемые с самолетов.

Все больше людей уходило в горы. Теперь я не встречал организованных отрядов повстанцев. Кучки измученных борьбой партизан смешивались с беженцами, чтобы скрыться от солдат.

Однажды утром с вертолетов, круживших над горами, через репродукторы было объявлено, что все жители Пондоленда должны вернуться до четырех часов дня в свои деревни. На это время стрельба будет прекращена, а те, кто не покинул горы, будут расстреляны.

Я услышал это сообщение, когда, сбившись в горах с пути, оказался довольно далеко от дома. Наконец я увидел деревню, которая, как я помнил, находилась всего в шести милях от нашей, и решил рискнуть пойти дальше. Я был один и полагал, что, если буду пробираться осторожно, прячась между камнями и кустами, мне повезет.

Но ровно в четыре часа совсем рядом со мной из долины возле деревни поднялся вертолет, за ним другой, а потом на бреющем полете пронеслись истребители. Позади меня и справа, и слева раздались пулеметные очереди.

Вертолеты кружились над долинами и не пере-

ставая стреляли. На горизонте темнели черные точки самолетов, и оттуда тоже доносился звук стрельбы.

Потом мне рассказывали, что в горах на большие деревни были брошены танки, а дороги обстреливались солдатами прямо из машин. Казалось, настал конец света.

Пригнувшись, я побежал обратно в деревню. Со всех сторон к ней стекались беженцы: мужчины, женщины и дети. С узлами в руках они бежали между кустами.

Дважды вертолет приближался к деревне и с расстояния не больше ста метров стрелял по людям, пытавшимся пересечь открытое пространство между горами и деревней. Четыре человека, скошенные огнем, остались лежать на дороге, раненые мужчина и маленькая девочка ползком добрались до деревни. Но вертолет возвратился вновь, настигая тех, кто уже был почти у деревни.

К вечеру деревня оказалась переполненной беженцами, которые едва вмещались в ее пределы. Люди сидели вокруг бараков тесными рядами. Как только в воздухе раздавался гул вертолета, они в страхе пытались протиснуться между бараками подальше от края деревни.

Лишь с наступлением темноты пулеметные очереди смолкли, и беженцы стали укладываться спать прямо на земле. Стихли голоса, и воцарилась страшная мертвящая тишина.

Посреди деревни у сгоревшего дома старосты стояли два военных грузовика, «джип» и танк, образуя четырехугольник, огороженный колючей проволокой и охраняемый с четырех сторон часовыми с автоматами в руках. Внутри квадрата, разбившись на небольшие группки, у костров сидело около сорока белых солдат. Они ели.

Я никогда не забуду этой картины: костры, винтовки, составленные в пирамиды, и белые солдаты, неторопливо поглощавшие свой великолепный ужин, а в двадцати шагах от них ряды чернокожих беглецов с многочисленными детьми, которые, не отрывая глаз, провожали в рот каждый кусок. Ведь у беженцев не осталось никакой еды. То, что они взяли с собой, уходя в горы, было или израсходовано, или потеряно.

Я думаю, что дети так же, как и я, хорошо запомнили все, что ели солдаты: большие куски жаркого в белом соусе с горошком и морковью, жареную картошку, посыпанную яичным желтком, сыр, белый и черный хлеб, пудинг с изюмом и яблоки.

Наевшись, солдаты закурили, а потом развернули спальные мешки, забрались в них и заснули. Их сон охраняли часовые в шлемах, с автоматами в руках и подвешенными к поясу гранатами.

Это самоуверенное спокойствие кучки белых солдат больше, чем все самолеты и танки, продемонстрировало непоколебимую силу, на которую, как на глухую стену, натолкнулась волна восстания чернокожих.

На следующий день в деревню въехал автобус. В нем сидели два белых, один африканец в штатском и шесть черных охранников в форме цвета хаки, которая так хорошо была нам знакома.

«Ну вот они и вернулись», — подумал я с грустью.

Молодой африканец городского вида в темно-сером костюме был новым старостой, назначенным белыми. Скорее всего, он был горожанином и честолюбивые помыслы толкнули его на сотрудничество с белыми.

Один из белых приказал в рупор освободить лужайку перед домом и выйти туда всем, у кого есть паспорта.

Таких оказалось меньше двадцати. В числе их я показал свой паспорт, и нам было велено отойти в сторону.

Потом белый встал перед толпой человек в двести, у которых не было документов, и сказал в рупор:

— Вы сожгли свои паспорта и ушли оттуда, где вам положено быть. Следовательно, вы виновны в умышленном нарушении закона о безопасности государства и приговариваетесь к пятнадцати ударам плетью и трем годам каторги. Тому, кто поможет установить личности обвиняемых, срок будет сокращен до шести месяцев. Те же, кто укажет на лиц, находившихся с повстанцами в горах, будут отпущены. Теперь стройтесь в колонну по трое вон там, у деревьев. Каждый получит по пятнадцать ударов плетью.

Трое охранников с длинными кожаными плетьми вышли вперед, и толпа покорно двинулась за ними.

Полтора часа, сменяя друг друга, охранники пороли осужденных, а белые, прислонившись к автобусу, наблюдали за тем, как один за другим от колонны отделялись люди, снимали с себя рубашки и подставляли спину под удары плети. Женщины и дети, не шевелясь, смотрели на иссеченные плетьми спины мужей и отцов, а позади них все в том же огороженном квадрате спокойно завтракали солдаты.

Я не знаю, что испытывали дети, видя, как секут их отцов. Говорят, что дети все переносят легче, чем взрослые, и ко всему быстрее привыкают. Но я не верю этому. Разве легко ребенку видеть, как истязают плетью его отца, разве ему не кажется, что плеть впивается в его собственное тело?

У меня сжимается сердце, когда я думаю о детях из бесчисленных деревень, разбросанных по всей стране, которые видели, как самый дорогой им человек, который был для них непререкаемым авторитетом, надежной защитой и мудрым наставником в жизни, подставляет спину под удары плети.

Прошли годы, они стали взрослыми, но эти детские впечатления живы в них до сих пор. Я иногда думаю, не потому ли так тихо и спокойно сейчас в ЮАР, не потому ли не слышно голоса миллионов молодых африканцев, что, видя в детстве, как секли их отцов, они сломились физически и духовно.

После того как процедура порки была окончена, четверо солдат увели длинную колонну людей в горы. Они удалялись по песчаной дороге, выстроенные по двое, а затем исчезли между горными хребтами. Охранники тем временем сдерживали женщин и детей.

Затем нам объявили, что каждый должен отправиться в свою деревню. До четырех часов разрешено свободное передвижение. Тот, кто за один день не сможет добраться до своего дома, должен переночевать в другой деревне, но прийти туда не позднее четырех. Те, кого обнаружат в горах позже этого часа, будут расстреляны.

Для меня скитания закончились в тот же день, но многие мои соплеменники еще три дня сновали из конца в конец Пондоленда, возвращаясь домой. Толпы людей торопливо спешили по горным тропам, с испугом вглядываясь в небо. А после четырех часов с каждым днем все меньше слышалось пулеметных очередей.

По всем дорогам двигались колонны арестованных, сопровождаемые солдатами или полицейскими. В деревнях и поселках было запрещено собираться большими группами, а те, кто нарушал этот приказ, преследовались по закону. Старосты получили право изгонять из деревни жителей, которые им не повиновались или не выказывали должного почтения.

И так продолжалось долгие годы. Угнетение африканского населения не ослабевало. Правда, на дорогах стало меньше солдат и полицейских, белые снова ездили через Пондоленд, направля-

ясь из Капской провинции в Наталь, Однако это означало всего лишь, что старосты получили еще больше охранников, а Особый отдел расставил повсюду шпионов и доносчиков.

Но самым вопиющим была та ложь, которую правители Претории распространяли о восстании в Пондоленде. Они заявили:

> «Агенты коммунистов из-за границы прибыли на подводных лодках и высадились на берегу ЮАР с целью подстрекательства черного населения против официальных властей. Полиция предприняла попытку арестовать их, но им удалось убежать и скрыться на своих подводных лодках».

Это было бы смешно, если бы не было так грустно.

ГЛАВА XXI

У меня забилось сердце, когда вдалеке я увидел холмы, среди которых стояла наша хижина. На склонах виднелись остатки сгоревших и разрушенных жилищ. В глиняных стенах уцелевших домов зияли большие дыры.

С щемящим чувством тревоги я подумал: неужели и здесь прошли изрыгающие огонь и свинец танки?

Наша хижина не пострадала, На ней не было следов от выстрелов. Со всех сторон мне навстречу бросились люди. Их тревожные, полные сострадания взгляды должны были насторожить меня. Но я не видел ничего, кроме открытой зеленой двери нашей хижины, и, не останавливаясь ни с кем из соседей, бросился к ней.

В хижине было так темно, что сначала я никого в ней не различил, только услышал радостный голос мамы:

— Давид!

И тут я увидел маму и ужаснулся. Худая, изможденная, она сидела на полу, оперевшись спиной о стену. Ее руки и ноги были перевязаны белой тряпкой и походили на обрубки, все лицо было

в шрамах.

— Что они с тобой сделали? — прокричал я в ужасе. — О боже, мама, что с тобой?

Она обняла меня и, подавив рыдания, проговорила:

— Вот ты и снова со мной. Давид, как я рада, что ты снова со мной.

— Где отец?

Мама заплакала.

— Мама, что случилось? — воскликнул я испуганно.

— О мальчик мой, я больше не знаю, что делать.

— Отец погиб?

— Нет.

— Что же произошло?

— Отец снова в тюрьме, и они его… Они его…

— Что? Что?

— Карцер.

— Не может быть.

— Уже три месяца они держат его в карцере.

— Это невозможно.

Когда мы с отцом сидели в тюрьме, мы слышали, что под землей есть камеры, сырые, холодные, куда не проникает даже луч света. В них обычно помещали строптивых заключенных, но, как

правило, лишь на несколько дней, очень редко больше чем на неделю. Одно упоминание о карцере наводило на арестантов ужас.

— Абель Тсомо умер, — печально сказала мама.

— Убили?

— Да. Когда однажды утром сам Мбеле, новый староста, пришел за отцом, я отправилась к верховному вождю. Долина, где он жил, представляла собой печальное зрелище: поля и дома сожжены, сады вытоптаны, ирригационные системы разрушены. Повсюду стояли засохшие деревья. От стариков, которые остались в долине, я узнала, что Абеля Тсомо нет в живых. Через несколько дней после его похорон в долине все было сожжено и разрушено.

— Как умер Абель Тсомо?

— Его отравили. Открыто побоялись что-нибудь предпринять против него. Сделали это тайно, а потом объявили, что он тяжело заболел и умер.

— За что отца посадили в карцер?

— Он не сдавался. Власти требовали, чтобы он публично заявил, что готов подчиниться им. Помнишь, судья ван Хаарен сказал: «Признай нового старосту и в знак почтения преподнеси ему подарок». Отец не соглашается. Я сделала все,

чтобы отца перевели из карцера. Два раза ночью я пробиралась в Бизану, чтобы найти там белых, которые знают наших друзей в Йоханнесбурге. Я нашла двоих, но они отказались мне помочь. Потом я сама просидела три недели в тюрьме, потому что без разрешения вышла из поселка. Я до сих пор еще не получила обратно свой паспорт. Они сказали, что будут бить отца плетью, если я еще раз попытаюсь покинуть деревню.

— Тебе так и не удалось повидаться с отцом?

— Нет. Я надеялась на это во время восстания, но тюрьму охраняли войска, и повстанцы с гор не смогли ее захватить. О Давид, что же нам делать?

— Я попробую связаться с епископом. Он добрый человек и, мне кажется, хорошо ко мне относится.

— Сделай это, да, сделай это.

Я осторожно взял забинтованные мамины руки в свои.

— Они пытали тебя, да?

— Не будем говорить об этом.

— Почему они это сделали?

— Сейчас мне уже не больно. Расскажи лучше, что было с тобой. Я так рада, что ты цел и невредим.

— Почему они тебя пытали, мама?

— Они хотели, чтобы я убедила отца покориться.

— Они вырывали тебе ногти?

— Нет.

— Разбивали пальцы молотком?

— Да.

— А лицо? Что с твоим лицом? Неужели они били тебя колючей проволокой?

— Да. Но не будем больше об этом, я умоляю тебя.

Я рассказал о Джессе. Она была рада слышать о нем, но в ее глазах я ясно читал беспокойство и страх, когда рассказывал, где он и что делает.

— Отец тут, Джессе там, каждый по-своему… — шептала она.

В хижине ничего не осталось, кроме небольшого шкафа и кое-какой глиняной посуды.

— А где мебель? — спросил я с дрожью в голосе. — Шкафы с одеждой? Книги?

— Все забрали, — сказала мать глухо.

— Как?

— Приходили и всякий раз что-нибудь забирали.

— Охранники?

— Да. Сначала одно, потом другое. Под всевоз-

можными предлогами. То в уплату налогов, то штрафы, а то и просто так. В последний раз пришли, взяли кое-что и ушли. Наши стулья стоят на улице рядом с домом старосты, хотя они там редко кому нужны… Давай попьем чайку, Давид.

— Да-да, конечно.

— Там, в земле…

Она показала мне, где спрятан чай. Только так можно хоть что-то сохранить.

Увидев мой встревоженный взгляд, мама тут же успокоила меня: люди все приносят, что ей нужно, даже больше, чем нужно, и кое-что она раздает голодным.

Я вскипятил воду и заварил чай. Мама была совсем беспомощна, она не могла держать в руках чашку, и ее приходилось поить. Но она сказала, что к ней приходят женщины и кормят ее.

— Скажи, как отец? — спросил я тревожно.

— Он борется, — ответила мама с дрожью в голосе. — Раз в месяц, приезжая сюда, судья ван Хаарен присылает в тюрьму охранника, чтобы спросить у отца, готов ли он принести извинения старосте. Охранник каждый раз возвращается и говорит: «Нет, не хочет». Они могли бы убить отца, но не делают этого. Они хотят сломить его, хотят, чтобы он при всех обесчестил себя.

Он сказал им «нет», и поэтому народ любит и уважает его. Они не могут ему этого простить. Он не побоялся разоблачить лжесвидетеля Малоло и заставил Булугу оправдать Тима и Гарри Таба. Соплеменники восторгаются его мужеством. «Джон Тугела борется за нас, — говорят они, — он отстаивает нашу честь». Люди оказали ему большое доверие, когда стали обращаться за советом к нему, а не к Булуге или Мбеле. Он горд этим доверием и мужественно несет свои обязательства перед соплеменниками. Но вот что меня тревожит. Он думает о Томе, Майкле, Джимми и Сандре, которые погибли, и о Розе, о которой мы ничего не знаем, и спрашивает себя, имеет ли он право жить, когда его дети мертвы или обречены на скитания. Он не говорит этого, но я догадываюсь о его мыслях. Жизнь была для него благом, божьим даром, когда он жил, окруженный семьей. Он был так счастлив, что иногда не находил слов, чтобы выразить свои чувства. Теперь же он считает, что не по праву владеет этим благом.

Мы сидели с мамой в тишине, объятые страхом.

— Что же теперь будет? — спросил я.

— Я не знаю, — сказала мама, вздрагивая. — Ко-

гда партизаны пришли в деревню, Мбеле удалось бежать. Он вернулся сюда вместе с солдатами.

С надеждой в голосе она проговорила:

— Может быть, он получит повышение и его переведут в другое место. Возможно, и судья ван Хаарен не приедет сюда больше. Вдруг после восстания его назначат на какой-нибудь ответственный пост?

Торопясь и волнуясь, мама рассказывала о событиях последних недель: о ликовании, охватившем всех, когда повстанцы заняли деревню, когда вернулась молодежь, ушедшая с Мортоном Голой в горы, о той страшной ночи, когда жители деревни танцевали вокруг повешенных тел Малоло и охранников, и об ужасе, охватившем всех, когда появились вертолеты и танки. Она сказала:

— Я всегда считала, что назначение армии защищать нас от врага. Теперь же оказалось, что она с нами воюет.

Мама говорила о бегстве жителей при появлении войск, об их возвращении беспорядочными толпами, о той пугающей тишине, которая опустилась на деревню, когда секли односельчан, не имевших документов, а потом уводили их колоннами в горы в сопровождении вооружен-

ных автоматами солдат. Волнения проходили не только в Пондоленде, но повсюду в ЮАР, говорила мама. И это непременно приведет к каким-то изменениям в стране, власти должны отказаться от своей прежней политики.

Я тоже надеялся на перемены. Ждал, что старосту Мбеле переведут в другое место, а судья ван Хаарен не будет больше вести судебные расследования в нашей деревне.

Однако дни шли, а ничто не предвещало обнадеживающих перемен. Много раз предпринятые мной попытки попасть в Бизану, чтобы оттуда позвонить епископу, ни к чему не привели. В конце концов я получил десять ударов плетью и был приговорен к трехнедельному заключению. А через три дня после того, как меня выпустили, приехал судья ван Хаарен.

Внизу у леса остановилась черная машина и грузовик с солдатами. Из машины вышли судья ван Хаарен, прокурор и два чиновника-африканца. Все они направились к дому старосты.

Я бросился за ними и попросил разрешения поговорить с судьей. Охранники грубо оттолкнули меня, но я продолжал настаивать, и тогда из дому вышел староста Мбеле.

Я не раз обращался к нему и раньше, но он гнал

меня прочь, не удосужившись даже выслушать. Я пытался показать ему письмо епископа, в котором тот самым похвальным образом отзывался о всей нашей семье, но он швырнул его мне под ноги. Теперь я снова протянул ему это письмо и настойчиво попросил показать его судье. Он смерил меня холодным, безразличным взглядом, но, к моей радости, взял письмо и вошел с ним в дом.

Некоторое время спустя мне разрешили войти к судье. Он был не один, в глубине комнаты стоял прокурор. Вернув письмо, судья спросил:

— Что вы хотите? Я знаю епископа Мэттьюза.

— Мой отец — честный, благородный человек, — горячо произнес я. — Пожалуйста, положите конец его страданиям. Освободите его.

— Он может освободиться, если сам этого захочет, — ответил судья, доставая из папки какие-то бумаги и перелистывая их.

Я стал говорить, что отец всегда стремился предотвратить беспорядки и насилие и что люди уважали его за мудрость.

— По-вашему, поступать мудро — значит делать то, что хорошо для вас, — вдруг резко сказал судья, повернулся ко мне спиной и пробурчал: — Сегодня с делом вашего отца будет покончено.

Идите.

Я попытался спросить, что он имеет в виду, но Мбеле вытолкал меня наружу.

— Нам уже ничто не поможет, — сказала мама, как во сне. — Предпримем мы что-нибудь или нет, это не важно. Они поступят так, как задумали, несмотря ни на что.

С трудом опираясь на палку, которую я ей сделал, мама спустилась вместе со мной к лесу, чтобы присутствовать на заседании суда.

Поскольку в деревне почти не осталось мужчин, площадка, где проводились суды, была окружена одними женщинами и детьми. Появились судья и прокурор в сопровождении Мбеле и четырех охранников.

Мы все смотрели на низенького, коренастого, со светлыми волосами и маленькими серыми глазками судью и неотрывно следили за его спокойными, уверенными движениями. Он уселся в красное кресло и разложил перед собой бумаги.

Было рассмотрено двенадцать дел. Два молодых парня, задержанных в горах, были повешены. Шестеро других, обвиняемых в оказании помощи повстанцам, приговорены к пожизненной каторге. Остальные получили от шести месяцев до одного года. Затем судья произнес:

— Джон Тугела.

Мы и не заметили, как во время вынесения приговоров подъехал фургон. Охранники побежали к машине.

— Они привезли его, — тихо проговорила мама, не сводя глаз с фургона. — Там, в той машине, отец.

Охранники открыли боковую дверь фургона и вынесли из него отца. Один держал его под мышки, другой за ноги. Волосы и борода отца, которая выросла за время пребывания в карцере, были белыми как лунь. С закрытыми глазами он лежал на руках охранников, и казалось, что он уже не дышит. У меня сердце готово было разорваться на части при виде того, как он исхудал, какое у него было изможденное, осунувшееся лицо, серое от пыли. И брови совсем поседели. Вдруг я заметил, что его тело сотрясает дрожь.

— У него лихорадка, — вскрикнула мама. — Посмотрите, посмотрите. Его трясет. Он болен. Джон! Джон! — громко позвала она. — Джон! Ты меня слышишь?

Боль и страдание так исказили мамин голос, что я с трудом узнал его. Но отец услышал ее. Глаза его были по-прежнему закрыты, однако он шевельнул рукой, словно хотел сделать какой-то

знак.

К маме подскочил охранник и приказал ей замолчать.

— Туда, к тому дереву, — бросил судья.

Охранники отнесли отца к дереву, посадили, прислонив к стволу, и, продев под руки веревку, привязали, чтобы он не упал.

Веки отца вздрагивали.

Мама спрятала под шалью свои забинтованные руки, чтобы отец не увидел их, и снова позвала:

— Джон!

Она не обращала внимания на подскочившего к ней охранника и говорила:

— Джон! Если ты можешь открыть глаза, посмотри на нас. Мы здесь. Со мной Давид. Джон! Посмотри на нас!

Охранник пригрозил, что уведет маму, и тут отец открыл глаза. Взгляд его остановился на маме, потом он перевел его на меня, потом снова на маму. Я видел его ласковые, добрые глаза, которые вдруг вспыхнули радостью. Он узнал нас! Он был с нами! Его глаза светились счастьем!

Судья ван Хаарен произнес, обращаясь к отцу:

— Отвечай, готов ли ты покориться и в доказательство этого принести извинения старосте? Если откажешься, получишь десять ударов пле-

тью за неподчинение властям.

Один из охранников вышел вперед с длинной кожаной плетью. Судья громко и медленно повторил:

— Джон Тугела, готов ли ты подчиниться властям этой страны?

Отец смотрел судье прямо в лицо. Руки его шевельнулись, и тут же голова упала на грудь, а тело, обмякнув, повисло на веревке.

— Джон! — закричала мама страшным голосом.

В толпе раздался приглушенный ропот. Охранники переглянулись. Судья стукнул ладонью по столу и закричал:

— Тихо!

Он сделал знак охраннику, тот принес из дома старосты ведро воды и выплеснул на допрашиваемого. Отец не подавал признаков жизни. Тогда охранник несколько раз ударил его рукой по лицу. Затем приподнял голову, внимательно всмотрелся в лицо и, приложив руку к груди отца, в смятении повернулся к судье.

— Он мертв.

— Молчать! — завопил судья, когда толпа вновь загудела.

Судья был бледен. Вдруг он вскочил на ноги

и сказал:

— Обвиняемый утвердительно ответил на мой вопрос. Мы видели, как он кивнул головой. — Затем торопливо добавил: — Мы отметим в протоколе, что Джон Тугела подчинился властям.

Он сделал пометку в своих бумагах и сказал:

— Об этом будет объявлено во всех деревнях и поселках.

— Нет! — закричала мама, гневно глядя на судью.

Хромая, она с трудом вышла вперед.

— Это неправда. Джон Тугела не подчинился.

— Пошла прочь! — взревел судья. — Ты не имеешь права говорить, пока тебя не спросят.

К маме подбежал охранник, но мама оттолкнула его палкой и, тяжело передвигая изуродованные ноги, подошла к отцу и воскликнула:

— Вопрос был задан, но Джон Тугела не успел ответить. Я отвечу за умершего мужа. Нет!

Охранники пытались схватить маму, но она отбивалась палкой. Рыдая, она кричала:

— Джон Тугела говорил: «Мы не подчинимся. Ни один смертный не смеет посягать на честь и свободу другого смертного. Благороден тот, кто уважает других, и это прекрасное качество

человека зависит не от цвета его кожи, а от чистоты души и совести». Так говорил Джон Тугела, мой муж.

— Да, да, да! — закричала охваченная волнением толпа. — Говори, мама Пондо! Говори!

— Вот так ответил бы вам Джон Тугела, потому что он был честным, благородным человеком, он любил и оберегал свою семью и всем нам подавал достойный пример.

Мама боролась с охранниками. Она била их палкой и пинала ногами.

— Мы никогда не подчинимся людям, которые разрушают наши дома и секут плетью тех, кто думает не так, как они.

— О нет, мама Пондо, нет!

— Поэтому мы никогда не будем помогать людям, которые продают себя за деньги, не будем уважать их и подчиняться им.

— Нет!

Силы мамы слабели, но, заслонив отца телом, она продолжала отчаянно сопротивляться, и охранники никак не могли с ней справиться.

— Слушайте! — кричала она, и по ее лицу потоками лились слезы. — Слушайте! Слушайте, что говорит Джон Тугела.

У меня больно сжалось сердце, когда я услы-

шал, как она запела.

— «Эта земля красивая и зеленая, — пела мама. — Кто ее любит?»

— Мы. О мы! — подхватила толпа.

— «На ней играют наши дети. На ней они взрослеют. Как мы любим эту зеленую землю!»

Один из охранников вырвал палку из маминых рук. Она повернулась к мертвому телу отца и обвила его руками. Охранники пытались оторвать ее от трупа, но она не выпускала его из объятий и пела с такой страстью, что у меня внутри все переворачивалось.

— Мы будем чтить Джона Тугелу.

— Да, мы будем его чтить, — вторила толпа.

— Он умер, как честный человек.

— О да, мы и наши дети будем чтить его.

Охранники били маму, один палкой, другой резиновой дубинкой. Я старался остановить их, но удары сыпались ей на голову, руки и тело, они падали и на отца. Прижавшись к нему, мать пела.

— Джон Тугела любил своих детей. Я боготворю его, моего супруга. Я чту его, чту его…

Судья, красный от ярости, завопил, размахивая руками:

— Пусть она замолчит. Уберите ее.

Голос мамы звучал все глуше. Уже трудно было

разобрать слова. Я хватал охранников за руки, умолял остановиться. Но они продолжали избивать ее, пока она не упала на колени. И вот она уже распростерлась на земле, обхватив руками ноги отца. Ее голос был едва слышен и прерывист, она задыхалась, но продолжала петь.

Наконец можно было различить лишь хриплое дыхание, но губы мамы шевелились до тех пор, пока охранники, мокрые от пота, не отошли, а она, обхватив ноги мертвого отца, осталась недвижимо лежать на земле.

Даже в тот день я сумел подавить в себе ненависть к людям, совершившим все это. Шло время, и все меньше ненависти к ним оставалось во мне, хотя не так просто было с ней справиться.

Нет, сейчас я не испытываю к ним злобы. Любви тоже. Хотя я молю бога научить меня любить всех людей на свете.

Воспоминания жгут меня огнем. Я одинок и живу в страхе, не дорожа жизнью и не понимая окружающих.

Бывают моменты, когда мне кажется, что уже ничто не связывает меня с жизнью, а смерть представляется облегчением. Такие чувства владеют мной, когда я думаю о том, что люди живут в этом безрадостном мире как враги, они бьются

друг о друга подобно камням в бурном потоке воды: маленькие оказываются разбитыми вдребезги или отброшенными в сторону, а крупные с бешеной скоростью несутся вперед.

Я жил, окутанный теплом семейной любви, но пронесся ураган и как легкую паутинку развеял счастье. В моей нынешней бесприютной тоскливой жизни меня согревают лишь воспоминания. Они кажутся прекрасным сном.

Я не хочу, чтобы во мне проснулась злоба. Я ненавижу это холодное жестокое чувство и хочу жить в своих светлых воспоминаниях и с ними умереть.

ГЛАВА XXII

Мне не дали похоронить родителей, и я даже не знаю, куда дели их тела. На следующий день после суда Мбеле принес мне письмо от судьи ван Хаарена, в котором было сказано, что я должен обратиться к своему епископу, чтобы он направил меня за пределы Пондоленда. Слова «за пределы Пондоленда» были подчеркнуты.

Я отрешенно думал: он хочет убрать меня отсюда, потому что мое присутствие будет напоминать окружающим о родителях.

Я стоял возле хижины и смотрел, как в деревне начинается день. Внизу, возле леса, горстку мужчин выгнали на принудительные работы. Неподалеку от меня старик чинил хижину, в огородах работали женщины и дети.

За нашей хижиной я заглянул в огород мамы. Канавки для дождевой воды уже поросли зеленой травой.

У подножья холма стояли три охранника. Четвертый направился вверх по горной дороге. Из дома выбежал Мбеле и что-то крикнул ему вслед. Охранник кивнул головой и поднял руку в знак согласия.

Над дверью хижины справа от дома Мбеле я увидел табличку «Биржа труда». Человек в темных брюках и белой рубашке вышел из дома старосты и скрылся за этой дверью. Пламя погасили, подумал я, и все вернулось на круги своя.

Я сорвал несколько стебельков проса, посеянного мамой, и засунул их между бумаг в портфеле. Чай, рис, винные ягоды, одеяла, старую одежду и ведро древесного угля, которые оставались в хижине, я отдал старой женщине, жившей по соседству.

Мое сердце болезненно забилось, когда я оглядел темную пустую хижину, последнее пристанище нашей семьи.

Как странно! Мы никогда не считали хижину в Пондоленде нашим домом. Мы были изгнанниками в этой чужой нам деревне, но как часто потом я вспоминал о ней со щемящей тоской.

Односельчане, узнав, что я уезжаю, пришли проститься. Они несли свои скромные дары: кто пару яиц, кто немного сыра или калебас молока, сухари и орехи. Я не хотел брать все это, зная, как бедны эти люди, но мой отказ обидел бы их.

Взволнованный я стоял среди них, понимая, что таким образом они воздают почести отцу и маме. Я был им беспредельно благодарен за это и

уже не чувствовал себя таким одиноким.

И сегодня я ясно вижу перед собой лица тех женщин и стариков, которые облегчили мне боль утраты. Их образы наполняют меня такой же тоской, как воспоминание о нашей хижине, о всех убогих жилищах этой деревни, разбросанных по пыльным белесым отрогам холмов.

По дороге в Бизану я не раз доставал из портфеля стебельки проса, выращенного мамой, и смотрел на них.

Я не расставался с ними и в Исипинго, недалеко от Дурбана, куда епископ направил меня подменить больного священника.

В Гаррисмите, куда меня послали потом преподавать в колледже и где я поначалу жил в доме пожилой мулатки, пока не получил комнату при колледже, я много думал о Розе.

Но чаще всего мои мысли обращались к Джессе. Как наяву я представлял его среди причудливо нагроможденных коричнево-зеленых гор, где он скрывался. Из моей комнаты не были видны горы Басутоленда: они высились далеко на юге, но гора Дракона, которую я хорошо видел из своего окна, тоже входила в тот огромный массив.

По вечерам я подолгу сидел у открытого окна, смотрел в темноту, туда, где вздымались далекие

вершины, и думал: как хорошо было бы отправиться к Джессе.

Он был частью прошлой счастливой жизни, единственной ее частью, которая еще не была безвозвратно потеряна. Мне хотелось снова увидеть его высокую стройную фигуру, которой так гордилась мама, пожать ему руку и почувствовать ее живое тепло.

Через несколько дней произошли кровавые события в Шарпевиле[42], где полиция расстреляла мирную демонстрацию черных. Шестьдесят девять человек были убиты и сто восемьдесят ранены. Вслед за этим я узнал, что доктора Иллово отравили, а Софиатаун сровняли с землей.

— Я видел совсем новые, покрашенные в яркие цвета бульдозеры и краны, — говорил мне один очевидец. — Бульдозеры крушили хижины и лачуги, а краны били по стенам каменных домов бетонными подвесками, и стены рассыпались словно стеклянные. Потом рабочие завалили подвалы камнями и разобрали мостовые. И чтобы ничто не напоминало о прошлом, дали месту новое название — «Триумф».

---

[42] Примечания: 42

21 марта 1960 года полиция, открыв огонь по демонстрации африканцев в Шарпевиле, африканском пригороде Йоханнесбурга, убила и ранила несколько сот человек.

В колледже я все чаще слышал среди учеников имя Джессе. Они говорили о нем с восторгом, как о легендарном герое.

Он стал еще популярнее после взрыва железнодорожного моста и кабельной линии алмазного рудника, а известие, что партизанское движение поддерживает Нельсон Мандела, вызвало бурное ликование.

Всеобщая национальная забастовка, организованная Манделой с целью добиться создания подлинно национального парламента, не принесла успеха. Тысячи африканцев были арестованы, многие, разочаровавшись в Африканском национальном конгрессе, отошли от движения. Мандела с горечью заявил: «Поскольку на мирные демонстрации власти отвечают насилием, я вынужден отказаться от мирных форм борьбы и перейти к насильственным».

Так как Африканский национальный конгресс по настоянию Альберта Лутули не принял это предложение, Нельсон Мандела с группой африканцев, белых и индийцев организовал новое движение, которое получило название «Копье нации»[43], и договорился с Джессе о подготовке

[43] Примечания: 43

«Копье нации» («Умконто ве Сизве») — боевая организация АНК, возникла в 1961 году.

крупной акции саботажа.

Буры тщетно пытались обойти эти события молчанием. Английские же газеты, осуждая африканцев за применение насилия, упрекали буров в том, что они сами толкнули на это черных своими «безумными законами».

Я видел радостное возбуждение не только среди учеников колледжа, но и в их семьях. Однако казалось, что никаких шансов на успех нет, хотя рос протест африканцев против несправедливости, ширилось их стремление к свободе.

Возбуждение достигло наивысшей точки, когда Нельсон Мандела и Джессе совершили нелегальную поездку по стране, чтобы разработать план новых диверсий, и сумели уйти из-под самого носа полиции.

Я радовался тому, что Джессе был в центре всех этих волнующих событий и что его в честь мамы называли Джессе Пондо.

Между тем Альберту Лутули, который по-прежнему жил под домашним арестом, разрешили поехать в Стокгольм, где ему была вручена Нобелевская премия мира. Все африканцы ликовали, когда в газете, нелегально переправленной в страну, увидели на фотографии, как он получает премию из рук шведского короля, и прочитали

о том, какие почести были ему оказаны во всем мире. Это напомнило мне о триумфальных днях кампании неповиновения.

Однако спустя несколько дней повсюду в стране начались взрывы. То и дело доходили слухи о взорванных электростанциях, опорах высоковольтных линий, железных дорогах, мостах и шоссейных дорогах, так называемых школ для банту.

Меня обрадовало известие, что партизанам был дан приказ не допускать во время взрывов гибели людей. По-видимому, Нельсону Манделе удалось склонить к этому Джессе. И все же, несмотря на этот приказ, были раненые и даже убитые, а однажды стало известно, что в дома африканцев-коллаборационистов без предупреждения бросали зажигательные бомбы.

Нельсон Мандела и Джессе заявили, что это делалось без их ведома и против их воли, и осудили подобные инциденты.

Белые снова жили в тревоге. И не только из-за ситуации, сложившейся в стране, но и из-за реакции в мире. Массовый расстрел в Шарпевиле настроил мировое общественное мнение в нашу пользу.

Южноафриканских государственных деятелей,

которые с пропагандистскими целями отправились в страны Европы и Америки, бойкотировали. Международные спортивные федерации лишили ЮАР членства. Крупнейшие ученые и деятели культуры всего мира осуждали расистскую систему образования в ЮАР и лишение африканцев возможности приобщиться к культурным богатствам человечества. Всемирный совет церквей исключил из своих рядов Нижненемецкую реформатскую церковь за поддержку политики апартеида, проводимой белым правительством.

И вдруг осенью я был сражен страшным известием, что Нельсон Мандела и руководство движения «Копье нации» схвачены в пригороде Йоханнесбурга и предстанут перед судом по обвинению в государственной измене.

Имя Джессе не упоминалось. Ничего не говорилось и о партизанском центре в Басутоленде. Однако я был уверен, что кто-нибудь из соратников Джессе знает, где он скрывается, и под пытками может его выдать.

Только бы его не выдали, молил я бога. Только бы никто ничего не сказал о Басутоленде.

Теперь моя жизнь зависела от того, что происходило на том далеком, красивом плато высоко в коричнево-зеленых горах.

Колледж, в котором я работал последнее время, закрылся. Городские власти решили его перестроить и сделать колледжем для белых.

Несколько недель я болтался без дела, потом епископ направил меня в новую школу для черных, но порекомендовал начать работу, когда утихнут страсти вокруг программ обучения.

Директор колледжа, зная, что Джессе мой брат и что я встречался с ним в его убежище, предложил:

— Если хотите на некоторое время отлучиться, сейчас как раз подходящий момент. Я могу выдать вам паспорт странствующего миссионера.

С трудом сдержав свою радость, я поблагодарил директора и кинулся на улицу.

Я еду к Джессе, думал я, переполненный счастьем. Я узнаю, как он там. Я буду рядом с ним.

ГЛАВА XXIII

Мне хотелось со всеми на свете поделиться своими планами. Рассказать о них крестьянам в тех деревнях к западу от Питермарицбурга, в которые я ездил в качестве миссионера; пожилому священнику в Ундерберге, пообещавшему в случае необходимости засвидетельствовать, что я долгое время оставался с ним. Мне хотелось рассказать, куда я иду, и молодому пастуху, который три ночи вел меня вокруг Хаймвиля к деревне, где находилась ферма Сэма Вилея.

В последнюю ночь, около трех часов, мы вышли на горное плато. Пастух ткнул пальцем в темноту под нами.

— Вон там серебрится лента дороги. Она огибает долину, и подходит к деревне снизу, с другой стороны.

— А где мост через реку?

— Вон в той стороне.

— А церковь там есть?

— Да.

— Куда она смотрит фасадом?

Он положил на землю продолговатый камень и сказал:

— Так стоит церковь. Здесь — фасад.

Это совпадало с тем, что я помнил. Я протянул ему обещанную плату, и мы расстались.

Мне нужно было знать, как стоит церковь, чтобы определить, где находится ферма Сэма Вилея. Я мысленно представил зеленый склон, по которому словно белые точки были разбросаны небольшие фермы, и среди них выше всех ферму Сэма Вилея.

Это было курортное местечко с гостиницами для отпускников и яхтами на горном озере. Африканского квартала здесь не было. Африканцы, работавшие поденщиками на фермах, жили в хижинах на земле фермеров.

— В этих местах черных можно встретить только поденщиками, — говорил мне как-то Сэм, — и лишь в поле или на пастбище. Помни об этом, если тебе придется когда-нибудь приходить сюда, и позаботься, чтобы на тебе была потрепанная одежда. Или приходи ночью. Пробирайся там, вдоль реки, а потом через сосновый лес.

Я спустился по горной тропе к дороге и вскоре услышал шум водопада. За мостом я свернул с дороги и по берегу реки дошел до соснового леса. В лесу было так темно, что приходилось пробираться чуть ли не на ощупь, однако вскоре

я достиг пастбища на склоне горы, перелез через плетень и по пастбищу взобрался на холм.

Когда впереди забелела ферма, я вспомнил, что должен свернуть влево. Потом выйти к другой ферме с тремя высокими длинными сараями, затем к ферме с часами на башне.

И вот показались высокие сараи, а через некоторое время — башня с часами. Залаяла собака. В темноте ее лай звучал так громко и зло, что я испугался и постоял, выжидая, пока пес успокоится.

За ручьем начинался сад Сэма Вилея, и сквозь деревья виднелся его дом. Сэм учил меня, показывая на окно своей спальни: «Подойди к этому окну и громко постучи, чтобы я побыстрее проснулся и собака не слишком долго лаяла».

Пробираясь между фруктовыми деревьями, я все ждал: вот сейчас залает собака. Но она почему-то молчала.

Я открыл калитку в огород и пошел между грядками. Передо мной был задний двор фермы, дверь и справа от нее решетчатое окошко, в которое надо было постучать.

Собака все не лаяла. Я в нерешительности стоял в конце двора, недоумевая, почему она молчит. Пес, несомненно, слышал мои шаги. Его конура

должна быть где-то здесь.

Я двинулся через двор, направляясь к окну. Впереди белела стена дома, справа был сарай, слева сложенные в поленницу дрова.

Было так тихо, что я вдруг испугался, сам не зная чего. Теперь я отчетливо различил собачью конуру на фоне белой стены, осторожно приблизился к ней и увидел, что она пуста.

И только тут я с беспокойством подумал, что Сэма может не быть. Эта мысль раньше мне совсем не приходила в голову. Я так мечтал о встрече с Джессе, что не думал ни о чем другом.

Бросившись к окну, я постучал в него и приглушенно позвал:

— Мистер Вилей! Мистер Вилей, вы дома? Это я, Давид, брат Джессе. Мистер Вилей!

К своей радости, я услышал шорох в доме. Зажегся свет, послышались шаги, скрип отодвигаемого засова. Затем дверь открылась и сноп света ударил мне в глаза. Из дому выскочили два человека. Ослепленный, я не успел их рассмотреть. Они втащили меня внутрь и снова захлопнули дверь.

В хорошо знакомой мне гостиной с двумя тростниковыми креслами у очага я увидел, что это полицейские.

Один из них с такой силой ударил меня по лицу, что я упал, а второй два раза стукнул резиновой дубинкой.

Затем они вывернули мои карманы и проверили документы.

— Ты священник? — нерешительно спросил один.

— Да.

Что произошло с Сэмом и Дороти Вилей, с тревогой спрашивал я себя, и вдруг мозг пронзила страшная мысль: «А что с Джессе?» Сэм был его связным. Это он переправлял людей через границу в Басутоленд. Теперь в его доме полицейские, они устроили здесь засаду.

Пока полицейские допрашивали меня, как я попал сюда, я неотступно думал: если они знают, что Сэм партизанский связной, они наверняка пытали его, чтобы он сказал, где Джессе.

Я так был поглощен своими мыслями, что не услышал очередного вопроса полицейских, за что получил оглушительный удар дубинкой по голове. Они спрашивали, от кого я узнал, где находится Джессе. Поскольку я не мог назвать Яна ван Баарле, то сказал, что Джессе сам сообщил мне об этом.

— Каким образом? — спросили они.

— В письме.

Полицейские мне не поверили и, требуя, чтобы я назвал связного, избивали до тех пор, пока я не потерял сознание. Тогда они привели меня в чувство, вылив на голову ведро холодной воды, и спросили, что я собирался делать в Басутоленде.

Обдумывая ответ, я лихорадочно соображал, знают ли они, что Джессе в Басутоленде, или задают этот вопрос потому, что неподалеку граница?

И тут до меня дошло, что они почему-то не спрашивают о том, где Джессе. Я похолодел от ужаса. Значит, они все знают. Иначе они уже давно спросили бы, где он находится. Тут один из полицейских сказал:

— Мы знаем, где прятался твой брат, и уже поймали его. Так что не дрожи от страха, что мы будем спрашивать, где он. Нам надо только, чтобы ты назвал имя. Всего одно. Имя кого-нибудь из вашей шайки, хотя бы того, кто сообщил, что твой брат скрывается в горах Басутоленда. Можно и кого-нибудь другого. Все равно. Только одно имя. Это в твоих же интересах. Больше нам от тебя ничего не надо. Тогда на суде мы скажем, что ты сотрудничаешь с нами. Если же ты этого не сделаешь, у тебя не будет шанса оправдаться. Да и сейчас так достанется, что света невзвидишь.

Я молчал. Они били меня, пинали ногами, швыряли из одного угла в другой.

Их замысел прост, подумал я. Они скрывают, что схватили Джессе, чтобы выловить остальных.

Через некоторое время один из полицейских пробормотал:

— Да, возможно, он узнал об этом от него самого. В конце концов, он его брат. — И они заперли меня в чулан.

Когда рассвело, меня отвезли в тюрьму в Йоханнесбурге. Сначала я ждал несколько часов в том же помещении, где нас держали после баскетбольного матча в Парктауне. На скамейках вдоль стен сидело еще человек тридцать африканцев. Затем меня отвели в большую камеру на первом этаже, и здесь я увидел Сэма Вилея, Яна ван Баарле и Дингаана. Кроме них, в камере было еще человек десять молодых африканцев.

— Поздравляю, — произнес Ян ван Баарле, — выходит, тебя тоже поймали.

Он сидел вместе с Сэмом Вилеем и Дингааном на полу, прислонившись спиной к стене.

— Да, я хотел пробраться к Джессе.

Ян, должно быть, заметил в моем взгляде испуганный вопрос, потому что сказал:

— Джессе жив, успокойся.

— А Пьер?

— Убит.

— Где Дороти? — спросил я Сэма.

— В женской тюрьме, я думаю, — ответил он вполголоса.

Он один выглядел спокойным. Ян ван Баарле взглянул на меня и проговорил:

— Вот всему и пришел конец.

— Как они узнали?

— Так же, как везде.

— Предательство?

— А что же еще? Нельсона предали. Джессе предали, За донос на таких людей, как Нельсон и Джессе, платят сотни тысяч. Можно сразу стать обеспеченным на всю жизнь. Они могут позволить себе это. Они богаты. Весь мир торгует с ними.

— Кто же это сделал?

Ян пожал плечами. Сэм Вилей рассказал, что ехал к Джессе на «джипе» с четырьмя молодыми африканцами. Они были примерно в миле от его убежища, когда увидели самолеты. Потом на плато возле горы стали спускаться парашютисты.

— Я пробовал развернуться и спрятать «джип» в скалах, — сказал он, — но они заметили нас с

воздуха и обстреляли. Двое наших парней были убиты. Солдаты продолжали стрелять и повредили «джип». Потом показался бронетранспортер, и нас схватили. Солдаты и бронемашины окружили гору плотным кольцом, а в небе беспрерывно летали истребители. Потом мы услышали, как объявили в микрофон, что всех пощадят, если Джессе Пондо сдастся, и дали пятнадцать минут на размышление. Через четверть часа в расселине между скалами появился Джессе. Ему приказали поднять руки и медленно идти к зеленому флагу. Возле одной из бронемашин стоял человек и размахивал зеленым флагом. Там же был и другой — с микрофоном. Джессе подошел, и они надели ему наручники. Джессе увидел меня. «Кто?» — спросил он. Я ответил, что не знаю. Тогда он сказал: «Я так и думал, что это случится. Но все-таки мы должны были попробовать».

Ян Баарле слушал рассказ Сэма, упершись взглядом в пол. Теперь он поднял голову и произнес:

— Он хорошо сказал. Так же, как и все мы, Джессе знал, что рано или поздно нас предадут, и все же считал, что мы должны были попробовать. Это важно. Я толком не понимаю, за что нам надо было бороться. Наверно, за справедливость. Каждый должен был сам решить, что ему делать,

и следовать этому решению. Только так должен поступать честный человек. Только тогда совесть будет чиста.

— Да, именно так, — сказал Сэм Вилей. — Подписываюсь под этим. Я всю жизнь делал то, чего с удовольствием не делал бы, но иного выхода не было. — И добавил: — Они обещали, что пощадят всех остальных. Поэтому Джессе и сдался.

— И не выполнили своего обещания? — спросил я с замирающим сердцем.

— Нет. Они хотели взять Джессе живым и даже не собирались его пытать. Может быть, немного помучить, как всех остальных, но так, чтобы это не было слишком заметно. Ян думает, что его не приговорят к смерти.

— Недобрая слава расистов ЮАР растет, — сказал Ян. — Весь мир против них, и им хочется как-то обелить себя. Я слышал от знающих людей, что ни Нельсона Манделу, ни Уолтера Сисулу, ни Гована Мбеки не будут приговаривать к смерти. Их обрекут на пожизненное заключение. Они сделают это, чтобы сказать миру: «Посмотрите, какие мы гуманные, мы даже не вешаем террористов». Думаю, что именно поэтому они хотели взять Джессе живым. Чтобы судить его и чтобы все видели, что его не приговорили к смерти.

Иначе я не понимаю, почему они не сделали с Джессе то же, что и с остальными.

— А что они сделали с остальными?

— Они сровняли гору с землей, — сказал Сэм глухим голосом. — Стреляли из четырех пушек, пока все гроты не рухнули.

Бледное лицо Яна ван Баарле исказила гримаса страдания. Дингаан и другие африканцы застывшим взглядом смотрели перед собой.

— И подобное делают люди, — сказал Сэм. — Сначала удивляешься, потом начинаешь понимать: такие уж мы существа. Человек способен на самые низкие поступки, если это ему выгодно. Чтобы не потерять уважение к самому себе, ты решаешь не быть на них похожим, говоришь: я никогда не буду участвовать в их грязных делах. И это приносит облегчение.

— К сожалению, ты недолго будешь им наслаждаться, — мрачно возразил Ян. — Они не дадут никому быть честным. Невозможно быть не таким, как они. Как только это заметят, тебя уничтожат.

— Меня это не волнует, — спокойно ответил Сэм.

Дни шли за днями. Мы по-прежнему сидели в большой камере. В ней прибавилось еще шесть

молодых людей, которых поймали на ферме Сэма.

Через несколько недель в газетах появились сообщения об аресте Джессе и о готовящемся судебном процессе над ним.

Я пытался добиться встречи с братом, но мне не разрешили. Священника, который когда-то позволил мне присутствовать при казни Тома, в тюрьме больше не было. Сменивший его молодой пастор, выпускник Стелленбоса, выслушал меня и ушел, ничего не ответив.

Затем начался процесс. Он тянулся месяцами. Нас много раз вызывали на заседание суда, и я надеялся, что когда-нибудь мне посчастливится встретиться с Джессе. Но этого не случилось. Я видел в суде Уолтера Сисулу и Гована Мбеки, слышал блестящую речь Нельсона Манделы, заявившего, что он не признает законов, исходящих от парламента, в котором не представлен его народ.

Я не видел Джессе и тогда, когда по нашему делу выносился приговор. Поскольку мне не было предъявлено обвинения в государственной измене, меня не вызвали на заключительное заседание суда.

Я даже не смог ни с кем попрощаться, так как не

знал о дне вынесения приговора. Только поздно вечером, когда Ян ван Баарле, Сэм Вилей и другие не вернулись в камеру, я понял, что процесс окончился. Как и предполагал Ян, всех приговорили к пожизненной каторге и отправили на самолете на остров Роббен — в океане, к западу от мыса Доброй Надежды.

Дингаан еще два дня оставался с нами в камере, а потом за ним пришли, и больше я его не видел. Через три недели — за это время камера целиком наполнилась новыми арестантами — я предстал перед белым чиновником. Полистав мое дело, он объявил:

— Учитывая духовный сан, мы не приговариваем тебя к тюремному заключению. Но вина твоя тяжка. Ты злостно нарушал законы.

Он подписал какую-то бумагу, закрыл мое досье и произнес:

— Ты подлежишь изгнанию.

Я спросил, что это значит, но чиновник не удостоил меня ответом. Он сделал знак рукой, чтобы я уходил.

ГЛАВА XXIV

Зимнее солнце слабо прогревало горный воздух Трансвааля. Дул северный ветер. Одежда на мне была летняя, и ехать в открытом «джипе» было холодно.

Я не знал, куда меня везут. Пробовал спрашивать у полицейских, которые меня сопровождали, но они не отвечали.

Мы все время ехали в горах. От Йоханнесбурга свернули на Кимберли и оказались на узкой каменистой дороге, какими обычно соединяют в Трансваале удаленные друг от друга фермы. Я подумал: уж не везут ли меня работать на ферму к какому-нибудь буру? Но сразу отверг это предположение: ведь мне сказали, что я подлежу изгнанию.

Несколько часов мы ехали по узким проселочным дорогам, и вскоре после полудня я узнал вдали городок Мафекинг, в котором когда-то мне довелось быть. Я удивился, зачем мы столько времени петляли, вместо того чтобы в два счета доехать сюда по хорошему шоссе.

Я хотел задать этот вопрос полицейскому, сидевшему рядом со мной, но, увидев его непро-

ницаемое лицо, уверенную осанку и тонкие бледные губы, на которых застыла гримаса презрения, поостерегся это делать.

Я взглянул на второго полицейского, сидевшего за рулем. Это был высокий, широкоплечий, хорошо сложенный юноша со светлыми волосами. Ему было не больше двадцати двух лет, и он показался мне порядочным, добрым парнем, который испытывает отвращение к тому, что делает. Но тут я увидел в зеркальце машины его лицо: холодные, стального цвета глаза и жесткую линию рта. Наши взгляды встретились, он посмотрел на меня так, как бур смотрит на африканца.

У меня ныла спина и кружилась голова. Это недомогание появилось с тех пор, как меня избили полицейские на ферме Сэма Вилея. Езда по неровной дороге причиняла боль в груди, от которой становилось трудно дышать. Но когда мы выезжали на песок, машину трясло меньше, боль стихала. Монотонное гудение мотора и шум колес расслабляли, в голову лезли разные мысли, и меня охватывал страх. Поэтому я испытывал облегчение, когда снова начиналась боль в спине.

В сумерках мы въехали в деревню. Там переночевали в полицейском участке и рано утром опять отправились в путь.

Мы спустились ниже, и стало теплее, но зелени встречалось мало. Холмы вокруг были серо-красного цвета. Потом они сменились серо-коричневыми и еще через некоторое время, когда совсем потеплело, — бледно-желтыми, похожими на красивых серн, которых я видел однажды в альбоме о Крюгер-парк.

После полудня солнце светило так ярко, что у меня заболели глаза. Кругом простиралась безлюдная песчаная пустыня без признаков жилья. Только время от времени мелькала изгородь из колючей проволоки и исчезала в холмах. Мы ехали уже не по дороге, а прямо по песку. Иногда на этой безбрежной желтой равнине появлялись небольшие возвышенности, поросшие худосочной светло-серой травой. Несколько раз нам встретились африканцы. Они пасли коз, искавших траву среди камней и песка. Однажды я увидел сразу человек десять африканцев, по-видимому, две семьи. На мужчинах были только набедренные повязки, на женщинах — красные и зеленые накидки.

Мы пересекли телеграфную линию. Столбы уходили влево и вправо за горизонт.

Когда солнце, окрасив край неба в яркие краски, стало заходить, мы снова остановились. Мне на-

дели наручники, которые цепью прикреплялись к «джипу», и мы заночевали прямо на песке.

На следующий день утром я впервые увидел у дороги колодец. Рядом стояли четыре палатки. Между ними женщины в выцветших оранжевых накидках разводили костер.

«Джип» снова ехал по бескрайней равнине много часов подряд и наконец затормозил возле нескольких засохших, словно окаменевших, деревьев. Вокруг торчали редкие пучки блеклой травы. Рядом лежала груда камней с остатками пепла.

Мой конвоир знаком приказал мне выйти из машины. Я повиновался, ожидая, что он последует за мной, но полицейский не двинулся с места. А тот, что сидел позади, сказал:

— Вот твой паспорт. Храни его. Если потеряешь, тебя посадят в тюрьму. И не удивляйся имени, указанному в паспорте. Будешь от него отказываться, тоже сядешь в тюрьму.

Я взял паспорт и прочитал: Паулюс Мкомбе, священник. На паспорте была наклеена моя фотография и почерком, подделанным под мой, выведена подпись: Паулюс Мкомбе.

— Но я не Паулюс Мкомбе, — возразил я испуганно. — Я Давид Тугела. Это не моя подпись. Я

здесь не расписывался.

Полицейский, сидевший за рулей, развернул «джип», и они уехали, ни разу не оглянувшись.

Глядя вслед удалявшемуся «джипу», я только теперь понял, что значит слово «изгнание», и догадался, куда я попал.

Когда я проснулся, был уже вечер. Я спал впервые с тех пор, как Джессе увезли на остров Роббен.

Напротив между деревьями стоял худой как скелет старик африканец в грязных лохмотьях. Расставив ноги и облокотившись на палку, он рассматривал меня.

— Добрый вечер, — нерешительно произнес я на языке пондо. Казалось, старик не понял. Я повторил приветствие на зулусском наречии, тогда он кивнул мне в ответ и спросил:

— Вы больны?

— Мне уже лучше. Я спал.

— Вы ранены?

— Нет, это пройдет.

Старик посмотрел на след колес от «джипа».

— Это они вас привезли? — спросил он.

Он говорил со свойственным зулусам мягким акцентом.

С бьющимся сердцем я спросил:

— Это пустыня Калахари, да?

— Да, — ответил старик.

Я знал, что в пустыню Калахари отвозили тех, от кого стремились избавиться, но по той или иной причине не хотели казнить или заключать в тюрьму. Я слышал об этом в Пондоленде.

Кто-то говорил, что Абеля Тсомо тоже отвезли в пустыню Калахари. Это было за несколько недель до того, Как мы узнали, что его тайно отравили.

На западе, там, где закат окрашивал горизонт в золотисто-желтый цвет, виднелись туманные очертания гор, а может быть холмов, расположенных не так далеко. Все остальное пространство представляло гладкую песчаную равнину, над которой стлалась бирюзово-голубая дымка.

— Откуда вы, отец? — спросил я. — Кто вы?

Во взгляде старика появилась затаенная печаль, которую он стыдливо пытался скрыть от незнакомого человека.

— Вас… Вас тоже привезли сюда? — спросил я испуганно.

— Это было очень давно, — ответил старик.

— Я не знал, что они делают это уже давно.

— У меня есть молоко, — сказал старик, достав из-под лохмотьев жестяной кувшинчик. — Когда я встречаю пастуха, он дает мне немного. С тех

пор как на небе горит для них звезда, пастухи добры. Я удивленно посмотрел на него.

— Почему вы так говорите? — спросил я.

— Что?

— Про звезду.

— Это библейская легенда.

— Вы христианин?

— Все в далеком прошлом. Хотите пить?

— Нет. Оставьте молоко себе. Оно вам нужнее.

Старик ласково посмотрел на меня и сказал:

— У меня нет кружки. Но если хотите, можно пить прямо из ладоней. Давайте я вам налью.

— Нет, нет, — поспешно отказался я, — не нужно.

Но потом взял жестяной кувшинчик и сказал:

— Я с удовольствием принимаю ваше угощение. Большое спасибо.

Я поднес кувшинчик ко рту и, сделав вид, будто опорожнил его, отпил маленький глоток, чтобы не отнимать у старика то, что ему самому было необходимо. Потом я вернул ему кувшинчик.

Старик усмехнулся и снова спрятал его под одежду.

— Там иногда бывает вода, — сказал он, указав на груду камней. — Но сейчас ее нет. Колодец высох. Я привык здесь спать. Поэтому и пришел

к колодцу, хотя воды в нем нет. Сейчас нужно побыстрее развести костер.

— Здесь есть львы?

— Если нет следов антилоп, то беспокоиться нечего, но, к сожалению, я видел вон там следы трех антилоп.

— Тогда нужно набрать дров. Скоро уже стемнеет.

— Да, конечно.

Я направился к деревьям, надеясь найти под ними сухих веток, но тщетно. Не было ничего подходящего для растопки и среди камней. Всякий раз я ошибочно принимал за деревяшку камень или комок глины.

Я с удивлением заметил, что старик все время что-то подбирает с земли. Я подошел к нему.

— Что вы поднимаете? — спросил я. — Я ничего не нахожу.

Старик разжал ладонь. На ней лежало несколько щепочек.

— Вот это и нужно искать?

— Если повезет, иногда можно найти и побольше. Я не подумал о том, что здесь давно не останавливался караван.

Через час у нас было четыре горсти щепок и пять маленьких веточек.

— Это уже кое-что, — сказал старик. — Костер будет маленький, но это ничего. Главное, чтобы хоть сколько-то, дымил. Звери очень далеко чувствуют дым. Если бы они увидели, что нас всего двое и что у нас нет оружия, они бы осмелели. Но, издалека почуяв дым, они примут нас за караван и поостерегутся подходить, опасаясь ружей.

Он засмеялся, и по лицу его разбежались морщины. В песке я увидел паспорт, который мне дали полицейские. Я поднял его и еще раз прочел на нем чужое имя.

«Зачем они делают это? — беспомощно подумал я. — Зачем они дали мне другое имя?»

Вечером, когда мы сидели напротив друг друга в темно-синих сумерках возле костра, от которого поднимался столб дыма, я заметил, что старик пристально смотрит на меня.

— Вам страшно? — мягко спросил он.

— Да.

— Потому что вы один?

— Да.

Старик кивнул. Потом сказал:

— Иногда кажется, что боишься потому, что находишься не там, где ты должен быть, но дело не в этом. Страшнее всего одиночество.

Ночь была холодная. Старик обхватил колени

руками и тесно прижал их к груди. Я попробовал тоже так сесть, но мне мешала боль в спине.

— Зачем они отвезли вас в пустыню, отец?

Глаза старика налились слезами.

— Не рассказывайте, если вам это причиняет страдания, — поспешно остановил я его.

— Сперва меня посадили в тюрьму, — начал старик, — а потом отвезли в пустыню, видно, не знали, что со мной делать.

— В чем они вас обвинили?

— Это было очень давно. Так давно, что иногда кажется, будто это привиделось мне во сне.

— Вы работали на ферме?

— Да.

— Вас посадил в тюрьму хозяин фермы?

— Да.

— Почему?

— Его сын изнасиловал мою жену.

— О, простите… Я не хотел…

— Не важно.

— Вы…

— Я избил его. За это меня посадили в тюрьму. Потом, лет через пять, меня перевели в другую, а еще через несколько лет в третью. Там тюремный пастор взял меня к себе слугой, научил читать и писать. Он о многом мое рассказывал и давал

читать книги. Но потом меня опять перевели в другое место. Однако через некоторое время в тюрьму стали привозить по стольку арестантов, что в камерах на четверых сидело по двадцать человек. И тогда меня и еще нескольких заключенных увезли в лагерь, а с наступлением холодов всех, кто был там, стали группами куда-то отправлять. Дошла очередь и до меня. Вместе с тремя другими заключенными меня посадили в машину и повезли, высаживая по одному с интервалами в полдня. Потом, сколько я ни искал, я так и не нашел своих товарищей. В пустыне нет надежды встретить друг друга.

— Как давно это было?

Во взгляде его снова появилось какое-то странное смущение.

— По-моему, лет тридцать назад.

— Тридцать? О боже… Вы пытались выйти отсюда?

— Отсюда нельзя уйти. Ни один караван не возьмет вас с собой. Если купец это сделает, у него отберут документы. Я не знаю, что это за документы, но говорят, что без них в пустыне не разрешается вести торговлю, и все караванщики очень боятся этого. А тайно взять кого-нибудь невозможно, ведь караваны ночуют в оазисах

или у колодцев, которые охраняются специальной полицией.

— Сколько лет вы пробыли в тюрьмах, до того как вас отвезли сюда?

— Лет пятнадцать, я думаю.

— Вы когда-нибудь видели свою семью?

Глаза старика стали влажными.

— Нет, — сказал он.

— У вас, наверно, были дети?

— Трое.

— О боже… Вы были молоды, имели жену и троих детей и… господи, что они сделали с вами? Я считал, что много пережил, но все это ничто в сравненье с вашими страданиями. И при этом вы так спокойны, добры. Я видел, что вам не хотелось огорчать меня своим рассказом.

Я схватил руку старика и поцеловал. Потом попросил с мольбой:

— Можно, я побуду немного с вами? Пожалуйста, отец, можно я побуду с вами?

— Ах, — вздохнул старик, — вы пожалели несчастного бродягу, но из вежливости просите его сделать вам одолжение.

— Нет! О нет! Я действительно мечтаю быть с вами. Можно?

Старик покачал головой и ответил:

— Вы словно предлагаете мне: вот, пожалуйста, холодная вода, а это нежная баранья ножка; не хотите ли выкурить трубку, она набита прекрасным табаком. Можно подумать, что вы не в своем уме.

Он усмехнулся и стал рассказывать о ягодах и съедобных кореньях, которые можно разыскать в пустыне.

Когда рассвело, старик радостно воскликнул:

— Идет караван. Мы можем присоединиться к нему.

Далеко на горизонте двигались темные точки.

— Они, по-видимому, шли всю ночь и теперь будут отдыхать, пока не спадет жара. И хотя колодец пересох, здесь, наверное, место их стоянки.

Мы позавтракали остатками молока. Потом старик разделся и растер тело песком. Он сказал, что делает это, чтобы согреться. Я тоже попробовал, и это помогло.

Точки на горизонте росли, и вскоре я различал стадо коз. За ним двигалась длинная вереница навьюченных ослов, возле каждого шел погонщик. Позади на лошади ехал купец, толстый обрюзгший африканец, закутанный в серый бурнус. На его голове красовалась яркая шапочка.

Он окинул меня враждебным взглядом и спро-

сил:

— Откуда ты здесь взялся? Если тебя привезли люди из Особого отдела, я с тобой не знаюсь. Тебя привезли полицейские?

— Да, — робко ответил я.

— Тогда слушай. Я не желаю иметь с тобой ничего общего. Меня не интересует также, за что тебя сюда сослали. Никто не может упрекнуть Рубена Квелеге в том, что он берет в свой караван преступников. Я человек деловой, и неприятности мне не нужны. Я не могу запретить тебе идти тем же путем, что и караван, но ты не имеешь ко мне ни малейшего отношения. Понятно? Я призову свидетелей, которые подтвердят, что я тебя предупреждал.

Он хлопнул в ладоши, и тотчас к нам подошли три погонщика. Купец что-то раздраженно сказал им на своем наречии, и те согласно кивнули головой.

— Не огорчайся, — шепнул старик, — мы будем идти метрах в двухстах позади каравана. Я всегда так делаю. Погонщики непременно потихоньку от купца дадут нам чего-нибудь поесть, а нет, так за караваном всегда что-то остается.

Старик сказал, что нам нужно попасть в Блесбокский оазис, один из самых больших. Там

хранятся списки всех изгнанных в пустыню Калахари. Каждый новый ссыльный должен предстать перед комендантом и получить в паспорте штамп. Там же, в оазисе, изгнанникам выдают деньги в размере тюремного содержания, на которые можно купить себе еду.

Я вспомнил, что один из полицейских в «джипе» что-то говорил мне об этом, но меня в тот момент терзала такая боль, что я ничего не понял.

— Однако деньги получают немногие, — продолжал старик, — платят ведь гроши. К тому же ссыльным нельзя долго находиться в Блесбокском оазисе. Там форт с солдатами, полицейский участок, маленький аэродром. В оазисе живут крестьяне, которые выращивают финики и ячмень, и скотоводы. Они боятся солдат и полиции и поэтому сторонятся изгнанников. Тем приходится уходить в какой-нибудь оазис поменьше или просто скитаться по пустыне, что большинство и делает. А некоторые оказываются так далеко от Блесбокского оазиса, что идти за этими жалкими грошами нет никакого смысла.

Караван Рубена Квелеге шел не к Блесбокскому оазису, но примерно в том направлении. Мы следовали за ним трое суток. Днем отдыхали, а когда

жара спадала и на пустыню опускались холодные синие сумерки, трогались в путь. Мы брели то по серому гравию, который в голубом лунном свете переливался, как струящаяся вода, то по желтому мягкому песку, то среди скал, темно-фиолетовые силуэты которых таинственно вырисовывались на фоне звездного неба.

Всякий раз, когда меня охватывал страх, я чувствовал на своем локте руку старика, смотревшего на меня добрыми печальными глазами. Он успокаивал меня, говоря, что через несколько часов мы придем к источнику с самой лучшей водой во всей пустыне, он выпивал сразу по пять литров этой воды и надеется, что она мне понравится. Он начинал рассказывать о бегущих вдали, махая хвостиками, антилопах, учил меня отличать след льва от следа львицы, показывал на кружащих в воздухе грифов, предостерегал от смертоносных скорпионов. Мой спутник занимал меня рассказами о том, как от жары трескаются в пустыне камни, а когда ветер дует к экватору, изогнутые серпом красивые дюны движутся, окутанные золотистой вуалью.

Его беседы рождали в душе смутное чувство единства с окружающей природой: песком, камнями, животными, населяющими пустыню. Я

словно обретал на какое-то время свое место в мире и старался подольше сохранить в себе это хрупкое ощущение счастья, не спугнуть его страшными воспоминаниями. Однако, к сожалению, оно быстро проходило, и пустыня снова представала передо мной тоскливой и враждебной. Старик спасал меня своей бесконечной кротостью и добротой.

Однажды, когда он снова заговорил о пастухах и о звезде, которая светит им, я спросил, помнит ли он еще, кто был Иисус.

— О да, — сказал он, улыбнувшись. — Может быть, я говорю что-то не так, но какое счастье, если бы Иисус снова явился людям.

Он посмотрел на меня взглядом, полным надежды.

— Не правда ли, как это было бы прекрасно? — продолжал он. — Когда-то я был христианином, но помню только, что меня крестили, по воскресеньям я ходил в церковь и, прощаясь, священник жал мне руку. А вот что говорили в церкви, забыл. Но Христа помню. Я часто обращаюсь к нему, не с молитвами, конечно. Просто говорю обо всем, о чем хочется. И когда я разговариваю с ним, я счастлив. Христос слышит меня, отвечает мне. Конечно, в действительности я сам за него отве-

чаю. Но это не имеет значения. Главное, к нему можно обращаться со всеми своими заботами, никто не утешит так, как он. Как называется страна, в которой жил Христос?

— Галилея.

— Да, припоминаю! Как счастливы были жители этой страны! Среди них жил Христос!.. Разве могли они враждовать друг с другом?

— Боже мой, отец, какие прекрасные слова вы говорите…

«Пройдет время, и я стану походить на своего спутника», — думал я. Когда я смотрю на него, мне кажется, что я вижу в зеркале себя таким, каким буду через несколько лет. Даже если когда-нибудь в пустыне или маленьком оазисе я сооружу часовню для изгнанников, чтобы молить бога о милости к несчастным голодным скитальцам пустыни, я буду таким же, как он, одиноким, изможденным, полуодичавшим человеком, у которого едва хватает сил жить в этом мире.

Пастухи говорили мне, что дети боятся изгнанников, одетых в грязные лохмотья. Бродяг с тонкими, как палки, ногами, которые, замерев от страха, — но дети об этом не догадываются, — смотрят на дома и людей.

Мы отстали от каравана и продолжали свой

путь вдвоем. Примерно через неделю вдали на горизонте показалось белое пятно. Оно постепенно росло и превратилось в огромную белую крепость. Мы приближались к Блесбокскому оазису. Высокие зубчатые стены форта, словно мираж, вырисовывались на фоне голубого неба и желто-коричневого песка. Посреди безбрежной пустыни, подступавшей к самым стенам форта, крепость казалась сказочным замком. Чем ближе мы подходили к оазису, тем старик становился беспокойнее. Он несколько раз повторил, что долго находиться в оазисе запрещено, и мы в нем не задержимся.

Миновав высокие сводчатые ворота, мы вступили в оазис. Я был поражен, увидев, как он велик и райски прекрасен. Прохладный воздух благоухал ароматом, кроны финиковых пальм были так густы, что сквозь них едва пробивались солнечные лучи. Среди зеленых листьев рдели оранжевые грозди фиников. Кругом росла мимоза, фиговые и гранатовые деревья. У ног бежал ручей, и сквозь зеленоватую прозрачную воду просвечивало каменистое дно, где плавали рыбки.

На ячменных полях, окруженных каналами и плотинами, били фонтанчики, работали люди,

одетые в белоснежные одежды. За укрепленными воротами начиналась деревня, где нарядные женщины с кувшинами на голове шли по воду.

Посреди деревни теснилось множество лавчонок, дальше во все стороны разбегались переулки с небольшими фермами и убогими глиняными домишками, которые составляли резкий контраст с окружавшей их пышной природой.

— Я знаю хорошее местечко, где можно отдохнуть, — сказал старик. — Видишь вон тот переулок? В конце его есть пустырь, огороженный каменным забором. Когда-то там была ферма. Теперь от нее осталась одна полуразрушенная конюшня. Я в ней несколько раз ночевал.

Мы пробрались в конюшню, вычистили стойло в углу, и старик отправился на базар. Вскоре он вернулся с мешочком кофе, древесным углем и спичками.

Когда я спросил, почему он не взял меня с собой, он сначала промолчал, а потом объяснил, что купить что-нибудь на базаре не так просто потому, что торговцы не любят изгнанников. И добавил немного погодя, что дети тоже к нам недружелюбны.

— Но не стоит беспокоиться, — сказал он мягко, — этот оазис не место для нас. Жители боятся

солдат и полицейских и потому так плохо к нам относятся. Но в пустыне и в маленьких оазисах — все совсем по-другому. Не думай об этом… Завтра утром мы пойдем в форт. Ты отметишься у коменданта, получим свои деньги и снова уйдем в пустыню.

Проснувшись на следующее утро, я почувствовал запах кофе. Старик уже развел около конюшни костер и поставил на огонь кувшин с молоком.

— Уголь я приберег, — бодро сказал он. — Лучше взять его в пустыню.

Пока мы пили кофе, неподалеку собралась стайка детворы. Они с любопытством смотрели на нас, но появилась женщина и увела их. Мы слышали, как она бранила их за углом.

Потом в переулок заглянули несколько мужчин. Постояли на перекрестке, разглядывая нас, и ушли, не сказав ни слова. Вслед за ними появились двое мальчишек. Они подошли совсем близко, бросили в нас по горсти ослиного помета и убежали.

Старик поспешно сказал:

— Известное дело, дети. Они видят, как к нам относятся взрослые, и подражают им, не понимая, что делают. Пойдем. Надо поскорее закончить все

дела и уйти отсюда.

По дороге к форту старик беспокойно проговорил:

— Хорошо бы не попасть на глаза комиссару Дерксену.

— Комиссару Дерксену?

— Это начальник местной полиции. Он очень злой человек. Наверно, потому, что пытается выдать себя за белого, а сам мулат. Глядя на него, действительно подумаешь, что он белый, но по документам он мулат. Это-то его и озлобило. Он говорит, что в его жилах не больше сотой доли негритянской крови и что она есть почти у каждого бура. Однако он не получает очередного повышения, и его жалованье гораздо меньше, чем могло бы быть.

Мы вышли на территорию крепости. Она представляла собой квадратную площадь, окруженную белыми зданиями с решетчатыми окнами. Повсюду ходили солдаты.

Возле одной крепостной стены выстроился ряд грузовиков и «джипов», возле другой — за колючей проволокой — стоял небольшой самолет.

— Вон та дверь, — сказал старик. — Постучи и входи, не дожидаясь ответа. И не нужно ничего говорить. Отдай только свой паспорт. Я подожду

за углом.

Я сделал, как он сказал, и очутился в небольшой комнате. За столом друг против друга сидели два сержанта и что-то писали. Один из них взял мой паспорт и поднял голову, чтобы взглянуть на меня. Затем он встал и сказал, чтобы я следовал за ним.

Мы поднялись по лестнице на второй этаж, и сержант показал мне на открытую дверь. Я вошел в нее и очутился в абсолютно пустой комнате. В ней не было ни стульев, ни скамеек, только голые стены.

Пока я стоял там и ждал, в дверь дважды заглядывали. Сначала это был мулат в белом костюме, потом солдат-африканец. Наконец за мной пришел черный служащий. Он сказал:

— Если тебе придется отвечать на вопросы, говори «господин комендант».

Мы долго шли по длинному мрачному коридору, время от времени освещаемому яркими лучами света, проникавшего через отверстия в потолке. Наконец мы оказались в комнате, такой же пыльной и пустой, как коридор, и я увидел уже знакомого мне мулата в белом костюме и двух черных служащих. Они писали. Мулат сидел за большим письменным столом. У черных

служащих столы были поменьше.

Потом меня повели дальше, и, когда я вошел в высокую белую дверь, мне показалось, что я вдруг очутился во дворце. Передо мной был огромный зал ослепительной чистоты, с прекрасной мебелью красного дерева, на которой стояли букеты цветов. На полу лежал богатый ковер, стены украшали гобелены, под потолком висели две сверкающие люстры. За огромными стеклянными дверями виднелся сад с клумбами и цветущим кустарником, обнесенный стеной. Воздух в зале был прохладен и чист.

Возле дверей в сад, за массивным столом с позолоченным письменным прибором, сидел одетый в светлый костюм человек лет пятидесяти. На нем были очки в золотой оправе. Его редкие светлые волосы, смазанные бриллиантином, были аккуратно зачесаны назад. Возле него стояла белая женщина. Она подала ему папку с документами, они обменялись улыбками, и женщина ушла.

Человек не смотрел на меня. Он небрежно подписал несколько бумаг, промокнул подпись позолоченным пресс-папье и закрыл папку. Потом взял мой паспорт, который служащий положил на край стола, и неторопливо перелистал. И лишь после этого поднял голову и оглядел меня

с головы до ног. Затем вернул паспорт моему провожатому, тот дернул меня за рукав, и мы вышли.

Меня снова привели в ту комнату, где сидели два сержанта. Один из них поставил в моем паспорте штамп, не глядя протянул мне паспорт и махнул рукой, чтобы я уходил.

Когда я очутился на улице под палящим солнцем, у меня заломило в висках, закружилась голова, и я закрыл глаза, чтобы не упасть.

Не стоит обращать внимания, с горечью подумал я. Они выполняют свою работу. Нечего было надеяться, что они вдруг по-дружески заговорят со мной.

Я подошел к старику, но тут нас остановил полицейский-африканец и сказал:

— Вас вызывает комиссар Дерксен.

В глазах старика отразилось смятение.

— Пошли, — приказал полицейский.

Мы пересекли песчаный двор. Полицейский привел нас в комнату, где надо было ждать стоя. Там уже была одна негритянка, вскоре к ней присоединилась еще одна, потом появился мужчина в белом одеянии, по-видимому крестьянин из оазиса. Потом опять женщина. Всех их по очереди куда-то уводил служащий.

Когда мы прождали в комнате больше двух часов, служащий объявил:

— Комиссар Дерксен сейчас не может вас принять. Придите завтра утром.

Он знаком приказал нам идти.

— Я боялся этого, — сказал старик, когда мы вышли на улицу. — Он часто так делает. Я уже говорил тебе, что он озлоблен на весь мир.

Мы получили свои деньги в конторе у входа в крепость и провели оставшуюся часть дня в укромном уголке в тени раскидистых деревьев, а вечером отправились спать в свое убежище.

На следующий день мы снова долго ждали в пустой комнате, потом явился служащий-африканец и сказал, чтобы мы пришли вечером.

В пять часов он привел нас в большое ветхое и невообразимо грязное помещение, где за письменным столом, заваленным пыльными папками, пустыми бутылками и всевозможными объедками, сидел толстый неопрятный человек.

У него была смуглая оливкового цвета кожа и черные глаза навыкате, и его вполне можно было принять за португальского лавочника, каких немало в южноафриканских городах и поселках.

Комиссар Дерксен полистал наши паспорта, оглядел нас и проговорил резким тоном:

— Ваши паспорта не в порядке. Это просто удивительно, какие-то замусоленные бумажки вместо паспортов. Ты, — он указал на старика. — Ты родился в определенном месте и в определенное время. В твоем паспорте этого нет. Где ты родился?

— Я не знаю, — пролепетал старик.

— То есть как это не знаешь? Ты ведь где-то родился?

— Да, но я не знаю где. Вы можете считать меня подкидышем, если вам это угодно.

— Если мне это угодно! Мне ничего не угодно! Комендатуре необходимы точные данные. Вот и все. Так где же, позвольте узнать, нашли вашу персону?

— Я точно не знаю. Может быть, я даже и не подкидыш. Может быть, ребенком заблудился или что-нибудь в этом роде. Я помню себя с того момента, когда однажды утром проснулся в незнакомом месте от грохота огромных машин. По-моему, мне тогда было года три. Вряд ли меньше, иначе я оказался бы гораздо беспомощнее. А если бы мне было больше, я должен был бы запомнить дом, в котором жил до этого, или родителей. Так говорил мне священник в тюрьме. А я не помню ничего, что было раньше, до того, как я

проснулся от грохота машин. По-моему, это были подъемные краны в Дурбанском порту, ведь я зулус, а большинство зулусов живет в Натале. И, кроме того, в Дурбане я работал, когда стал постарше. Но, возможно, это было и в каком-нибудь другом порту: в Порт-Элизабете, например, а может быть, и в Ист-Лондоне или в Кейптауне. Я помню, как я ездил зайцем в товарных вагонах или на крышах поездов, и, может быть, я таким образом приехал в Дурбан из какого-нибудь другого города, но вряд ли, потому что в других портах мало зулусов.

Дерксен заставил старика рассказать обо всей его жизни. Не только о том, как его посадили в тюрьму и затем отправили в пустыню, но и о том, как он жил в Дурбане, о жене и детях. Как их звали, как они выглядели, где они всей семьей жили, какая у них была мебель, какого цвета были стены и куда выходили окна.

Я пришел в ужас, когда понял, зачем комиссар все это делает. Он заставлял старика рассказывать о прошлом, чтобы причинить ему боль. Ведь изгнаннику надо забыть свое прошлое, иначе не достанет сил жить дальше.

В глазах старика стояли слезы. Покорно, тихим, прерывающимся голосом он отвечал на все во-

просы: какие были глаза у жены, какие волосы у детей.

Потом Дерксен повернулся ко мне. Откинувшись в кресле, он произнес:

— А ты?

Мне пришлось рассказать о Софиатауне, о нашем доме, об улице, на которой он стоял, о саде, о наших родственниках и знакомых и, наконец, о том, что случилось с мамой и папой, с моими братьями и сестрами.

Уставившись на меня круглыми навыкате глазами, Дерксен неподвижно сидел за столом и слушал, время от времени требуя повторить некоторые подробности.

Все это продолжалось часа два. Затем он нас отпустил.

Возвращаться в пустыню было поздно. Солнце уже село, ворота заперли. Когда мы шли к своему убежищу, чтобы переночевать, старик плакал. Он шел и тихо всхлипывал.

Ночь выдалась темная и холодная. Я не мог заснуть и вышел на улицу. Было так темно, что я не видел собственной ладони.

Продвигаясь на ощупь вдоль стены, я вспомнил, что у нас есть спички, вынес из укрытия немного соломы и развел костер. Сразу стало теплее.

К костру подошел старик.

— Ты хорошо сделал, — сказал он, дрожа, и сел рядом.

Мы вместе стали поддерживать огонь.

— Тебе не кажется, что всего этого нет? — вдруг спросил он меня.

Я испуганно и удивленно посмотрел на него.

— Да, — ответил я, — действительно. У вас тоже бывает такое ощущение?

— Да. Поэтому я ношу с собой горсть песка, — сказал старик и достал из кармана горсть песка. — Песок — это что-то осязаемое, — продолжал он. — Уж он на самом деле существует. Берешь его в руки и понимаешь, что это реально. Видеть и слышать — еще ничего не значит. Видеть и слышать можно и во сне, но вот осязать во сне мне никогда не приходилось. У других это, может быть, и бывает, но у меня — нет. Мне никогда не снилось, что я трогаю что-то руками. Поэтому я и беру с собой песок, когда прихожу в оазис. В пустыне в этом нет нужды. В пустыне лучше. Там никогда не бывает так темно и тихо. Там слышны голоса зверей и завывание ветра. Ветер можно не только услышать, можно почувствовать его прикосновение и понять, что все происходящее реально.

Мы сидели рядом, протянув ладони к огню. Я слышал, что старик рассказывал Дерксену, он слышал, что рассказывал я, но мы не говорили об этом.

Мы были вместе. И радовались тому, что мы вместе. Это главное. В полуразрушенной конюшне нам было страшно, но вот теперь мы вместе сидели у костра, и нам не было больше страшно.

А потом наступило утро. О боже, как это было хорошо!..

Как только в предрассветных сумерках стали видны очертания домов, мы потушили костер и собрали пожитки. Быстрыми шагами, с радостно бьющимся сердцем мы устремились к выходу из оазиса.

Ворота уже открыли, но шлагбаум еще не был поднят. Мы стояли под сводами ворот и смотрели, как на востоке светлел горизонт и окрашивался в темно-зеленый цвет. Перед нами лежала бескрайняя светло-желтая равнина, куда мы так страстно стремились из темноты.

Когда солдат открыл шлагбаум и убрал с прохода колючую проволоку, старик потянул меня за руку. Его глаза радостно сияли. Мы вышли из ворот и быстро зашагали вперед, словно спешили

навстречу своей свободе.


2 р.